

АЛЕКСАНДР ГЕРЗОН

К●НТРАСТЫ





АЛЕКСАНДР ГЕРЗОН

КОНТРАСТЫ

Проза

Герцлия • Исрадон • 2007



УДК ***
ББК ***
Г 37

Герзон Александр
Г 37 Контрасты. Проза / А. Герзон. — Герцлия: Исра-
дон, 2007. — 416 с.

ISBN ****



© **ISRADON**, 2007
© Герзон А., 2007

СУДЬБА

Повесть

Самойлов медленно шел по лесу. Он впервые так жадно общался с природой. Почувствовал ее и свою родственность, единство с ней. Забыл обо всем, что оставил за тысячи километров отсюда...

Теплая зелень хвои, пение птиц и запахи леса настроили его усталый мозг на давно, казалось, утраченную непосредственность мировосприятия.

Вчерашний главный инженер, ныне — безработный, простер к небу руки, потянулся радостно ввысь.

Но тут же огляделся.

Никого.

Улыбнулся.

Услышал где-то недалеко впереди голоса и вскоре вышел на поляну.

Женщина, одетая в белую футболку и серые шорты, играла в бадминтон с мальчиком лет восьми. Все ее движения, даже резкие удары ракеткой, были настолько грациозны, что мужчина замер, любуясь.

У сына удары были неточные, с промахами; это огорчало и злило его. Наконец, он бросил ракетку на землю. Мать, пряча улыбку, попросила ласково:

— Сережа, поиграем еще немного: у тебя почти получается! Я тоже не сразу научилась. Ну, еще пять раз — и пойдем на озеро!

Большая память Самойлова явила лицо Димки, голос его зазвучал в ушах. Год уже он не видел сына: после развода. Алина уехала из города вместе с мальчиком. Он не отвечал на ее письма, даже читать их перестал. Однако же перед отъездом в дом отдыха вдруг встревожился, распечатал очередной конверт.

Всю ночь не спал он, прочитав письмо ... Нет, не надо вспоминать ни о чем! Отдыхать, только отдыхать!

— Может быть, со мной поиграешь? — спросил мальчика.

Поймал на себе настороженный взгляд женщины, смутился:

— Если вы разрешите.

— Вы, кажется, куда-то шли, — холодно напомнила она, глядя в сторону.

Он смутился еще сильнее, но, опьяненный чудом живого июньского леса и, возможно, чудом красоты движений любительницы бадминтона, вдруг выкинул нечто для себя самого неожиданное. Нечто, обращенное к мальчику. Но только ли к нему одному?

— Бедный я, несчастный, — захныкал, полуулыбаясь, — никто со мной не хочет играть. Вот возьму и оторву себе полпальца. Нет, пожалуй, верну на место оторванный кусок.

Он проделал нехитрый этот фокус, продолжая в душе удивляться себе, — и был вознагражден.

— Здóрово, — восхитился мальчик, — как вы это делаете?

— Сережа, дядя торопится, — все так же холодно сказала женщина, почему-то стараясь не смотреть на Самойлова.

— Понаблюдай-ка, — предложил Леонид Геннадиевич с неожиданным для себя упрямством, — и будь внимателен.

Он объяснил Сереже, как проделал этот фокус, потом показал еще один, еще — и вскоре они уже были друзьями. Самойлов, забывшись, будто снова играл с сыном. И потому, когда вдруг появилась мохнатая собачонка, ново-явленный фокусник стал на четвереньки, залаял и двинулся к ней. Та удивилась. Склонив голову набок, на всякий случай разок тявкнула — и убежала.

— Вы как клоун, — рассмеялся мальчик восторженно, и взрослого, заметившего улыбку женщины, еще дальше занесло:

— А я и есть клоун: ты разве не узнал меня? В цирке был?

— Да я же не видел ваше лицо без краски, — объяснил тот.

Самойлов явственно вдруг как бы ощутил осуждающий и ревнивый взгляд Димки. Опомнился, сник, решил уйти.

На возражение Сережи тяжело солгал:

— Видишь ли ... Мне надо сегодня поработать кое над чем.

— Вы же в доме отдыха, — не согласился ребенок.

— Понимаешь, — запутывался во лжи взрослый, — мне надо сконструировать ... сочинить ... трюки ... репризы ... войти в образ...

Увидел и услышал себя со стороны, окончательно сконфузился, покраснел, махнул рукой — и тогда раздался смех: залиvistый, искренний. Смеялась женщина — и смех оказался мил Самойлову...

Спохватившись, она умолкла, но на него посмотрела подобному, сочувственно, даже тепло, как бы отбросив нечто, ее настораживавшее.

— Сереженька, дяде клоуну действительно надо идти.

— Приходите завтра снова, — попросил мальчик.

Самойлов взглянул на мать ребенка, ему показалось, что та не против, но она ничего не сказала, только смотрела на него все так же тепло и, как ему показалось, с удивлением.

— Хорошо, приду, — промолвил он напряженно.

— Нет-нет, если вас это затрудняет ... — поспешила она вернуть ему свободу.

И ему послышалась в ее нежном, хотя и довольно низком, голосе некая грустинка.

— Хорошо, я приду, — повторил он решительно.

Противоречивые чувства владели им, когда он шел дальше по шепеляво шепчущей прошлогодней хвое и похрустывающим шишкам: то его приподнимала какая-то непонятная радость, то стыд отяжелял, то грусть мутила свет неба.

Почему-то выплыла из глубин памяти сцена одной из отвратительных ссор с Алиной. Она тогда держала трехлетнего Димку на руках, мальчик закричал:

— Папочка, подойди ко мне!

А когда Самойлов подошел, малыш обнял его за шею и с неожиданной силой притянул его голову к голове матери, крича:

— Вот так надо, вот так!

Нет, нет, не думать ни о чем: ни о прошлом, ни о будущем! Он приехал отдохнуть! Отдохнуть!

Снова расступился лес — и Леонид Геннадиевич вышел к песчаному озерному пляжу.

Здесь случилась чья-то беда: у самого берега стояла толпа, громко рыдала женщина. Это была молодая супруга утонувшего. Спасатели ныряли, на берегу дежурили медики, но, как выяснил Самойлов, прошло уже больше получаса, и теперь можно было с уверенностью считать женщину вдовой.

— Да ить на тем самым месте — холодные ключи, — пояснял серый старикашка. — Его судорога-то и хватить! Опять же это не впервой, а начальству поганому, им хоть бы чуть!

— Ну что ты мелешь, алкаш?! Он же с тобой, мухомор зловредный, пол-литра выдул, а потом поплыл, — возразила басом огромная дева в белом халате. — Ты и виноват, а не начальство: у него от той водки или спазм сосудов мозга был, или сердце отказало. Вскрытие покажет.

Женщина зарыдала еще сильнее, на медсестру накинулись:

— Какое вскрытие? Может, еще откачают, а ты похоронила.

Леонид Геннадиевич разделся, вошел в прозрачную прохладную воду. По привычке обрызгал, остудил тело — и, сделав несколько быстрых шагов, нырнул. Отфыркался, поплыл. Устал, наконец, и решил вернуться.

Увидел, что берег далеко. Подумал о несчастном, который лежит на дне и всплывет уже трупом. Радовался тому, что сам чувствует себя уверенно, — и вдруг попал в ледяные объятия, остановившие дыхание. Понял: это те самые

ключи, о которых говорил старик. Видно, заплывал в стороне от них, а сейчас — наткнулся.

Страха не было, но он с брасса перешел на кроль, надеясь миновать опасную зону быстро.

Судорога вначале захватила только пальцы правой ноги, но уже через несколько мгновений то же произошло и с пальцами левой. И тогда ему стало страшно. Но он все еще контролировал себя: перешел снова на привычный брасс, следил за ровностью дыхания, старался не думать о расстоянии до берега.

Через короткое время неодолимой силой свело обе стопы, и он ясно ощутил, как судорога берется за все его тело. Снова посмотрел на берег: нет, не успеть...

Увидел женскую фигурку в футболке и шортах, а рядом с ней — мальчика, узнал их.

В душе его боролись страх, повелевавший звать на помощь, и стыд, заранее рисовавший его жалкий вид. Он преодолел стыд и закричал:

— Су-удорога-а! Помоги-ите-е-е!

Подумал: «Вот и все! Как глупо ...»

Увидел, что кто-то плывет к нему, загребая сильно и уверенно.

Безжалостное чудовище тоже заторопилось, все злее терзая его, горькое равнодушие внезапно примешалось к страху, но тут встревоженный женский голос произнес рядом:

— Держитесь, не паникуйте, сейчас мы будем на берегу.

Надежда ожила, он отдался во власть этого голоса, хотя с трудом уже воспринимал то, что происходит. Лишь на берегу он как бы сквозь сон увидел милое лицо.

Да, это была она, мать Сережи. Она растирала махровым полотенцем его тело яростно и неутомимо, ее сын старательно тер ему голову, горячий песок и полуденное солнце помогали их работе. Судорога неохотно отступала.

— Пришел в себя, — произнес кто-то, как показалось Самойлову, разочарованно. — А жена — молодец, спасла дурака.

Леонид Геннадиевич заметил кучку людей вокруг себя. Она тут же растаяла. Вспомнил свой крик, спросил, стыдясь:

— Вы теперь презираете меня?

— Я рада, что вы живы, — возразила она искренно.

И тут же добавила с улыбкой:

— Иначе завтра мой сын не встретился бы с дядей клоуном.

— Вы спасли мою жизнь, — сказал он глухо, — и она принадлежит вам. Так, кажется, говорят в подобных случаях?

— И мне! — закричал Сережа. — Я помогал маме!

Мгновенно вспомнился едва не оставшийся сиротой Димка, больно сжалось сердце — и Самойлов опустил веки.

— Что с вами? — взволнованно спросила женщина и начала проверять его пульс. — Вы меня слышите?

Пришлось открыть глаза. Их взгляды встретились — и случилось то, что так редко бывает между незнакомыми: они прочитали душевные ветры друг друга и прониклись глубинным доверием, которого не добиться даже многими годами совместной жизни, если оно не было ниспослано однажды такой встречей взглядов...

— Как вас зовут? — спросил он, преодолев растерянность.

— Тоня. Антонина Николаевна Тутолмина, если официально.

— Леонид Геннадиевич Самойлов...

Хотел добавить: «... если официально», но вспомнил, что в паспорте строгой тушью написано: «Лев Гедалиевич».

И назвал себя смущенно:

— Леня.

— Можно мне вас звать «дядя Леня?» — спросил Сережа.
 — Да, конечно, — обрадовался лже-клоун.
 — А теперь, Сереженька, пойдем, пора обедать.
 — Вы тоже едите в первую смену? — спросил Самойлов.
 — Нет, мы дикари. Живем у приятельницы. В поселке санатория. Это недалеко.

Он хотел спросить о чем-то еще, но вдруг онемел, увидев ее заново: легкий загар ласково сочетался со светлоглубым цветом купальника, нежная кожа казалась подсвеченной неким тайным светом, идущим не от солнца, а от скрытого в ее теле источника; стройная фигура была воплощением скрытой силы и в то же время бесконечной женственности.

— Она прекрасна, — подумал мужчина.

Женщина поняла его пристально-восхищенный взор, какое-то мгновение радостно и безотчетно впитывала это излучение, но вдруг застыдилась, зарумянилась — и, быстро одевшись, ушла. Попрощавшись бегло. Вместе с сыном, долго оборачивавшимся и махавшим рукой.

И тогда Самойлов вспомнил, что дома лежит на столе вызов на постоянное жительство в Израиль, присланный от Гиты Гросберг, которую он никогда не знал и даже не подозревал, что она вообще существует. Предстояло выполнить то, что затеяла Рива Соломоновна, его мать.

Мама ... Как почти каждая еврейская мать, она опекала Левочку сверх меры, соревнуясь в этом с бабушкой. Они не позволили отцу, суровому военному хирургу, отдать его в детский сад, они оберегали его и дома, и во дворе. Он рос веселым, крепким ребенком. Но как бы за оградой.

Он не знал, что такое скука: отец, несмотря на свою занятость, уделял сынишке много времени. К шести годам мальчик уже ловко ходил на лыжах, плавал в бассейне несколькими стилями, а к семи — прочитал множество сказок и принялся за детективы и научную фантастику из отцовского книжного шкафа. Он хотел быть сильным, смелым и открывать неведомое.

Его трюки на комнатной спортивной стенке сменялись вдумчивыми действиями с любимыми игрушками. То были игры-конструкторы разных систем, отечественные и импортные.

Когда отец и бабушка погибли в автокатастрофе, мама весь пыл осиротевшей души сосредоточила на сыне. Даже в школу водила за руку, и тайно от нее он дрался с насмешниками.

Иногда мама тихо плакала, прячась от него, и он знал, что причина — ее тоска по любимому мужу. Никогда ни один мужчина не появлялся в их квартире. Разве что электрик или сантехник: если что-то портилось.

Вспомнилось Самойлову, все еще лежащему бессильно на песке, как после одного случая прекратились нападки и насмешки в школе, появились новые друзья, покровители и даже почитатели.

Это было в шестом классе. К тому времени Лева уже неплохо умел драться, дома яростно накачивал мускулы, читал отпечатанное на машинке руководство по карате, которое выменял на велосипедный насос. Ширококостный, ладно скроенный, мальчик становился все более ловким, стремительным.

Немногие решались схватиться с ним один на один. Наиболее наглые налетали скопом — и тогда ему приходилось спасаться бегством, потому что еще не было у него настоящих друзей. Его угнетала напряженность в ожидании очередного нападения или насмешки. Зато утешали книги и телевизор.

В тот день горстка маленьких негодяев задумала нечто новое: на большой перемене, пошептавшись, они стали гонять мяч по спортплощадке и пригласили Самойлова постоять в воротах.

Он давно мечтал об этом, но мама запрещала ему играть в футбол: боялась травмы. Поэтому отказался.

— Трус! — закричали злобно. — Еврей Самойлишка — трус!

И он стал между двумя кирпичами — символом ворот. К удивлению многочисленных зрителей и самого вратаря, он ловко отбивал, казалось бы, верные голы. Хватал мяч, прыгая за ним высоко вверх и далеко в сторону.

Но не этого хотели пригласившие его. Дождавшись, когда он увлечется достаточно, они приступили к долгожданному действию.

Удары посыпались, будто нечаянно: локтями, головой, ногами. После одного, никак не замаскированного, он, стиснув зубы, нанес обидчику резкий ответный удар. Тот рухнул и лежал, не шевелясь. Вся стая набросилась на Самойлова. Упавший встал и, плача от боли, хихикал злобно в стороне.

— Эй, вы! — раздался мощный бас. — Отставить!

Это был голос кумира юных футболистов, тренера команды популярного спортивного клуба. Он же тренировал и школьную команду. Мужчина уже несколько минут наблюдал за игрой.

Драка мгновенно прекратилась.

— Из этого парнишки получится вратарь. Вот и смена нашему выпускнику. Как ты считаешь? — обратился тренер к высокому светловолосому подростку, стоявшему рядом с ним.

Тот кивнул.

Леонид узнал в подростке капитана школьной футбольной команды, восьмиклассника Петра Седельникова.

Жизнь Лени Самойлова в школе стала теперь иной: футболисты были в почете, да и тренер по кличке Пиночет не терпел, чтобы его ребята давали одного из своих в обиду. Мама примирилась с футболом.

Сначала Леню придерживали, потом он и в серьезных матчах стал участвовать. Седельников почему-то не любил Самойлова, но ценил как вратаря. Впрочем, вскоре капитан ушел в медицинское училище. Они встретятся на футбольном поле, когда один будет вратарем сборной политех-

нического института, а другой — капитаном команды медицинского.

Потом потеряют друг друга из вида.

Футбольные тренировки и матчи отнимали много времени: его теперь не хватало не только на другие увлечения, но иногда и на приготовление школьных уроков.

При всем при том природа делала свое дело: уже четырнадцати лет Леонид познал первую поллюцию. Это случилось после того, как он побывал в гостях, где много угощали сладким.

Сон его был и смешным, и странным: преподаватель физики, дебилая дама, вызвала Са-мойлова к доске, но вдруг, уронив свои одежды, обняла его, прижала к себе — и...

Его смутило происшедшее: и той волной удовольствия, что еще продолжалась, когда он пробудился; и тем следом, что остался на белье.

Он знал уже, что такое бывает у подростков, но все же, поколебавшись, рассказал маме о происшедшем. Она встревожилась — и прочла ему целую лекцию о том, как следует себя вести, чтобы «это» не мешало.

С тех пор поллюции являлись ему регулярно, с месячными, а то и более короткими интервалами. Он любил и ждал их.

В пятнадцать лет он уже брился, так как пушок на лице сменили жесткие черные волосы. А в ванной он удивленно рассматривал все более густую растительность на груди и ниже. Иногда задерживал взгляд на гениталиях и радовался тому, что они хорошего размера. Возникло искушение расслабиться, поласкать себя. Но он верил маме: всему свое время.

Однажды восстал:

— Все люди как люди, а у нас — матриархат! Ребята из класса пошли на тусовку, а я — домой. Ты меня воспитываешь, как девчонку! Я мужчина! Понимаешь? Я уже созрел физически, ты же видишь! А у меня нет девушки...

— Понимаю, сынок! Но и ты пойми меня. Во-первых, ты еще не достаточно созрел, иначе уже служил бы в армии. Во-вторых, воздержание до поры до времени еще никому не вредило. В-третьих, и это — главное, я хочу, чтобы ты и твоя будущая жена пришли друг к другу чистыми, первыми.

— Я должен ждать, пока эта чистая появится? А если ее еще не будет десять или пятнадцать лет?

— Клянусь тебе жизнью, здоровьем своим и памятью твоего отца, единственного моего мужчины, ты свободен! Я только советом и просьбой оберегаю тебя до поры до времени, на этом опасном распутье, перед выбором дела жизни и подруги!

— С делом жизни все ясно: я буду инженером, я ходил в политехнический на профориентацию. А подружка...

— Если девушка, которую ты полюбишь, придет к нам даже завтра и я увижу, что вы будете счастливы, что она не ломает тебе жизнь, я не стану возражать ни против чего. Но святое должно быть свято. Иначе...

И вдруг его любимая мама заплакала.

— Ты думаешь, мне легко? — говорила она сквозь слезы. — Я ведь еще не так стара, мне тоже трудно. Но я не могу даже представить себя в интимной близости с другим. У нас была такая любовь с твоим отцом, Лева! Ты — все, что есть у меня в жизни, сынок, ты — память о нем, плоть его! Левочка!

Это страстное откровение матери потрясло Самойлова. Он поверил ей. Он решил ждать свою суженую.

Вскоре он начал возвращаться из школы вместе с одной из одноклассниц. Но вдруг мать ее закатила злобную истерику, избила дочь. Прямо у подъезда. Грубо обозвала Самойлова.

Поступив в институт, он начал сразу работать в лаборатории, чтобы вносить свой вклад в семейный бюджет. Тут же его взяли вратарем в институтскую команду. Вместе с товарищем начал собирать компьютер.

В сутках не хватало часов. Так прошло три года.

Теплым сентябрьским вечером мама познакомила его, студента четвертого курса, с Розой Кримнуз, дочерью со-трудницы. Скромная девятнадцатилетняя медсестра показала ему необыкновенной: не умела лгать, была доверчива, как ребенок, и так же целомудренна.

У нее была красивая фигура и милое, нежное, веснушчатое лицо, которое несколько портил нос: он был немного великоват и имел не очень хорошей формы горбинку. Правда, заметно это было только в профиль. Леонид же смотрел в глаза ее, ясные и чистые. Они его умиляли.

На одном из киносеансов молодые люди поцеловались — робко и неумело. Страсть еще таилась, но не спала. Она давно ждала своего часа. А когда этот час настал, ни Леонид, ни Роза не были готовы к нему.

В день его рождения собрались друзья Самойлова, подруги Розы, ее родственники. Только мамы не было: она дежурила на вычислительном центре в ночную смену, подменяла внезапно заболевшего сотрудника.

Разошлись под утро.

У Розы заболела голова, она легла подремать на диване.

Но Леонид расстелил ей постель и тактично вышел из комнаты.

Через минуту девушка позвала его и попросила минуточку посидеть рядом с ней. Она уже была под одеялом. Он сел на стул и взял ее руку в свои, а она притянула его к себе и шептала:

— Что такое любовь? *Что* я для тебя? Почему мне грустно?

Беззащитной казалась ему Роза, гордая радость мужчины-покровителя и нежность наполнили его душу. Он стал умиленно гладить ее волосы, потом — целовать щеки, лоб.

Наконец, и уста их встретились в долгом и сладостном поцелуе. Желание охватило Самойлова. Он разделся, дрожа, и лег к ней. Она не возражала. Поцелуи и объятия про-

будили в них древние могучие силы, но Роза внезапно спохватилась:

— Нет, нет! Нельзя! Не сейчас! Только после свадьбы!

— Я же не обману тебя! — почти закричал он умоляюще.

— Леня, миленький, я не могу, не надо, пожалуйста. Мы поженимся — и все, все у нас будет! Нельзя сейчас!

Он едва не применил силу: так силен был зов природы. Но сдержался, и от этого насилия над самим собой ярость вошла в сердце, вытеснив желание.

— Ты эгоистка!

Он схватил одежду и быстро ушел на кухню. Выходящими из повиновения руками оделся. Стукнул гулко кулаком по стене, согнулся от боли, замахал рукой.

Тут же появилась Роза, наскоро одетая, не причесанная. Спросила горько и отчужденно:

— Так тебе от меня только *это* и было нужно?

— Ничего мне от тебя не нужно, — ответил Самойлов зло.

Она ушла, не попрощавшись. И тогда он опомнился, устыдился. Ему хотелось побежать за ней, но он сдержался.

— Что с тобой, сынок? Мне кажется, ты не в своей тарелке, — забеспокоилась мать, придя с работы.

— Да так, ерунда, — не желая огорчать ее, солгал сын.

Ну как объяснить маме, что он уложил девушку в постель, влез к ней оголенный и пытался овладеть ею? Что, не получив своего, не извинился, а, можно сказать, выгнал ее.

Нет, не смог он разочаровать маму в обожаемом сыне!

Воспоминания вконец расстроили Леонида Геннадиевича, он даже забыл о том, что избежал гибели, что обменялся взглядом с такой милой Тоней. Он снова был весь стыд и тоска.

Тем не менее голод уже давал себя знать, и Самойлов, неевший ничего ни в самолете, ни после ночного полета, встал, оделся, отряхнул с себя песок и пошел в столовую.

Он опоздал: смена заканчивала обед. За столом, к которому его прикрепили, расправлялись с вишневым компотом.

— Ешьте скорее, ваш суп остыл, — сказала разудалая красивая дама, сидевшая напротив и пребывавшая навеселе.

— Коньячку не желаете? — спросил сосед, сидевший справа.

— Не сегодня, — отказался Леонид Геннадиевич, — спасибо.

Он и в самом деле не хотел: еще не совсем пришел в себя.

Поэтому же не сразу заметил четвертую соседку. Это была не очень молодая полная женщина с добрым и печальным лицом.

Она смотрела на Самойлова голодными глазами, но, перехватив его взгляд, до кумачового цвета покраснела.

Обед оказался прекрасным, Самойлов постепенно ослабился, ел с аппетитом.

Снова поймал на себе взгляд соседки, голодный и печально-молящий, понял ее, сочувствовал ей, даже хотел бы помочь ей, даже пожалел о том, что не в его это силах.

Между тем, разудалая встала со стула, взяла своего приятеля под руку и вышла из столовой. Подмигнула Самойлову, повела глазом в сторону соседки. Та же умиленно глядела на то, как он доедает компот, явно хотела что-то сказать, но почему-то не решалась. Он догадался, что следует удалиться немедленно, и сбежал, не опустошив стакан с компотом.

А на улице разудалая спросила, почему он вышел без Ани.

— Аня — хорошая женщина, очень! Понимаете? Но муж — алкаш, мерзавец. А она всю жизнь была верна ему. Вы просто обязаны ее утешить, да и сами получите море удовольствия. Она бесплодна. Понимаете? Ну?

Голос красавицы звучал требовательно и даже сурово.

Самойлов холодно поблагодарил за такую заботу и объявил, что верен своей жене из принципа. И вообще он отдыхает.

— Вы ... вы ... ограниченный! Вы ограниченный мужчина! — крикнула его стройная собеседница. — Я вас не уважаю.

Она подхватила под руку подошедшую к ним робко сорокалетнюю Аню. Удалилась, гневная и гордая, вместе с ней и своим другом, который уже проявлял нетерпение.

Они шли вдвоем, но видно было, что несчастная Аня мешает тем двоим.

Самойлов смотрел им вслед недолго: его вновь захватили тяжелые воспоминания о той далекой поре...

Ничего не сказав матери о своей ссоре с Розой, он решил позвонить подруге и попросить прощения, но не сразу, а выждав несколько дней, чтобы дать ей успокоиться.

Настало воскресенье: не было ни занятий, ни работы, ни тренировок. Леонид не находил себе места, но как при маме говорить по телефону с Розой? Да и вообще надо идти к ней и объясниться лицом к лицу.

Он чувствовал небывалое волнение, он не шел, а летел. Сейчас, сейчас все вернется к ним...

Во дворе встретил он братика Розы, Фимочку. Взял малыша на руки, весело подбросил пару раз, спросил, дома ли мама, дома ли сестра.

— Мама ушла, а Роза дома. Все плачет, плачет. Была в гостях, а ее обидели.

Леонид подумал, что это о нем, и сказал Фимочке, что пришел извиниться.

— Нет, другие обидели. Ты хороший, — возразил ребенок.

Предчувствие беды сжало сердце. Отпустил малыша, поднялся на третий этаж. Позвонил. Дверь была не заперта, и он вошел в квартиру. Увидел на диване Розу: бледную, с опухшими от слез глазами.

— У кого ты была и как тебя там обидели? — спросил внезапно осипшим, чужим голосом.

Она некоторое время смотрела на него, словно не узнавая, потом отвернулась и, рыдая, кричала:

— Уйди! Уйди, пожалуйста! Уходи совсем!

Он догадался, повернул ее лицом к себе, крикнул яростно:

— Со мной — после свадьбы?! Да?! Где ты была? С кем?

И вдруг прекратились рыдания, деревянным голосом поведала Роза о страшном и непоправимом.

Она тяжело переживала их ссору, надеялась, что вот-вот он позвонит ей и они помирятся. Дни шли, он не звонил, и она решила, что не надо ждать, надо сделать первый шаг.

Уже взяла трубку, но тут пришла двоюродная сестра, которая недавно разошлась с мужем. Ее пригласили на вечеринку знакомые студенты-медики, и она уговорила Розу пойти с ней, расслабиться. Уверяла, что надо проявлять гордость и заставить Леонида позвонить первым. Не давала брать трубку.

Те медики оказались скромными. Но они их напоили и...

— Кто он? — тихим, но страшным голосом спросил Леонид.

И потребовал, отойдя и отвернувшись, чтобы не видеть ее:

— Кто? Говори! Я убью его! Или тебя...

— Ничего не по-омню-ю-у! Убей меня-а...

И новые рыдания перешли в вой. Он не мог слышать этого!

Допоздна бродил по городу, огибая знакомых. Что-то в нем рычало, выло и стонало, не находя выхода. Он боялся сойти с ума. Он хотел бить! И убить! Всех их! И Розу? Нет, нет, только не ее!

Постепенно ярость утихала, ее сменило глубокое уныние: он пришел к выводу, что сам виноват. Рассказал маме обо всем, каялся, просил совета.

— Поздно, Левочка: не вернуть того, что могло бы быть. Оба вы виновны: и она, и ты. Но сейчас именно она в большой беде, и мы с тобой обязаны сделать все, чтобы ей помочь.

— Так она тебе дороже, чем я?! — вскинулся сын. — Да знаешь ли ты, что со мной творится?! Да я...

Сильно хлопнув дверью, вышел из дому — и сразу же наткнулся на бывшего одноклассника и футбольного болельщика, весельчака и добряка по кличке Вершок.

Иван Вершков, недавно присвоивший себе новое имя Джон, был студент консерватории. Высокий, стройный, с красивым открытым лицом, он был наделен редчайшим даром: его сильный баритон мог выражать любые чувства с тончайшими оттенками.

Вершкову пророчили славу. Пока же он для поддержания духа в брэнном теле пел в хоре театра оперетты и в церковном хоре, порой даже подменял солиста в не очень уважаемом ресторане.

— *Что смутило твой дух, о сосед мой?* — проречитативил он, остановив шедшего с опущенной головой Леонида. — *Молчишь ты?* Пауза три такта. *О-о! Откройся: сумею помочь!*

Он был слегка навеселе, полон дружеского расположения, обнял приятеля, хлопая по спине, и Самойлов не сдержался, выложил все. Вершков тут же осознал свою задачу и повез соседа в хибарку на окраине, которую снимали три студентки ин-яза. Две из них были дома.

Джон представил приятеля, девушки назвали свои имена.

Очкастая Оля села за старенькое фортепьяно аккомпанировать Вершкову, но он петь отказался: не в форме. Тем временем зеленоглазая Алина уже сбегала с собранной наличностью куда-то и вернулась, потрясая двумя бутылками.

Разлили водку в граненые стаканы. Леонид, который до этого был приучен только к слабым винам, хотел было

отказаться. И вообще уйти отсюда, где все какое-то чуждое. Но тут Джон, сияя голубыми глазами, торжественно провозгласил:

— *Этот бокал, о друзья, мы до дна посвятим Леониду!*
Выпьем его мы за счастье твое,
Леонид безутешный!

Все чокнулись и осушили стаканы; Самойлов, пересиливая отвращение к запаху сивухи, тоже выпил до дна. Внимательная Алина тут же сунула ему в рот соленый огурчик, который он жадно сжевал. Съел еще один — и подавил рвотный рефлекс. Джон разлил по стаканам немалые остатки из бутылок и вновь возгласил, на сей раз смешивая стили речи:

— *Мой восторженный тост — за прекрасных юных дам!*
Эх, первая — колом, а вторая — соколом! Будем!

Эта порция, действительно, пролезла в глотку легче.

— Гусары, по коням! — скомандовал Вершков, погасив свет.

Легли парами. Соседняя кровать тут же мерно заскрипела.

Зеленоглазая нашла губами губы Леонида, умело поцеловала его. Он почувствовал гул своей крови и сильные удары сердца. Девушка, все так же умело продолжая возбуждать его, помогла войти в нее, и Леонид познал наслаждение соития.

Теперь и их кровать скрипела все быстрее и яростнее, переключаясь со скрипом соседнего ложа.

Оргазм застал его врасплох: это было и наслаждение, и мука. Совсем не то, что поллюция ... Он уже ничего не слышал, не понимал — он застонал, стон перешел в крик ... Когда Самойлов опустошенно затих, то услышал тихий, журчащий смех Алины.

— Тебе понравилось? — спросила она шепотом. — Я хорошо тебе помогала?

— Да, — ответил он восторженно, — это удивительно...

— Ты что ... первый раз, да? — поразила девушка.

Он промолчал, и она поняла. Принялась снова целовать его, но уже по-иному: по-матерински нежно, поглаживая голову. А он от этого нежного понимания снова возбуждился и начал жадно ласкать ее.

Новое соитие длилось бесконечно — и завершилось еще более сильным оргазмом.

Наконец, вопли и стоны новичка прекратились, и взвыл голос Джона:

— *Зевсом клянусь, о мой друг Леонид, ты гурман сексуальный!*

Раздался громкий хохот всех четверых.

— Миленький, — сказала Алина Самойлову, — я, наверно, полюблю тебя.

Он проснулся перед рассветом — и не сразу понял, где находится: рядом с ним мощно храпела девица, подгнивший и выгнувшийся потолок нависал угрожающе низко, сквозь крошечные кривые окна нехотя всовывался в комнату усталый серый свет.

Тошнило.

Боясь, что сейчас его вырвет, Леонид выскочил из постели и выбежал на улицу через приоткрытую скрипучую дверь хибарки. Успел добежать до угла дворика — и мучительно выдал наружу содержимое желудка.

Джон уже спешил к нему, заставил глотнуть водки и запить рассолом. Стало легче. Но зазнобило. Он, пытаясь быть осторожным, забрался под одеяло. Алина распахнула зеленые глаза, обняла его, назвав миленьким, и снова захрапела.

Послышался шум мотора, заскрипела сварливо дверь — и вошла девушка. Нисколько не удивляясь, приветствовала всех:

— Эй, вы, засони, вставайте, я принесла бренди и закусоны от своего милого друга! Сегодня воскресенье, гуляем!

Джон тут же вскочил, наскоро оделся и принялся щекотать пришедшую, потом взял бутылку и запел, глядя на сосуд:

— *Я вас люблю, люблю безмерно...*

Вскоре все были снова пьяны. Самойлов радовался: они так тепло к нему относятся, они такие милые и хорошие!

Появился красавец-лейтенант и переглядывался с Алиной; они вышли. Через какое-то время девушка вернулась одна. Леонид отметил это, но подумал о том, что ему все равно. Он заблуждался: все разбежались, а он остался с Алиной, зеленоглазая уложила его с собой — и спросила буднично:

— Ты хотел бы жениться на мне? Нам было бы хорошо.

— А за лейтенанта не хочешь? — задал встречный вопрос.

Она засмеялась, начала снова возбуждать его — и нарастающее желание сильнее водки отуманило его разум.

Долго они предавались наслаждению, она первая устала, вслух поразила его неумимости — и заявила снова:

— Миленький, мне кажется, что тебе стоило бы жениться на мне. Я тебе первому говорю это. Я ведь хорошо готовлю, вышиваю, кроить умею, ты будешь всегда ухожен. Женись на мне, не пожалеешь. Я веселая, добрая...

— А почему бы и нет? — устало сдался Леонид.

— Выпьем за наше счастье, — сказала Алина.

И закрутилось колесо судьбы со страшной скоростью...

За неявку в лабораторию на работу, за пропуски семинарских занятий в течение трех недель студент четвертого курса Л.Г. Самойлов был отчислен из вуза.

Позже Леонид узнал, что на его исключении настоял секретарь комитета комсомола, не желавший простить ему поражения футбольной команды, случившегося в отсутствие Самойлова.

Напомнил принципиальный секретарь и о том, что в летние каникулы, когда все третьекурсники, как это им положено, были на военных лагерных сборах, причем на севере, вратарь уехал с чужой футбольной командой на солнечный юг.

Прислали повестку. Колесо судьбы замедлило вращение...

Рива Соломоновна за эти недели постарела, осела к земле. Несколько раз сын приходил домой ночевать, и каждый раз — пьяный. Ее взывания к разуму, к чести, к совести приводили его в ярость. Потом извинялся, обещал завтра вернуться на правильный путь — и снова оказывался в хибарке...

Он не успел подать заявление в загс, и это радовало Джона, горячо отговаривавшего приятеля от женитьбы.

Отрезвившись, наконец, Самойлов попросил прощения у матери. Далеко на восток отправили его через два дня.

Провожали призывника не только мама и однокурсники, пришла также Алина с подругами. Рива Соломоновна молчала горестно, но не плакала. Знакомиться с Алиной не пожелала.

Командира радиороты батальона связи, капитана Гончара, черноглазого крепыша, веселого и знающего дело, солдаты называли батей. Большинство из них были выпускники техникумов и средних школ. Дедовщиной в роте и не пахло.

Служба не тяготила Леонида. Ему нравилась строгая дисциплина, радовала ранняя побудка. Частые ночные тревоги и объявления повышенной готовности поначалу даже вызывали романтический подъем, перешедший затем в привычку. Он и здесь играл в футбол, крепко стоял в воротах, и капитан команды, он же старшина роты, Андрей Усатюк, стал его другом. От мамы в неделю приходило по два-три письма. Отвечал хоть и не на каждое, но всегда ласковым и веселым листком.

Не то было с письмом Розе. Начал сочинять его еще в поезде, но написанное казалось или лживым, или жалким, или чересчур сухим. Не решался спросить у матери, что известно о девушке, и удивлялся отсутствию даже строчки о ней.

И вдруг стали прибывать коротенькие, участливые и бодрящие письма от Алины. Сначала он не хотел отвечать ей, потом ему стало не по себе, ответил коротко. И тогда

от нее пришло длинное, нежное и удивительно доброе послание. Он снова ответил, тронутый, но почувствовал, что предал Розу...

Вскоре увидел солдат Самойлов сладкий эротический сон, однако приснилась ему не Алина, не Роза, а Алла Пугачева.

Проснувшись, он расстроился: как все у него нелепо получается, даже сны какие-то *нелогичные*...

В тот же день Усатюк шепнул:

— Я познакомился с дивчиной. Гарнесенькая и безотказная. Подруга — не хуже. Подвалим удвох? М-м?

Поколебавшись, Леонид согласился.

Избушка, куда они пришли в воскресенье, была на диво схожа с хибаркой, в которой он познал женщину. Девушки, действительно, были симпатичные. Все началось почти по знакомому сценарию. Однако развитие событий оказалось иным.

Едва глотнув, Самойлов отставил водку с отвращением. Леночка же, с которой ему, по плану Усатюка, предстояло сблизиться, пила, не пьянея. От нее почему-то веяло холодом.

Особенно, когда сказала лукаво, намекая на анекдот:

— Если погонишься, постараюсь убежать не очень быстро.

Во время танца она его обняла, но он чувствовал, что не желает ее: будто кукла перед ним, а не живая девушка. Тоска навалилась на солдата, и он вызвал невеселое удивление маленькой компании, сказав вдруг:

— Извините, мне пора.

— А зачем ты вообще пришел? — рассердилась несостоявшаяся подруга. — Или тебе что-то особенное нужно?

Усатюк потребовал:

— Погуляй тогда з Ленкой. А у казарму пойдем вместе.

На улице девушка взяла Леонида под руку, спросила не то сердито, не то жалобно:

— Я тебе не понравилась? Я тебя не возбуждаю? Почему?!

Ему стало не по себе, и он ответил не сразу, запинаясь:

— Да нет, просто у меня девушка дома, вспомнил...

— Красивая? — поинтересовалась почти успокоенно, но в то же время довольно ревниво.

— Такая же, как ты, красивая и милая, — нашелся солдат.

Он был рад тому, что его спутница не может читать мысли. Ибо думал о том, что и Алина — распутная, но не такая, как эта: холодом начиненная. А Лена уже с издевкой рассказывала о влюбленном в нее тощем профессоре, который ей противен, но щедро одаривает.

— Подлец, дохлятина, он готов бросить хоть сию мину-ту и кафедру, и свою сорокалетнюю старуху, и детей.

Потом, подзадоренная молчанием спутника, начала описывать и других мужчин, и для каждого нашлось у нее насмешливое злое слово. И вдруг девушка заплакала:

— Бедная мама! Если б она только знала...

Леонид молчал. И вдруг, обняв ее, прижал, стал гладить по голове, припавшей к груди его. Шептал растроганно:

— Все будет хорошо, Лена. Ты найдешь свое счастье. Только брось это...

— Тебе бы попом быть, — засмеялась она сквозь слезы.

Вернулись. Лена чмокнула его в щеку и упорхнула. Вышел усталый и довольный старшина.

— Самойлов, к командиру роты, — раздалось на следующий день после обеда, и Леонид поспешил.

Григорий Давидович кивнул доложившему о прибытии солдату, продолжая что-то читать. Наконец, оторвался от бумаг и мрачно задумался.

Спохватился, улыбнулся:

— Ну, Самойлов, как идет служба? Нет ли трудностей? Что беспокоит?

— Все хорошо.

— Что тебя там, у девчат, выбило из колеи?

— Вы об ... о воскресенье? — догадался солдат.

— Согласись, нет причин пренебречь такой Ленкой.

— Это к моей службе не относится. И вообще...

— Верно, к службе это не относится. Но я получил письмо от твоей матери: она обеспокоена, так как узнала от твоего приятеля о том, что *некая девица* ведет с тобой переписку. Я понимаю: первая женщина, первая страсть. Возможно, ты однолюб, и тогда это — единственная страсть. Сиди, не дергайся!

— Я ведь тоже обоженный любовью, — доверительно продолжал Гончар. — Влюбился, когда служил на Дальнем Востоке, а родители моей подруги не хотели еврея. Да-да, не хотели! И сделали все возможное: сначала, чтобы мы не дошли до загса, а потом — чтобы пришли туда снова, но уже для развода. И вот семь лет уже я один. Ты хоть знаком с ее родителями?

Леонид помотал головой: знал только, что живут в деревне где-то на Харьковщине. Он уже не злился на Гончара, слушал:

— Не пиши ей, не встречайся. Такие, как ты, на дороге не валяются: найдешь хорошую судьбу. И пусть это будет еврейская девочка: по крайней мере, никогда не станешь для нее *жидом*. А тем более, старым жидом, когда будет поздно начинать заново.

Но если уж она другой национальности, то хоть не такая ... Подумай о матери, о себе. Подумай хорошо!

Столько искреннего участия было в голосе командира, что Самойлов поверил ему. Сказал честно:

— Я и так все время думаю об этом.

Гончар внимательно посмотрел на него. Поджал губы, потер лоб. Произнес тяжело, с нажимом:

— Будь мужчиной, забудь ее!

В тот же день на дружеской встрече с футбольной командой стройбата Леонид получил серьезную травму ноги, а когда вернулся из госпиталя, узнал, что Гончара куда-то перебросили.

Снова начал сочинять большое послание Розе: она должна понять его — и простить. Он сам давно уже простил ее, но воображение являло ему омерзительные картины

того ужасного, что с ней случилось. Он с трудом изгонял их из своего сознания. Потому послание не закончил, порвал на мелкие клочки, выбросил — и через день начал новое. И тоже порвал...

В одно из воскресений пошел на переговорный пункт, вызвал Розу, услышал в трубке ее голос, ждал, что она догадается, назовет его имя — и тогда он столько скажет ей ... Не назвала ... Он повесил трубку...

Вернувшись домой после демобилизации, три дня не решался поговорить с Розой: набрав номер, спешил положить телефонную трубку на место, едва услышав гудки. Не мог читать, смотреть телевизор. Не выходил даже в магазин.

Обеспокоенная Рива Соломоновна спросила его, в чем дело.

— Ничего особенного. Отдыхаю ... Перед институтом.

Он так и не смог довериться телефону: на четвертый день вышел, побрел в ту сторону — и встретил девушку у ее дома.

— Здравствуй, Леня, — сказала она просто, как будто не случилось ничего. — Давно не виделись. Как дела? Отслужил?

— Спасибо, все хорошо, — бодро солгал он, чувствуя, как гулками толчками взволновалось его сердце. — А ты?

— Да вот позавчера замуж вышла, уезжаем с мужем на Камчатку, он там служит. Правда, для меня пока нет работы, но он старлей, получает прилично. Потом и я устроюсь.

Она смотрела на него снизу вверх (была на голову меньше ростом), будто ребенок, который и обижен несправедливостью родителя, и в то же время продолжает любить его.

А он, стоял, как громом пораженный: так глупо опоздал!

Так долго сам себя бил по рукам! Даже сразу по приезде мог бы успеть еще...

Жадно смотрел на изящную, лучистую. На милые веснушки, на нежные губы ... В глубины взора ее...

— Я ведь была на вокзале, когда тебя провожали, — грустно улыбнулась она. — Так и не смогла подойти ... И вот...

Он почувствовал боль в сердце, слабость, на какой-то миг перестал видеть окружающее, но собрался, сжался, выстоял.

— Желаю счастья, — искренне, но с нарастающей в сердце болью произнес, безотчетно взяв ее руку и легко пожав.

Ответила таким же слабым пожатием, уже иначе глядя в глаза ему: искала в них ответа на какой-то вопрос. Он взволновался, вдруг надеясь на что-то, невольно сильнее сжал руку — и тогда она прервала затянувшееся рукопожатие, попрощалась дрогнувшим голосом — и ушла. Почти бегом. Не оглядываясь.

А он смотрел ей вслед окаменело: любит или не любит Роза своего старлея — она его не оставит...

После этой встречи душа его опустела: он уверил себя в том, что никогда уже не будет ни с кем счастлив. А его крепкое молодое тело всей памятью своей запросилось вопреки разуму к умелым ласкам Алины...

Позвонил Джону, тот оказался свободен. Привезли пару бутылок «Столичной», гордо ввалились. Все тот же лейтенант сидел около лежащей в постели Алины, играл на гитаре, зазывно напевая. Второй военный, седой и лысый, в расстегнутом кителе, расселся у стола. На его коленях угнездилась та, что приносила давним утром бренди.

Самойлов явственно услышал строгий голос Гончара, требующий немедленно уйти отсюда навсегда, но зеленоглазая дева уже торопилась к нему, радостным распевом возглашала:

— Ой, родненький, пришел, пришел! А я тут все глаза выплакала! Ни писем, ни самого ... Это Джон тебя привел?

Пока она обнимала его, лейтенант куда-то исчез, его друг и любительница бренди ловко за ним последовали.

— Джон, мы с Леонидом поженимся, давайте выпьем за наше счастье, — сказала Алина.

— Алина тоже подругой жизни может стать, если ее правильно оседлать. Дело не в ней. Хочешь честно? — приятель, казалось, трезвел.

— В ком же? — Самойлов все сильнее разъярялся, но на секунду заинтересовался.

— Ах, *амико*, дело в тебе, — не то укоризненно, не то сочувственно выговорил Джон. — Вроде бы и смел, и крепок ты, но нет в тебе жестокой бесшабашности и нахальной уверенности настоящего самца, извини. Нет пренебрежения к женщине. Нет чувства хозяина, которое она, как лошадь, улавливает без слов.

Леонид на миг опешил: кто это говорит? Джон — владелец такого благородного голоса, выражающего высокие чувства?!

— Не унывай, — утешал Вершков, — не так уж много на планете настоящих самцов. Попробуй перевоспитать себя. А заодно и ее. Если же не сможешь ... Когда тебе надоест мучиться, найдешь другую, которая настрадалась от алкаша, оценит тебя и...

— Заткнись! Сейчас будет избиение настоящих самцов!

Самойлов кинулся к избушке, но там была одна Алина.

— Где они? — не своим голосом заорал Леонид.

— Зачем нам с тобой кто-то, миленький? Иди ко мне, — она нежно обняла его. — Все ушли. И Джон ушел. Мы — вдвоем.

Он утих было. Но вспомнил зазывную гитару, двусмысленные остроты, учение о настоящих самцах — и скрипнул зубами.

— Почему все ушли? Я хочу бить самцов! Понимаешь? Ты!

— Миленький, родненький, сейчас я тебе ча-аю крепкого!

Обняла его, поцеловала, усадила. Захлопотала у плиты.

— Ты мой муж, я твоя жена. Ты лучше всех на свете...

Настала странная для женатого человека жизнь: долгий день проводил в институте — учился, подрабатывал в лаборатории и в мастерских; вечером — устало плелся в хи-

барку, где то и дело знакомился с новыми настоящими самцами...

Через некоторое время он накопил немного денег, на них удалось снять проходную комнатку в соседнем с хибаркой домике у тихих и добрых стариков. Не раз, придя домой, не находил жены и шел в хибарку отрывать ее от стакана. Ссорились. А старики все мирили их, увещевали обоих...

Между тем, время шло. Самойлов закончил учебу, защитил диплом и начал работать технологом на заводе. Коллектив, показавшийся муравейником на производственной практике, огромной сборной командой — во время подготовки диплома, теперь все более являл собою главную семью его.

Он преобразался на работе: становился пытливей, энергичнее, даже умнее. Его интересовало буквально все. Он не стеснялся спрашивать. У технологов и конструкторов, у экономистов и плановиков. Но больше всего увлекался опытом смекалистых рабочих. Сам помогал им: начертить, рассчитать, сформулировать.

Леонида они вскоре признали своим парнем. Обратил на него внимание и главный инженер. Основательно прощупал в двухчасовой беседе — и молодого специалиста перевели на должность старшего мастера участка в цех сборки.

Работы прибавилось: шел брак из других цехов, надо было выяснять причины, доказывать, а знаний не хватало. Уходил из дому ранним утром, возвращался поздно. До глубокой ночи читал, чертил, подсчитывал.

Алина с неожиданной серьезностью готовилась к государственным экзаменам. Для интимной близости у обоих почти не оставалось ни времени, ни сил.

В стране началась перестройка, все говорили о Горбачеве. Изучали тексты его выступлений. Самойлов тоже попытался почитать, но сразу же почувствовал скуку, знакомую еще со времен института. Его тогда по-настояще-

му заинтересовал только первый том «Капитала», остальное в марксизме-ленинизме воспринималось плохо и почему-то не запоминалось.

В телевизоре по сравнению со старыми маразматиками Горбачев показался едва ли не гением, но мало-помалу разница между словом и делом становилась все очевиднее. Элементарные ошибки в ударениях раздражали.

Еще сильнее раздражала жена генсека, которую старший мастер считал глупой, наглой и совершенно несамокритичной.

В конце концов, решил Самойлов, его дело — служение царице-технике. По крайней мере, чувствуешь, что ты полезен.

Как-то в конце смены к нему подошел парторг.

— Пора в партию, Леонид Геннадиевич: ты на должности.

— Не вижу логики, — возразил он. — Хороший слесарь лучше плохого старшего мастера, даже если тот — коммунист.

— Есть логика, — убеждал парторг. — Хороший слесарь тоже должен быть коммунистом. Мы укрепляем наши ряды за счет рабочего класса. Ты — производственник. Можно сказать, рабочий. Подумай: ты, наверно, хочешь расти дальше...

Последние слова прозвучали почти угрожающе.

Самойлову выделили по решению завкома временную квартирку в бараке, подлежащем сносу. Жена сразу же побелила ее, выскоблила ножом некрашенные деревянные полы, раздобыла стол и два табурета, старую складную койку.

Это вызвало неожиданную для обоих супругов неделю бурных ночных ласк.

Алина рассказала мужу, что в научно-исследовательском институте, где она работала после окончания своего иняза, девяносто процентов работников — люди, не знающие, чем бы заняться в течение дня, лишь у переводчиков не хватает времени на выполнение заданий.

— А как же перестройка? — спросил он с улыбкой.

— Так же, как и у вас, — пожалла жена плечами.

Она ожидала ребенка и потому вела себя по-новому: не курила, не пила, всегда со службы торопилась домой, встречала мужа ласковыми словами, объятиями, поцелуями — и вкусной едой. Сидела за рукоделием.

Самойлову это нравилось. Он стал с надеждой смотреть в будущее, поверил в то, что настала светлая эра в их молодой семье. Он уже освоил на заводе свой участок, поэтому почти всегда приходил домой вовремя, помогал Алине, как мог.

Рива Соломоновна провела о том, что жена ее сына беременна. Забеспокоилась, засуетилась. Поселила их в квартире подруги-генеральши, уехавшей за границу на целый год: будто бы охранять жилье — и потому не платить за проживание. Приходила помогать по хозяйству.

Помощь свекрови радовала невестку, но тем не менее холод в их отношениях нетрудно было заметить. Да и сам Леонид Геннадиевич то верил в лучшее будущее, то вдруг вспоминал хибарку, лейтенанта, свадьбу свою, поучения Джона ... Сердце ныло, вползал в него гнев — и начинал расти...

Алина сидела на диване и что-то вязала. Он увидел, что хотя в ее фигуре четырехмесячная беременность почти не заметна, но жена его отяжелела, припухли ее губы, на лице — пятна. Дрогнул жалостью. Подошел, опустился на колени:

— Мальчик будет или девочка?

Она слабо улыбнулась, погладила его по голове:

— Кого ты хотел бы?

— Не знаю. Лишь бы с вами все было благополучно...

— Ты такой хороший, — шепнула она и разрыдалась.

— Аля, ну что ты...

Он был тронут, потеплел душой. И на следующий день, идя с работы, зашел в гастроном купить ей что-нибудь вкусное.

Самойлов увидел жену: она стояла рядом с одним из посетителей хибарки.

Холеный мужчина лет пятидесяти, модно и богато одетый, покровительственно хлопывал ее по руке.

Вот он взял ее руку в свои. Погладил, поцеловал. Сладко и жирно улыбнулся, прищурил глаз.

Алина стояла спиной к мужу и поэтому не видела его. Однако почувствовала его тяжелеющий взгляд, резко обернулась — и тут же что-то сказала мужчине. Тот быстро удалился.

— Так, — почти не слыша себя, спросил подошедший Леонид Геннадиевич, — что изволил барин делать с твоей рукой?

Жена удивилась, возмутилась, все отрицала. Она словно и не понимала, о чем идет речь. Но странно скосившись, убегающие, чужие глаза, но вдруг заострившийся и мелко задвигавшийся кончик носа ее выдавали.

Это была чужая, совершенно незнакомая и нехорошая женщина.

И она вдруг ему опротивела. Казалось, он проснулся. Или вывалилось из его сознания некое усталое колдовство. Он уже не верил и тому, что жена носит его ребенка под сердцем.

Потребовал аборта, но Алина наотрез отказалась: при таком к ней отношении она и сама бы не против, да поздно...

— Это будет твой сын, твоя копия, тебе будет стыдно, — уверяла она, плача.

Под Новый год Самойлов в течение недели стал и отцом, и начальником цеха.

Сын рос на удивление похожим на него, но отец был к ребенку равнодушен. Он весь ушел в работу, а опостылевшая жена — в материнство: Диму полюбила безмерно.

Когда плоть брала свое, муж ночью приходил к Алине. Она ни разу ему не отказала, говорила ласковые слова, но после соития наступало отвращение и к ней, и к самому

себе. Вяло вползала в сознание мысль о разводе. Представлял себе омерзительную процедуру этого события — и отодвигал его.

Шли дни, складываясь в недели и месяцы. Дмитрию, названному так в честь деда, исполнился год, и его отдали в заводской детский комбинат. Почти все время ребенка отвозила и забирала Рива Соломоновна: Алина уезжала в командировки.

Как-то мать заболела, и Самойлов сам относил сына в комбинат и домой. Весь путь брал не более получаса ходьбы.

Чтобы Дмитрий не плакал, отец рассказывал сказки, напевал песенки. Мальчик обнимал его, целовал и тихо говорил:

— Мой папа холосый, самый холосый! Я люблю папу.

Леониду Геннадиевичу казалось, будто его собственное детство говорит с ним. Он все сильнее привязывался к малышу, затревожился о нем. Он не сомневался в том, что суд оставит ребенка матери при разводе. И чужой человек, отчим, для которого Димка будет обузой, станет его ругать, а то и бить, загубит его способности, отравит всю жизнь...

Угрюмо проползло несколько лет. Самойлов сумел подняться до должности главного механика завода, авторитет его был велик. Тревожные изменения в жизни страны молодой инженер не принимал близко к сердцу, говорил обеспокоенным друзьям:

— Все утрясется. Наше дело — работать рентабельно.

Теперь Самойловы жили в просторной трехкомнатной кооперативной квартире со всеми возможными удобствами. В свободное время Леонид Геннадиевич учил Димку читать, рисовать, подарил ему свои игры-конструкторы и помогал играть. Круглый год ходили они в бассейн плавать, а зимой вместе катались на лыжах.

Он показывал сыну фокусы, ходил с ним в цирк и зоопарк.

Как бы продолжал эстафету, переданную ему покойным отцом.

И все сильнее любил Димку, и все откладывал развод...

Возможно, Самойлов давно бы уже развелся с женой и не переживал бы тяжело это событие, если бы в жизнь его вошла другая женщина. Он понимал это, но считал, что такой могла бы стать одна лишь Роза. Ни одна из сотрудниц, даже самая милая, как и прежде, не привлекала его. Если же какая-то из них пыталась проявлять к нему активный интерес, он начинал видеть в ней некую разновидность Алины, Лены.

Все же изредка супруги скучно совокуплялись...

Самойлов, едва не утонувший, уставший от воспоминаний, вошел в палату, рухнул на широченную кровать, на смешливо скрипнувшую, закрыл на минутку глаза — и мгновенно уснул.

Когда он проснулся и взглянул на часы, то страшно удивился: ужин второй смены уже закончился. Но есть почему-то ему не хотелось. Пытался вспомнить, что снилось, и не смог.

Решил было пойти на танцплощадку, откуда уже доносила музыка. Пошел. Потом вдруг свернул на широкую аллею, все более удаляясь от дома отдыха. Нашел в кармане мятный леденец, полученный в самолете. Посасывал с удовольствием.

Впереди чуть слышалось фортепьяно. Играли что-то печальное и нежное. Но в музыке постепенно нарастала тревога, она становилась все более грозной. Струны души откликнулись, вновь память вернула его к той жуткой ночи, когда он едва не совершил преступления, едва не оставил сына сиротой...

Однажды Леониду Геннадиевичу снилась Роза. Она летела в небе и пела что-то печальное, а он махал руками, но не мог взлететь. Наконец, это удалось: он поднимался медленно, тяжелыми взмахами рук, а потом все быстрее, без взмахов. Уже близко была Роза ... и тут он проснулся.

Звенел настойчиво телефон.

По договоренности с министерством обороны завод срочно командировал его на Дальний Восток. Он скучал по Димке, работал днем и ночью, управился вместо намечавшихся трех недель за девять дней — и вернулся попутным рейсом на армейском транспортном самолете. Прибыли около полуночи.

Самойлова подбросили к дому офицеры на ожидавшем их микроавтобусе, он даже позвонить домой не успел.

В квартире никого не оказалось. Он встревожился. Набрал номер телефона матери.

Ответил сонным голосом Димка:

— Папа, ты еще там? Приезжай! Бабушка дежурит, я остался один. Мама — дома: она придет за мной утром. Позвони ей!

Самойлов еще сильнее забеспокоился, заходил тяжело по квартире, то и дело останавливаясь.

Все было, как всегда. Никаких следов чего-то неожиданного или странного. Заглянул зачем-то в холодильник, хотя есть не хотел, закрыл его — и потерянно произнес вслух:

— Где она? Зачем солгала Димке, что она дома?

И вдруг его словно ударило током: хибарка! Он выскочил из дому, забыв запереть дверь. Спихватился, вернулся — и с усмешкой подумал, что это — дурная примета.

Но такси поймал сразу — и снова мрачно улыбнулся...

Назвал улицу, замер на заднем сиденье.

Ехали молча.

Чувствуя нарастающее жаркое волнение, перехватившее на миг дыхание, буквально ворвался через незапертую дверь.

Включил свет.

Кровать у окна была пуста, две другие — загружены.

На одной из них лежала, моргая и щурясь, незнакомая девица, рядом с ней храпел рыжий толстяк.

На другой — обнимались двое, укрывшись с головой одеялом. На спинке стула, стоявшего около, висел аккурат-

но китель с подполковничьими погонами, а на сиденье лежало сложенное вдвое платье Алины, купленное недавно в Англии.

— Это лейтенант дослужился до подполковника, — подумал Самойлов.

Но увидел по кителю и погонам, что ошибся.

— Кто бы ни был! — ворвалось нечто черное, как ночь, из темных глубин памяти в сердце, в руки, в голову. — Смерть обоим! Смерть! Все кончится сейчас!

То змейка ненависти, тайно возраставшая годами и ставшая громадной, покинула свой тайник, поражала душу ядом...

Самойлов подошел к столу, налил стакан водки — и выпил залпом. Откусил от соленого огурца, взял большой хлебный нож, судорожно сжав на ручке пальцы — и яростно сдернул одеяло с укрывшейся пары. Тело напряглось страшной, неодолимой, звериной темной силой, ищущей выхода в жестоких смертельных ударах.

То, что он увидел, заставило его застонать. Нож вывалился из руки. Тело заныло, обмякло. В сознании все поплыло — обескураженно, тяжело. Он не верил глазам своим.

Его бывший любимый командир, подполковник Гончар смотрел на него пьяными удалыми глазами, а рядом с ним в ужасе смежила веки Алина...

— Жанна, посмотри, — радостно заулыбался, толкнув локтем свою даму, Григорий Давидович, — посмотри на орла! Возмужал, возмужал! Здравствуй, Лева! Знакомься: это Жанна, мы познакомились в аэро...

Тут он заметил что-то неладное в бледном и осунувшемся лице Самойлова, в его болезненном взгляде, обратил внимание на выпавший из руки его столовый нож, повернулся к Алине, так и не открывшей глаза, — и вдруг понял все.

— Вот оно что ... Жанна, ты обманула ... ты не ... Трудно сказать, как развивались бы события, если бы не ушел, так

и не произнес ни слова, ошалевший от впечатлений кандидат в убийцы. Он долго брел по улицам, пиная камни, ударяя ногой по каменным стенам, жаждал с кем-нибудь встретиться, разругаться — и бить, бить, бить...

Но пусто было везде. Хмель выходил из головы. Тошнило.

Только утром добрался до вычислительного центра. Мать уже собиралась сдавать дежурство. Удивилась. А он сказал тихо и устало:

— Мама, я застал ее в постели с другим. Там, где когда-то нашел. Хотел убить. Но даже не ударил. Потому что ... Нет, это неважно. Развод. Только развод. И поскорее. И вот еще что: туда я не вернусь, прими меня пока. Хорошо?

Он вяло солгал проснувшемуся Димке, что должен завтра уехать снова и надолго, принял три таблетки снотворного — и не услышал, как увели сына. Последняя мысль была:

— Хорошо, что не убил: Димка не простил бы никогда...

На следующий день подал в суд заявление о расторжении брака. Писал, что встретил другую женщину, что она беременна от него, что он ее любит. Что хотя и признает свою вину, но просит оставить ему сына, которого он и его мать смогут воспитать лучше, чем его бывшая жена и возможный отчим.

Получив повестку, звонила Алина. Он бросал трубку. По просьбе сына Рива Соломоновна встретила с невесткой, они договорились о разводе и о том, как вести себя в суде.

— Я не могу смотреть на нее, — пожаловалась мать Леониду. — Бедный наш Димочка. Может быть, лучше сказать на суде правду? Тогда он точно остался бы с нами.

— Нет! Копание в грязи не решит ничего: будут вызывать свидетелей, будут пытаться помирить, а потом все равно отдадут сына ей. Как же: мать! Такое было с одним моим знакомым. Не хочу! Развод на любых условиях — и побыстрее!

За неделю до суда Алина привела Димку. Сын кинулся на шею отцу, крепко обнял, замер. Она молча глядела на них.

— Я понимаю, тебе противно, — сказала тихо и заплакала.

Он почувствовал, как жалость просыпается в нем от этих слез. Но одна лишь жалость. Не более.

Разговаривал только с сыном. Почитали басню в лицах, посмеялись. Вспомнили, как можно просто нарисовать кошку: малый круг, под ним — большой, ушки — два уголка, хвост — длинный крюк.

Потом отец нарисовал грустную рожицу, которая заulyбалась, когда перевернули лист. Димка хохотал, хлопал в ладоши. Алина, всхлипывая, выбежала из комнаты...

— Попробуем, может, сначала? Может, вернешься? — спросила, жалкая, уходя. — Я тебе обещаю...

Он не ответил.

— Папа, ты что, бросил нас? — спросил Димка, державший мать за руку, и засмеялся: он не верил в то, что это может быть серьезно и навсегда, он считал, что это — обычная ссора, которых он видел немало.

После вялой попытки примирить супругов суд оставил Алине и Димку, и две трети жилплощади. Присудили в соответствии с законом получение алиментов.

Самойловы разменяли квартиру:

Леонид Геннадиевич переехал в узкую тринадцатиметровую комнату старого дома, Алина с Димкой — в двухкомнатную квартиру.

Через некоторое время кто-то сказал Самойлову, что его бывшая жена уехала из города, удачно обменяв жилье. И вскоре он получил от нее письмо: «... ты виноват во всем. Ты никогда не был внимателен ко мне, не интересовался, чем я живу, что думаю. Тебе нужно было лишь мое тело, когда переполнялись кое-чем твоим»...

Однако кончалось неожиданным: «Я так по тебе скучаю. Люблю тебя, миленький, родной. Твоя Аля <...»

В конверте увидел фотографию сына, на обратной стороне было написано: «Папочка, приезжай, я соскучился. Твой сын Дима.»

Едва не завыл от тоски по сыну Леонид Геннадиевич, сжал яростные кулаки и проклинал ту, которая предала и вопреки его ненавидящему разуму помнилась желанным своим телом.

Он по-прежнему уходил с головой в работу, чтобы не задумываться ни о настоящем, ни о будущем.

Начал поиск нового пути предохранения металла от коррозии, который, как он надеялся, совершит революцию в технике. Первые опыты, правда, пока мало радовали.

Решил сдать кандидатские экзамены: занимался до одури английским языком, который почему-то не хотел ему поддаваться, удивленно штудировал философию, не на шутку увлекшись экзистенциализмом.

Подолгу плавал в бассейне по вторникам и пятницам. Это взбадривало — и физически, и духовно.

Время от времени являлись ему эротические сны...

Но надвигалось непредвиденное.

Главный инженер завода перешел на работу в министерство и рекомендовал Самойлова на свою бывшую должность. И хотя в приказе Леонид Геннадиевич значился лишь временно исполняющим обязанности, он поспешил поделиться радостью с Ривой Соломоновной.

Но не успел: она опередила его, показала вызов из Израиля на постоянное жительство. Конечно, на всех четверых.

— Когда ты успела все это? И не спросив меня?!

— Я бросила еще в феврале записку с нашими данными. Там, в посольстве, есть такой ящик. И вот...

— Ты хочешь, чтобы и Алина поехала вместе с нами?

— Иначе не поедет твой сын. Ты разве не понимаешь?

— Но почему? Зачем? Сейчас, когда я стал главным инж...

— Тебе мало того, что происходит в стране? Ты не читаешь газет? Так прочитай!

И она протянула ему «Пульс Тушина». Это было нечто типа заводской многотиражки по размеру. Он пожал плечами.

Но по мере того, как Самойлов знакомился с текстом, его лицо мрачнело все сильнее и сильнее, дыхание становилось неровным. Наконец, он отбросил газету и спросил у матери:

— Где ты берешь этот бред?

— Гликман приносит.

Гликман был скрипач, живший этажом выше. Среднего роста, полноватый и лысоватый человек. Ходил всегда сутуло, с опущенной головой. Лишь изредка поднимал он ее — и тогда видно было, что глаза его смотрят внимательно, почти проницательно, что застыли в них улыбка всепомятия и боль всеочувствия.

Сильные пальцы Гликмана умели извлекать из неживого инструмента музыку души человеческой. Или же, наоборот, передавать инструменту, пробужденному из равнодушной спячки, таинственную музыку души. Он был артистом симфонического оркестра, но так и не стал солистом, не прославился нигде, потому что страдал робостью и неуверенностью в себе.

Жена его, красавица Регина, была уже много лет влюблена в мужа. И для нее он, вдохновляемый своей неугасающей страстью, мог подолгу импровизировать на скрипке, и чутко шел за ним их чудаковатый сын, студент консерватории, волшебствуя на маленьком старом фортепьяно.

А Регина слушала, уйдя в себя, и на глазах ее были слезы того особого счастья, которое дано понимающим. Эта женщина страдала диабетом, с двенадцати лет сама делала себе уколы.

В последнее время состояние ее ухудшилось, и дважды ее спасала «Скорая помощь».

Из-за здоровья она, педагог, работала смотрителем в музее, и нередко посетитель останавливался, пораженный

ее красотой, безуспешно пытался с ней заговорить. И ухотил, считая ее одним из экспонатов зала. Самым непонятным.

— Леонид Геннадиевич, а я уезжаю в Израиль, — сказал Гликман не так давно.

— Да? — удивился Самойлов, но вскоре забыл новость.

Конечно же, он знал об антисемитизме не понаслышке еще со школьных лет. Не раз дрался из-за этого. Знал о чудесах пятой графы в отделах кадров. Знал даже об антисемитских откровениях работников партийного аппарата. Мог и сейчас резко осадить безответственного болтуна. Но он любил Россию и не мыслил себя вне ее. Он был, как и большинство советских граждан, потрясен развалом Союза, но надеялся на то, что лихолетье не вечно, что переход к демократии приведет к новому обществу. Что снова все будут вместе и дружба объединенных народов станет вечной и истинной.

Он хотел верить — и верил.

Никогда не появлялась у него мысль об эмиграции.

— Понравилась газета? — спросила Рива Соломоновна горестно. — Ее продают, между прочим, в столице России. В любой стране, даже в царской России, этот листок закрыли бы, я уверена. Разве это не гитлеровщина?

— Обычная свобода слова, — возразил сын. — Я думаю, что это несерьезно. У нас на заводе такого не услышишь.

— Зато листок этот и ваши многие читают, я уверена.

— Собака лает — ветер носит, — улыбнулся он.

— Нет, сынок, это — не собачий лай, это — голодный волчий вой. Ты читал о том, что в пятьдесят третьем только смерть вождя спасла нас, советских евреев, от уничтожения?

Самойлов стал покупать разные газеты, вчитываться. И узнал, что не только тушинский листок, но и некоторые солидные издания помещают статьи, брызжащие ядом какой-то патологической ненависти к еврейскому народу. Мрачнел все сильнее день ото дня. Сказал матери:

— Не понимаю, как серьезный деятель науки или искусства может обвинять во всех бедах России за все века ее истории не князей и царей, не бояр, не политические партии, а евреев! И живых, и давно умерших, и еще не родившихся! Даже тех, кто на половину и лишь на четверть еврей!

— Все это уже было, сынок: писали всякую гадость, даже обвиняли врачей-евреев в том, что они якобы заражают людей раком! Писали о всемирном еврейском заговоре. Мой отец, а твой дед, известный ученый, был осужден на двадцать пять лет лагерей за то, что держал в доме Тору¹ и книги по истории нашего народа. За два года он там стал совсем больным.

— Ты рассказывала. Но вряд ли даже в те проклятые дни писали, что надо судить российских евреев за распятие римлянами еврея Христа в древней Иудее. Ведь во времена Древнего Рима России еще не было! И российских евреев — тоже!

Следующим утром, торопясь на работу, он услышал разговор двух инженеров, которых догонял:

— ... какой он Андрей Сахаров? Он же Зяма Цукерман!

— Ельцын тоже не Борис, а Борух Эльцин!

— А ты читал вчера в «Советской России» про ...?

В этот момент Леонид Геннадиевич, обгоняя их, поздоровался и произнес ласково:

— Читайте «Пульс Тушина», там короче и понятнее пишут.

Он обнаруживал все новые антисемитские издания и узнавал об эмиграции все новых и новых известных деятелей науки и искусства еврейской национальности.

— Ты права, мама, — сказал горько, — ради сына надо, видно, уехать. Но я еще должен подумать над этим.

Завод трясло от экономических несуразностей, бездарно раскручивалась конверсия налаженного производства,

¹ Тора — священная книга в иудаизме.

росла видимая и невидимая безработица. Почему-то заместитель Самойлова был назначен главным инженером, а сам он — главным технологом, его подчиненным.

Обиделся, но выяснять причину, как сделал бы прежде, не стал.

Просто решил оставить завод.

В тот же день встретил уволенного два года назад за какие-то грехи заводчанина, ставшего на тропу бизнеса.

Рассказал бизнесмену о своей обиде. Тот обрадовался.

— Идешь ко мне? Главным инженером? По рукам? Жду!

Самойлов получил оклад в несколько раз превышавший прежний. Получил полную свободу действий, сразу же был отправлен на неделю в Германию и Англию для ознакомления с работой партнеров.

Через месяц после его возвращения из Лондона фирма лопнула, хозяин исчез, переведя миллионы и миллионы в иностранные банки. Начался шумный, скандальный процесс.

Все же за день до краха фирмы Самойлову вручили путевку, как бы в награду, а к ней — еще и билет на самолет в оба конца, все — бесплатно.

Перед отъездом в дом отдыха читал в письме Алины: «Дорогой Левушка! Я с ужасом думаю о судьбе сына: у вас с мамой хватило решимости сделать ему обрезание, и он в школе уже страдает из-за этого.

А что будет дальше? Мы должны уехать из этой страны ради ребенка. Мне все равно, куда: в США, Германию или Израиль. Хуже для него нигде не будет. Левушка, миленький, прости меня за всю ту боль, что причинила тебе. Я многое поняла, поверь мне...»

С мыслями об этом письме, о возможном выезде в Израиль и о том, что ждет там, он летел в самолете, ехал в автобусе, стоял в очереди к администратору дома отдыха.

И вот снова они будоражат. Нет, нет, он просто обязан отдохнуть!

Леонид Григорьевич вышел на широкую и длинную улицу, по обе стороны которой стояли небольшие двухэтажные дома поселка. В них жили работники соседнего огромного санатория, широко известного в стране.

Звуки волнующей музыки доносились из дальнего окна, настезь распахнутого.

Он почти дошел до того места — и вдруг музыка прекратилась. Через мгновение его окликнул женский голос, нежный и, казалось, чуть взволнованный.

Он знал, чей это голос.

Уверился в том, что не ошибся в выборе дороги: он, видно, еще раньше услышал этот зов сердцем своим.

И тут же вспомнил недавний послеобеденный сон: Тоня удалялась, ее белая одежда становилась черной, сама она — маленькой, тонкой...

— Тоня? — от волнения он едва не задохнулся. — Где вы?

— Я рядом, — засмеялась она, выходя из подъезда. — Захотелось немного подышать перед сном свежим воздухом.

— Почему без Сережи?

— Сегодня приезжал его отец, забрал сына, чтобы провести вместе уик-энд в городе. Это — не более сорока минут езды на «Жигулях». Там Сережу принимают, как своего.

— Там? Где это?

Она подтвердила его догадку:

— Я уже год в разводе с мужем. У него другая семья.

— Извините, я не хотел...

— Ничего. Вы уже надышались на сон грядущий? Если нет еще, то составьте, пожалуйста, мне компанию.

Он собрался было сказать, что сам хотел попросить ее об этом, но тут же передумал, ответил одним словом:

— Охотно.

Некоторое время они шли молча, подготавливаясь ко взлету чувств, вслушивались в себя и друг в друга.

Лес внезапно оборвался у самого берега озера, и высокий взлет не состоялся: нападение множества комаров заставило обоих со смехом и восклицаниями броситься обратно.

Безжалостные кровососы отстали не сразу.

Беглецы остановились, переводя дыхание, около поселка.

— Странно, почему они только у озера, почему в лесу нет комаров? — запоздало удивился Самойлов, отдышавшись.

— Директор дома отдыха приютил какую-то научную экспедицию, и она ... уничтожает их вокруг нас, — пояснила Тоня, с трудом возвращаясь к нормальному дыханию.

Леонид Геннадиевич всохотнул, весело мотая головой.

— Вы о нашем позорном бегстве? — она тоже рассмеялась.

— Да, — ответил он. — Что ж, они голодны.

— А вы? Мне кажется, тоже. Угадала? Хотите кофе?

— С удовольствием. Кофе — то, что нужно.

— Вот и хорошо.

Самойлов чувствовал: за этими будничными словами было что-то, о чем они не сказали бы друг другу сейчас. То могучее, что зародилось сегодня и росло, росло ... У него еще не было имени, потому что неизвестно было, во что оно вырастет...

Квартирка оказалась крошечной, почти половину ее занимало фортепьяно. На столе скучали разложенные в пасьянсе карты. Подумалось: о ком загадывала, о чем?

Тутолмина уже была рядом, застенчиво пояснила:

— Это подруга, хозяйка квартиры, научила меня гадать по картам. Она проводит отпуск за рубежом, а я, как всегда, — здесь. Гадание затягивает. Особенно в часы одиночества.

— Вы верите такой чепухе?

Она уважительно собрала колоду, вложила карты в шкатулку палехской работы. Посмотрела на гостя почти осуждающе:

— Верю. И не *четухе*, а гаданию. Надо только правильно понимать то, что говорят карты. Ну вот, вода уже закипает! Сейчас будет кофе!

Принесла напиток, душистый аромат которого обогнал ее, вызвав радостное предвкушение.

— Настоящий бразильский. И заварен по особому рецепту. Вот печенье. Может быть, вы любите с молоком?

— Нет, спасибо. Такой кофе только испортишь молоком.

Кофе, действительно, был отличный. Пили медленно, глоточками. Похваливали.

Хозяйка унесла чашки, вскоре вернулась и сказала серьезно, глядя прямо в глаза Леониду Геннадиевичу:

— Сейчас я вам погадаю.

— Не надо, я все равно не поверю.

— Вот и посмотрим, — заупрямилась она.

Вынула колоду из шкатулки, собрала карты, тщательно их перетасовала, подула на них, прошептала что-то, попросила его снять верх колоды и начала раскладывать. Самойлов улыбался: ему было хорошо здесь, он любовался милой женщиной, теплясь нежностью, дотоле знакомой лишь по отношению к сыну и к матери. И — к далекой уже, но все еще не забытой, Розе.

— Вы однажды сильно любили, но потеряли свое счастье из-за удара, случившегося с вашей дамой. А она ... вы знаете, она вас до сих пор любит ... Но она с другим королем.

Он удивился. И даже насторожился.

— Еще одна женщина была с вами. Она ... все, хватит!

— Нет, продолжайте, пожалуйста. Мне стало интересно.

— Она была не верна вам, у нее были другие короли. Сейчас она далеко от вас, но ей падает дорога к вам, а вам падает дальняя дорога — с этой дамой и еще с одной, пожилой, близкой вам. Дама эта любит вас всем сердцем. Это, наверно, ваша мать. И будет с вами мальчик в этой даль-

ней дороге. У вас тоже сын? Сколько ему? — Что? А, сын ... Да, он ровесник вашему...

Самойлов был поражен: женщина действительно умела читать судьбу по картам. Но еще более удивился он той особой серьезности, с которой уходила она в мир карт, ее озабоченности.

Она продолжала:

— Еще одна дама на вашем пути. Она ... тоже ... она ... у нее ... Нет, не может быть...

Дрогнувшим голосом вдруг почти крикнула:

— Нет! Не хочу, не хочу больше! Не хочу ничего знать заранее! Зачем я это затеяла?!

Смешала карты и закрыла лицо руками. Он растерялся, не знал, что делать. Только произнес:

— Тоня, успокойтесь, пожалуйста.

Она не отнимала рук от лица еще некоторое время. Чувствовалось, что она встревожена, что мысли ее тяжелы.

— Думаю, мне уже пора идти, — сказал он тихо и безрадостно, однако еще надеясь на то, что она задержит его.

Но она прошептала лишь:

— Да, наверно.

— Простите, — совсем расстроился он. — Я виноват: что-то сделал не так, видно. Правда, не знаю, что именно.

И тогда он услышал смех. Она встала и убежденно заявила:

— Вы и в самом деле чудо. Я рада тому, что узнала вас.

И сказал Самойлов то, что мучило его с того момента, когда впервые увидел ее. Сказал — и ждал, что она рассердится, обвинит его в чем-то нехорошем после тех слов:

— Как мне хочется поцеловать вас, если б вы знали!

— И мне, — радостным удивлением просияла она.

— Спокойной ночи, — смутился он и в душе выругал себя.

— Я провожу вас.

Она выключила свет в комнате и ждала в коридорчике. Он с трудом передвигал не желающие уходить ноги, на

секунду задержался в узеньком проходе — и нечаянно коснулся ее руки.

И вся его сдержанность оказалась бессильной остановить то, что неумолимо сближало их. Он нежно обнял Тоню и поцеловал, отыскав горящими губами ее уста.

И эти трепетные уста ответили ему, и руки ее так же нежно обняли его. И долгим, и ненасытно жадным был их поцелуй.

Он понял, что всю жизнь ждал этого поцелуя, такого нежного и в то же время жарко страстного, ждал этих губ — теплых, ласковых и трепетно подвижных.

Столь же долгожданной, многими веками желанной и знакомой, оказалась женщина в постели. Они угадывали затаенное и радостно, ненасытно, но чутко и тактично шли навстречу друг другу. Весь мир исчез, остались только они и их близость.

Наконец, когда оба устали, когда только нежность и благодарность пели гимн любви в гулко стучащих сердцах, он решился взглянуть на часы. Было около трех. Рассвет где-то притаился, уверенный в скорой победе над ночью.

Явиться в дом отдыха в такую пору было немыслимо. Вспомнил: «ограниченный мужчина». Подумал: да, конечно, ограниченный, потому что теперь он ограничен ею — Тоней, той, что затихла рядом волшебной загадкой, сказкой, чудом.

— О чем ты думаешь? — спросил он.

Ответа не было: уснула прекрасная, неожиданная, судьбой подаренная. «Как это не похоже на то, что происходило между мной и Алиной, — поражался он. — Там было бездушное торжество плоти, а здесь — торжество таинственного, соединение моей и ее души, *одушевление* темных призывов естества ...»

Сон подкараулил его среди мыслей. Разбудила песня:

*И, может, мне не надо было
К нему навстречу столько лет спешить.*

*Я б никогда не любила,
Но как на свете без любви прожить?*

Солнце уже светило в окна, Тоня хлопотала у плиты, напевая, и сразу же почувствовала, что он проснулся. Сказала:

— Ты так сладко спал, что проспал время завтрака. Но я надеюсь накормить тебя не хуже, чем в столовой. Встанешь — или подать в постель? Скажи правду, чего тебе хочется больше: бодро вскочить, сделать зарядку, умыться ледяной водой — или почувствовать себя королем, завтракая в постели?

— Я хотел бы умереть, — ответил он, ибо именно так и было в тот миг, — потому что я достиг вершины возможного счастья. Но я не имею на это права: есть у меня сын, которого я обязан вырастить, есть мама, которая не вынесла бы моего ухода, — и теперь есть ты, которая спасла мне жизнь и открыла смысл жизни. Я люблю тебя.

Раздался звон разбитой посуды: Тоня выронила тарелку.

— На счастье, — дрожащим голосом произнесла она, засмеялась — и вдруг разрыдалась.

Он на какое-то мгновение растерялся, потом бросился к ней, обнял нежно, гладил по голове, заглядывал в мокрые от слез глаза, целовал их и тревожно спрашивал:

— Ну что? Ну что с тобой? Скажи скорее, у меня сердце разрывается!

— Такой был вкусный завтрак, — сквозь рыдания отвечала она, — такой был вкусный завтрак. Ты был бы так доволен...

Его охватило благодарное волнение, ибо он понял то, что пряталось за этими слезами: рядом с ним — удивительная женщина, умеющая любить великой заботой без громких слов.

— Я сделаю все, все, для нашего счастья, — шептал он.

— Боже мой, — спохватилась она, — у тебя кровь бежит из стопы. Это от какого-то осколка тарелки.

Вскочила, нашла йод и бинт. Только теперь Самойлов почувствовал боль в стопе, из которой сочилась кровь. Тоня промыла рану, смазала йодом порез и перевязала.

— До свадьбы заживет, — бросил он неосторожно и осекся.

Но она не обратила внимания. Схватила его за руки, и вдруг быстрым шепотом начала исповедь:

— Ты все должен знать обо мне. Да. Если бы сказали, что когда-нибудь встречу тебя ... Мой отец во время войны попал в плен, после немецкого концлагеря — был в нашем, потом — остался жить на Дальнем Востоке. Женился — и появилась я.

— Зачем ты об этом?

— Он все собирался проведать родной Ленинград, где преподавал в одном из вузов до войны. В поселке он был рядовым рыбаком. Вот так ... Отец много успел дать мне. Еще до школы я читала и разговаривала с ним по-русски, по-английски и по-немецки.

Знала таблицу умножения.

— Тоня...

— Нет, ты должен выслушать. Отец погиб, когда мне почти исполнилось семь лет. Двое мальчишек уговорили меня забраться на льдину, приткнувшуюся к берегу в весенний ледоход. Мы трое плясали на ней, хохотали. И вдруг она оторвалась, и нас стало уносить. Поднялась суматоха.

Я увидела бегущего по берегу отца. Он пошел по льдинам с багром в руках, он добрался до нас и начал продвигать нас к берегу. Это ему удалось. Он буквально выбросил на землю меня и одного из мальчиков. И в это время часть льдины откололась, второго мальчика снова стало уносить. Я видела, как мой отец приближается к нему. Он был уже рядом, но поскользнулся и упал в воду ... Это ужасно...

— Он утонул?

— Нет, он сумел добраться до мальчишки, спас и его, но при этом так простудился, что врачи не смогли ничем помочь ему. Всю жизнь я несусь в душе чувство вины...

— Но ведь ты не виновата, ты была тогда ребенком глупым.

— Как мне его не хватало всю жизнь! Мама любила меня, но она была не очень грамотная дочь рыбака-артельщика. Если бы не учительница в школе...

— Тоня, мы еще успеем все рассказать друг другу!

— В нашем маленьком поселке не было школы, ребята учились в соседнем большом селе, в школе-интернате. Первый класс «А», куда попала я, вела Диана Дмитриевна. Она приехала в нашу глушь из Москвы после окончания университета, могла бы преподавать литературу старшеклассникам, но попросила дать ей первый класс, чтобы провести его до самого выпуска.

Она читала нам на уроках стихи русских поэтов, она учила понимать красоту слова. Как она декламировала! Я и сейчас это слышу ... А в третьем классе был «Король Лир». Позже я прочла пьесу и поняла, что Диана давала нам лишь отрывки. Но какие! И как! Она приносила свой магнитофон, и мы все слушали Чайковского, Бетховена, Моцарта. И смогли полюбить серьезную музыку, потому что получали удивительные объяснения. Весь наш класс обожал Диану Дмитриевну.

Она почти сразу приметилась мне, взяла жить к себе. По выходным приезжала мама, привозила нам свежую рыбу, овощи.

Учительница иногда вспоминала о своем детстве. Я узнала, что и мать ее преподавала литературу. Что она играла на фортепьяно и научила Диану. Когда я рассказала о своем отце, то услышала, что ее отец расстрелян в сорок шестом году, ей еще не было и года. И мы стали словно сестры.

Я помогала ей и проверять тетради, и убирать в убогой комнатке. Мы вместе готовили обед. Ты знаешь, она даже

советовалась со мной, как лучше провести урок. Не улыбайся, в самом деле советовалась. Потом она нашла где-то старенькое пианино, хозяева дали его ей в аренду, и Диана Дмитриевна начала учить меня играть на нем. А как сама она играла!

Тоня вдруг сжала кулаки, подняла над головой гневные руки, застонала, как от физической боли.

— Мерзавец, которого так и не нашли, какой-то дегенерат, изнасиловал, замучил и убил ее. Это было так страшно! Так непонятно! Она ведь была девушка, в ее жизни еще не было любви! Ты представляешь мой ужас, мое состояние?!

Я больше не хотела учиться, не хотела никого видеть, я не смогла жить в общежитии интерната. Убежала к маме.

Врач, к которому она меня водила, настоятельно советовал сменить обстановку, и мы уехали в Омск. Там жил мамин дядя, инженер-строитель. Ему уже было за семьдесят, но он еще подрабатывал. Жена его ходила согнутая вперед под прямым углом, но при этом вела домашнее хозяйство.

У них был во дворе огород, в сарайчике жили куры. В погребе стояли банки со всякими соленьями, вареньями, бочка с квашеной капустой.

Нас они приняли очень хорошо, но уже через неделю дядину жену парализовало, и мама за ней день и ночь ухаживала, вела вместо нее хозяйство, а я ей помогала.

В школу я так и не пошла, не хотелось. И меня еще не заставляли учиться.

Вскоре дядина жена умерла, и он устроил маму в бригаду штукатуров, а меня заставили пойти в школу, в четвертый класс, где учительствовала какая-то отвратительная молодая баба, глупая и неграмотная. Такое убожество — и учитель!

Мы с ней возненавидели друг друга: я поправляла ее неграмотную речь, она орала на меня, придиралась, стави-

ла в угол ... Тогда я начала сбегать с уроков, бродить по городу. Маму вызывали на педсовет, к директору...

— Так попадают в плохую компанию, — произнес Самойлов, словно хотел предостеречь ту, былую, девочку Тоню.

— Бедная мама! Она била меня за прогулы, за не сделанные уроки, защищала учительницу — и я не вынесла этого: после очередных побоев убежала на пристань, проскользнула на теплоход. Он отчалил. Я стала свободна и почти счастлива.

Это случилось вечером, в начале мая, было уже довольно прохладно — и я ушла с палубы вниз, в третий класс. Там меня вскоре приметили и стали спрашивать, кто я и где мои родители. Я не была приучена лгать, а те, что мною заинтересовались, оказались истинно верующими людьми, баптистами¹.

Они накормили меня, уложили спать. А когда сошли на маленькой северной пристани, взяли с собой. Сразу же позвонили маме, успокоили ее. Почти месяц я прожила с ними. Больше всех со мной общался Иван Павлович, мудрый и добрый старик.

Он так меня просветил, так близко привел к истине! Я вернулась спокойной и сильной. Мама была рада, подружилась с моими спасителями. Мы все чаще заходили в молельный дом...

— Так ты ... бапти ... истинно верующая? А институт? Он был растерян. Тутолмина улыбнулась. Но тут же улыбка покинула ее уста.

— Да, я стала навсегда истинно верующей. И никогда, никогда, ни разу об этом не пожалела. Хотя...

— А как же школа?

— Я в тот класс не вернулась. В новом — старалась не выделяться. После уроков сразу же убегала домой. Зато я познавала священное Писание, я всегда могла найти уте-

¹ Баптизм — разновидность протестантской религии.

шение в молитве, в общении с братьями и сестрами, мне было так хорошо в молельном доме.

— Ты же духовно себя обкрадывала!

— Учителя тоже такое говорили. Неправда, духовности не было как раз в школе. И ты это знаешь не хуже меня. А там, между прочим, было отличное фортепьяно, на нем играла пожилая, очень добрая женщина. Она заметила, что я сижу и смотрю на ее пальцы. Спросила, не хочу ли и я помузицировать.

Усадила на свое место, и я ей сыграла по памяти несколько пьес из «Детского альбома» Чайковского. Конечно, сбивалась, поправляла сама себя. Ни одной не вспомнила до конца.

Она терпеливо ждала, успокаивала меня. Потом поставила ноты, и я пробовала играть с листа. Не получалось. Но она поверила в меня. Спросила, кто меня учил. И я рассказала о своей удивительной учительнице. И мы обе плакали.

Фрида Адольфовна стала заниматься со мной. Я же часами могла сидеть за инструментом. Через год примерно я уже подменяла ее иногда.

— Судя по имени и отчеству, она была немка?

— Да. Но это ли важно? Она сестра моя, истинно верующая. Неужели ты не понимаешь этого? Ты — убежденный атеист?

— Нет, я скорее экзистенциалист. Вообще я в этом вопросе так мало знаю ... Тоня, я — заблудившийся недоучка.

— *Много знать не значит знать истину.* Впрочем, ты достаточно молод, чтобы понять ее — и принять. Но я продолжу. В девятом классе к нам пришел новый преподаватель литературы. Яков Исаакович был обыкновенный на вид: среднего роста, плотный, черноволосый и черноглазый, довольно некрасивый.

Тоня взглянула на собеседника. Нахмурилась. Улыбнулась.

— Но когда он вел урок, то преображался! Этого не расскажешь словами, это был каждый раз праздник! Он учил

видеть окружающий мир другими глазами: чувствовать и понимать, как он прекрасен. Когда он говорил о красоте Добра и Истины, это было так понятно — и так близко нашему учению!

Она умолкла, он встревоженно ждал продолжения.

— Я полюбила его и думала лишь об одном: быть хоть немного рядом с ним. И тут Райзмана назначили нашим классным руководителем. Он разговаривал с классом, а потом — с каждым из нас отдельно. И когда спрашивал о моей вере, то сам казался человеком, далеким от примитивного материализма.

Однажды он попросил меня принять участие в концерте, посвященном международному женскому дню. Я согласилась, хотя не была уверена в том, что это одобрили бы наши. Играла «Лунную сонату» Бетховена и две пьесы из «Времен года» Петра Ильича Чайковского.

Мне аплодировали долго — и этот яд, яд аплодисментов, подействовал, как наркотик: хотелось еще. Я стала участницей районного конкурса между школами, потом — городского. Меня уговорили аккомпанировать школьному хору ... Мои братья и сестры не возражали, и я была рада, потому что избавилась от страшного напряжения в душе, понимаешь?

— Ты все еще веришь в В-сшую силу?

— Не верят только те, что не хотят понять разницу между Добром и Злом. Или те, которые кивают на недостойных служителей веры, не думая о том, что *Б-г есть Любовь*. Те, которые не знали счастья единения души с Ним, пусть даже кратко. А я знаю. И вера моя не зависит от случайностей существования. И она еще более укрепилась после суда.

— Тебя судили?

— Не меня, а всех нас. Это было ужасно. Ивана Павловича приговорили к исправительно-трудовым работам. *Самых активных*, как они сказали, *вербовщиков*, — тоже. Меня в школе начали назойливо перевоспитывать, тащили в комсомол...

— Райзман тоже?

Она отрицательно покачала головой, улыбнулась:

— Он говорил, что придут новые времена, когда люди научатся понимать друг друга. Что сознание человека развивается не прямо, а очень сложными путями. Что *в замысле* разуму нет предела, что он *по замыслу* прекрасен.

Слушая его, я еще тверже убедилась в том, что его странный материализм близок моей вере ... Именно он чуть ли не силой повел меня проэкзаменоваться в детскую музыкальную школу.

Я там играла перед комиссией, понравилась. Пожилая преподавательница взяла меня. Даже рискнула: в выпускной класс. Но мне еще надо было догнать по музграмоте, музлитературе, сольфеджио и хору. Надо было платить за обучение. Нам с мамой помогли братья и сестры, добрая учительница музыки, и он, Райзман...

— Тоня, я не понимаю, к чему ты ведешь? Прости...

— Хочу, чтобы ты лучше понял то, к чему я должна сейчас подойти. Признаться в своем чувстве я решила только на выпускном вечере. Пригласила его на белый танец — и сказала, глядя ему в глаза, эти трафаретные слова:

— Я люблю вас.

Он вздрогнул, улыбнулся и как-то невесело отверг меня:

— Милая девочка, я тоже тебя люблю, но у меня есть жена, дети, и всех их я люблю, и они меня любят. И верят мне. Я останусь твоим другом, верь. А ты еще познаешь и любовь, и страсть. И будешь счастлива. Ты ведь не хочешь, чтобы я стал предателем семьи? Предательство — самый тяжкий грех.

Я убежала и долго плакала в темном классе на третьем этаже. Райзман нашел меня — и сказал, что его жизнь без меня тоже не будет полноценной и что вообще жизнь проста и понятна только для дураков и подлецов. И что мне надо идти к одноклассникам, что всем нам надо пронести

школьную дружбу сквозь годы. В общем, то, что положено говорить...

— Ты и сейчас еще его любишь? — спросил Самойлов тихо.

— Я поступила на ин-яз и одновременно почти два года училась на вечернем отделении музыкального училища. Давала частные уроки. Времени не было, уставала беспредельно, молилась от случая к случаю. А тут умер дядя, его домик сыновья продали, и нам с мамой пришлось совсем туго, пока ей стройтрест не дал квартиру. Вот когда мы познали блага настоящего жилья!

— Ты мне не ответила, — вновь прервал ее Самойлов.

— Они уехали из города тем летом. Я больше его не видела, — отвечала Тоня отстраненно, — и не искала, но любила саму память о нем. Да, я люблю его и сейчас, но я люблю и того, кто напомнил мне о нем ... Тебя. Это странно?

— Не знаю, что со мной: я будто украл тебя — и не отдаю.

— Когда я впервые увидела тебя в лесу, то едва не вскрикнула: ты так похож на него ... Даже голос ... Сначала я хотела только одного: чтобы ты ушел поскорее. Может быть, было бы лучше для нас обоих...

— Не говори так! Не знал бы я никогда, что такое настоящее счастье, если бы не встретил тебя! Я стал другим человеком!

— Яков Исаакович давал ученикам списки: что необходимо прочитать, чтобы быть действительно культурным. В каждом списке было десять названий. Одним из них была «Иудейская война» Лиона Фейхтвангера. Роман мне понравился. Я стала отыскивать и читать книги этого писателя. Иногда он казался скучноватым. И вдруг меня ошеломил «Еврей Зюсс».

— Почему?

— Я ... перенесла себя и Райзмана в это место и время, пережила все ... Моя вера поддержала сочувствие твоему народу. Уже в институте я читала Шолом-Алейхема, Эрен-

бурга, Бабеля, многое поняла. Я спорила с теми, кто непонятную свою злобу обращали на твой народ вместо того, чтобы самих себя от нее избавить, приблизиться к заветам Вс-вышнего...

— Твой муж — тоже еврей?

— Мой бывший муж — врач. После отъезда Райзмана я и не думала о замужестве: Яков Исаакович, Яшенька мне снился ... Мама заболела гриппом, но ходила на работу. Она умерла от осложнения ... Смерть мамы была последней перегрузкой: я дошла до нервного срыва ... Петр лечил меня. Сделал предложение. Я отказала ему. Но он был очень настойчив, тактичен ... В общем, нормальной женщине так или иначе надо создавать семью ... Я сдалась.

И только через год узнала то, что муж скрыл от меня: у него есть другая жена и двое детей. Они жили без регистрации, ссорились — и ... А у нас уже был Сереженька...

И что еще хуже: муж то и дело навещал ту семью, даже ночевал ... Мне говорил, что у него ночное дежурство ... Дальше все неинтересно.

— Вы с ним не собирались снова сойтись?

— Зачем? Я не из тех, кто прощает предательство. Он знает об этом, потому и вернулся в ту семью.

Жена — славная женщина, мы с ней в хороших отношениях.

Правда, в последнее время Петр начал поговаривать, что понял свою ошибку...

— Он еврей? Почему ты не ответила?

— Какое это имеет значение? Нет, он не еврей, у него даже трудно определить национальность: столько смешалось кровей.

Но числится он почему-то русским.

Он неплохой человек, хотя и не очень-то годен для семейной жизни. Сына, Сереженьку, любит. И не надо больше о нем, прошу тебя.

— Тоня, это глупо, но я хочу спросить, был ли у тебя ... — Был ли кто-то, кроме него? Знаешь, ты *мой первый*...

Она залилась краской, и от этого рассердилась, он же вдруг понял, *что именно* она сказала, — и задохнулся от радости. Почувствовал, что наполнился особой гордостью, новой уверенностью и решительностью.

Вспомнил Джона, его определение силы настоящего самца. Нет, та сила — иная.

Вдруг стыдно стало за сомнения. Стыдно перед их светлой любовью, вспыхнувшей костром в ночи.

Он опустил перед любимой на колени, он пытался объяснить:

— Прости меня, моя девочка, я просто боюсь потерять тебя, я с трудом верю в это неожиданное счастье. Как сон...

— Да, как сон. Если бы он никогда не кончился...

Она опустилась рядом, и они замерли в нежном объятии, словно в общей молитве.

— Ты не раздумал завтракать? — с улыбкой спросила Тоня.

Самойлов тоже улыбнулся: почувствовал, как голоден.

За завтраком они то и дело рассказывали друг другу о себе, вспоминая смешные случаи — и разговор тек легко.

Ей вдруг захотелось потанцевать.

Он, хотя и не преуспевал в этом никогда, все же согласился. Им хватало места в крошечной комнатухе, у них все получалось.

Он поразился.

Вспомнили вчерашних комаров, посмеялись.

— Когда вернется Сережа? — спросил он. — Сегодня?

— Да, к вечеру. Часов в шесть-семь. У нас еще много времени, — ответила она, но тут же осунулась, поскуцнела.

Он предложил погулять по лесу, но едва они сделали несколько шагов, как, с визгом затормозив, подъехали «Жигули». За рулем сидел мужчина, на заднем сиденье — Сережа.

Они вышли, Тоня побледнела и произнесла серым голосом:

— Разрешите познакомить вас: мой бывший муж, Петр Седельников — мой друг, Леонид Самойлов.

Мужчина, высокий и широкоплечий, улыбнулся удивленно:

— Самойлов? Здравствуй, вратарь.

— Привет, капитан, — ответил Самойлов. — Мир тесен.

— Папа, папа, это же дядя Леня! Тот самый клоун! Я тебе рассказывал про него!

Сережа был так рад встрече, что не заметил изумления отца, который тут же нахмурился. Открыл дверцу автомобиля, взял сигареты, спички, что-то вложил в карман. Закурил, произнес угрожающе:

— Так это, оказывается, ты? Пройдемся, поговорим?

— Поговорим, — ответил Самойлов, готовый ко всему.

— Только недолго, — с трудом скрывая тревогу, попросила Тоня. — Сережа, а ты останешься со мной, я уже соскучилась.

Мужчины молча шли некоторое время по дороге к озеру, и вдруг оба остановились, как по команде. Прозвучало гневное:

— Решил завести с моей женой курортный роман? Хорошо кормят в доме отдыха? Некуда девать лишний вес? Так?

Леонид Геннадиевич вдруг вспомнил, как хотелось ему избить лейтенанта и его начальника, какая звериная ненависть владела его взревновавшей душой в день той поганой свадьбы.

Вспомнил, как едва не зарезал Гончара. Конечно, сейчас то же самое может происходить и с Седельниковым ... — Не так, — ответил, стараясь сохранять

хладнокровие, — просто ко мне пришла любовь. Надеюсь, взаимная.

— И к Сергею тоже? Дядя клоун любит и маму, и сына?

— Сережа — хороший мальчик.

— Жениться хочешь? Ты что, холостяк?

— Я уже год в разводе. Женился бы. Если Тоня не против.

— Так вот с разгона?... Я против. Потому что я ее люблю.

Самойлов понял, что взывать к логике отставного мужа бесполезно, но счел своим долгом все же попытаться:

— У тебя другая семья, другие дети.

— Уже узнал? Пока мы живы, все можно исправить.

— Спроси, захочет ли она!

— Убирайся с нашего пути, и я забуду, что видел тебя!

— Почему бы нам не спросить ее вместе? Это будет честно.

— Если сейчас же не уберешься — убью.

Леонид Геннадиевич зло усмехнулся:

— И это говорит врач, культурный человек?

— Заткнись! Отсюда ты пойдешь в свой дом отдыха — и больше не появишься! Предупреждаю: если хочешь жить.

Ярость от этой угрозы охватила Самойлова, он едва не ударил соперника. Но вдруг заметил, что спешат к ним Тоня и Сережа, которые не видны Седельникову, стоящему спиной к поселку. Произнес искренне:

— Давай поговорим втроем. Тоня свободна, ее решению я подчинюсь ... Мы с ней были вместе — и оба были счастливы...

Лицо Петра искажилось, он выдернул руку из кармана — стремительный удар последовал. Самойлов хоть и поздно отклонился, но ослабил его, иначе уже не был бы жив: голова загудела, потемнело в глазах...

Раздался горестный женский вопль. Седельников невольно оглянулся. Увидел бегущую Тоню, разгадал причину ее крика — и ненависть к другому мужчине вновь переполнила его. Он размахнулся, но второй удар опоздал: опомнившийся противник привычным движением ушел влево, развернулся, ударил ребрами ладоней по руке врага, схватил ее — и увидел кастет на пальцах.

Разъярился Самойлов, резко вывернул руку, ударил ногой в пах.

Седелников закричал дико, переломился вперед. Рука его повисла, и он со стоном рухнул, казалось, потеряв сознание.

А кровь из рассеченной головы Самойлова уже лилась и лилась, боль становилась все сильнее.

Тошнило.

Теперь уже двое кричали: женщина и ребенок. Вот они приблизились вплотную. Женщина бросилась к стоящему, качаясь, Самойлову, мальчик — к лежащему на земле, словно он умер, отцу.

— Что случилось, из-за чего он? — спросила, плача, Тоня.

— Он не хотел ... чтобы мы с тобой ... я объяснял ... он ... неожиданно ... ты видела ... кастет ... и тогда я...

— Проклятый клоун! Ты убил моего папу! — закричал Сережа. — Я тебя ненавижу! Тебя судить будут! А потом я вырасту и убью тебя! Убью!

Застонал отец — и мальчик заволновался по-иному:

— Папа, папочка, ты жив? Он жив! Мама, помоги же ему!

Леонид Геннадиевич и Тутолмина тяжело переглянулись.

Она подняла бывшего мужа, дотащила, усадила в машину. Молча довела «Жигули» до медицинского пункта. Седелников стонал, угрожал Самойлову новой жестокой расправой, но длилось это лишь те две-три минуты, пока они ехали.

Сережа, сидевший сзади вместе с отцом, тоже проклинал «клоуна».

— На нас напали пьяные хулиганы, — ответил Седелников на вопрос фельдшера и начал сочинять подробности.

Остальные молчали: Тоня — изумленно, Сережа — одобрительно, Самойлов — равнодушно: тошнота и головокружение усиливались.

Старик-фельдшер, оказав первую помощь пациентам, внес запись в журнал и тут же сообщил о случившемся в милицию.

Самойлова оставил лежать на кушетке: заподозрил сотрясение мозга. На второй кушетке стонал Седелников. Ему фельдшер пообещал, что все будет в порядке через пару недель или даже раньше. Созвонился с районной больницей, и через час оба пострадавших были туда доставлены.

На следующий день, в понедельник, Самойлова навестила Тоня. Она сказала, что с трудом добилась свидания.

— Главное, не волнуйся: быстрее поправишься. Мне не разрешили задерживаться долго. Но буду приходить каждый день.

— Тоня ... Что же теперь будет ... с нашей любовью? — он говорил медленно, трудно.

— Я никогда не вернусь к нему, никогда! — прошептала она. — Даю тебе слово.

— А твой ... сын?

— Он еще мал, многого не понимает, ненавидит тебя из-за отца, но это со временем пройдет, наверно.

— Я хочу быть ... всегда ... вместе с тобой! У меня ... мало времени, я не все тебе сказал...

— Я знаю, я снова спросила карты ночью. Ты уедешь скоро — и далеко. Я догадываюсь — куда.

— Я хочу ... чтобы и ты тоже ... Мы должны быть вместе...

Она посмотрела на него с плохо скрываемой болью, казалось, ее что-то беспокоит, но только выговорила:

— Поправляйся поскорее. Мне страшно...

— Почему?

Вошла мрачная худая сестра, потребовала:

— Оставьте больного, вы и так нарушили режим.

— Лена, не волнуйся, все в порядке, я приду завтра, — быстро, но не очень внятно, произнесла Тоня в дверях и, вдруг сторбившись, вышла из палаты.

Через некоторое время после ее ухода он почувствовал какой-то непонятный страх, который все нарастал, а около половины шестого вдруг сильная боль пронзила его

сердце, он явственно увидел лицо Тони — и услышал: она звала его...

Это длилось несколько мгновений, затем медленно ушло.

После ужина дежурный врач вошел к нему вместе с пожилым милиционером, одетым в белый халат поверх мундира.

— Ну, Самойлов, дело пойдет на поправку, через неделю мы вас выпишем — и вернетесь в дом отдыха. А пока в вашей палате будет дежурить милиционер. Чтобы никто вас не трогал.

Он ушел, а милиционер сел на стул и начал читать газету.

Тоня не пришла ни завтра, ни в следующие дни. По ночам он внезапно просыпался: ему казалось, что она в палате.

Попросил сестру как-нибудь с ней связаться. Та посмотрела на него дико — и вышла молча из палаты. Врач же пообещал помочь, но все время *забывал*.

Наконец, больному разрешили выйти в парк погулять. Очередной дежурный милиционер пошел вместе с ним и был явно напряжен.

Расстегнул кобуру.

— Могу я погулять один? — спросил Леонид Геннадиевич.

Милиционер равнодушно ответил:

— Нет, нельзя. Мое дело — маленькое: выполняю приказ.

— Лев Гедалиевич, — окликнул Самойлова мужской голос.

Человек в сером костюме жестом отослал милиционера.

— Давайте посидим на скамеечке и поговорим, а?

Самойлов пожал плечами. Они нашли в конце больничного парка свободную скамью, присели.

— Вы уже, возможно, догадались, что я следователь. Моя фамилия — Шатохин. Владимир Александрович Шатохин.

— Вы о той драке? — догадался Леонид Геннадиевич. — На нас напали пьяные хулиганы.

И он добросовестно повторил вымысел Седельникова.

— Все — ложь, Лев Гедалиевич.

— В миру меня зовут Леонид Геннадиевич.

— Бывает. Не возражаю. Теперь послушайте. Не успел приехать Седельников, как вы с ним удаляетесь в лес, где на вас якобы нападают и избивают люди, которых никто, кроме вас двоих, не видел ни до того, ни после. Вам нанесен удар кастетом, на котором — отпечатки пальцев Седельникова и ваша кровь. Ergo: было столкновение между вами, но вы предпочли его скрыть. Почему?

— А что вам сказал Седельников?

— Давайте договоримся сразу: вопросы задаю я.

— Понятно. Это вопрос. Я думал, вы хотите поговорить.

— Самойлов, в этом деле почти все было ясно для вынесения судебного решения. Но произошло убийство, не стало главного свидетеля, и возникло новое дело, куда страшнее: в понедельник, между пятью и шестью часами вечера...

— Тоня?! — Самойлов вспомнил ту страшную боль в сердце и возникшее перед ним лицо любимой женщины.

Такая же боль пришла сейчас, ему не хватало воздуха.

— Как вы догадались, Самойлов? Или вам что-то известно?

— Она была у меня в прошлый понедельник днем. Ее мучил страх. Она мне что-то хотела об этом сказать, но сестра прогнала ее. Потом она ушла домой, но обещала навестить меня на следующий день. И — не пришла больше.

— Она собиралась, возможно, домой, так как оставила сына в поселке, у соседей. Но ее бывший муж подждал ее в коридоре и сказал, что у него есть очень важный разговор, это слышала медсестра. Потом Седельникова и Тутолмину видели в парке. Они присели здесь.

— Он уже мог ходить? Он опасен, он неменяемый! Бывают разве врачи с кастетом?! Значит, они поссорились, и он...

— Вы так думаете? А он утверждает, что весьма дружелюбно беседовал с женой. Действительно, вначале она не хотела вернуться к нему. Этого Седельников не отрицает. Но он горячо просил ее подумать о дальнейшей судьбе их сына. Говорил, что его счастье одинаково дорого для них обоих.

Он объяснил ей, что в его возрасте для мальчика это важно, что вас Сережа ненавидит и потому вы и она никогда не будете счастливы. Что все будет теперь, когда он вернется к ней, по-новому. Она заколебалась. Он при этом заметил, что ее что-то тяготит, но не понял, что именно. Спросил, но она не ответила, и он заключил, что это из-за вас. Она обещала подумать над его словами, и он чувствовал, что она склоняется...

— Ложь! Может быть, у них и была беседа, но не такая...

— ... склоняется к примирению и возвращению. Он попрощался, так как его позвала разыскивавшая его сестра. Тутолмина оставалась на скамейке. Сестра это подтверждает.

На повороте аллеи Седельников оглянулся и заметил, что Тутолмина раскрыла сумочку и вынула зеркальце. Помахал ей рукой, она ответила. Сестра подтверждает и это.

— Значит, Тоня жива? Скажите, она жива?

— К сожалению, нет. За скамейкой обнаружены следы прятанного человека. Весьма вероятно, что это и был преступник. Все, что удалось собрать на месте преступления, отправлено на экспертизу, и мы ждем результатов. Надеюсь, они помогут найти убийцу.

— Нет, не может быть!

Самойлова лихорадило, голова страшно заболела. Он закрыл глаза. Следователь же произнес мягко, но обезнадеживающе:

— Возьмите себя в руки. К несчастью, ничего уже не вернуть. А мне нужна истина, я должен найти убийцу, он должен понести наказание.

— Убийца ... Значит, в самом деле конец всему...

— Седельников утверждает, что после разговора с бывшей женой он сразу же вернулся в палату. Спокойно уснул. И спал до утра так же спокойно. Это подтверждает сосед по палате.

Узнав от меня о гибели Тутолминой, он едва не потерял сознание, переживал тяжело. Он врач, невропатолог, психиатр. Мог симулировать.

— Не думаю. Она сидела на этой скамье. Убийца вышел из-за кустов, какое-то время сидел рядом с ней. По ряду признаков мы можем предположить, что это был знакомый Тутолминой человек.

Они беседовали, но неожиданно он набросил на ее шею кусок антенного провода и задушил свою жертву. Почему?

Самойлов представил эту жуткую картину и одеревенел. Он как бы и сам умер. И все перестало иметь ценность. И цели, и планы, и надежды.

Даже сам воздух, которым он дышит.

Ничто уже не имело значения: ни подозрения следователя, ни боль в голове, ни тошнота. Ничто в мире.

— Почему? — дошел до него, наконец, голос. — В ваших же интересах помочь следствию, рассказать всю правду, как бы горька, страшна или омерзительна ни была она. И начать с вашего столкновения с Седельниковым, а еще лучше — со знакомства с Тутолминой.

— Я не мог бы убить ее ... Я расскажу вам всю правду...

Он теперь изложил все честно, детально, начиная со встречи в лесу и показанных фокусов. Рассказал и о том счастье, которое было ему подарено, и о неожиданной драке.

О последней беседе с любимой, о ее неясных страхах — и о странном, мистическом, видении своем...

Он говорил ровно, сдержанно, негромко. Он будто все это где-то видел, сам не участвуя. Будто не о себе рассказывал.

Потом так же ровно отвечал на вопросы, даже улыбнулся — и провалился в бездну. Это длилось, видимо, недолго.

— Что с вами? — услышал он голос и увидел Шатохина.

— Ничего, все в порядке, — ответил тихо.

Он уже все понял. Он знал, кто убил. Тот, из-за кого он никогда уже не будет счастлив. Не человек, нет! Зверь, злобный и коварный! Зверь, которого надо уничтожить! Такое же чудовище убило ее учительницу-подругу. Горько подумал:

— Тоня, лучше бы ты дала мне утонуть тогда...

Солгал, будто забыл что-то, вернулся в больничный корпус, до боли стиснув зубы. Узнал, где лежит Седельников.

Рванулся в палату — и замер: рядом с койкой сидел милиционер в накинутом на мундир белом халате.

— Вот он, убийца, — закричал Седельников. — Задушил мою жену, а теперь ко мне крадется. Хватай его, это опасный преступник! Чего ты ждешь?

— Гражданин, стоять на месте! — сурово глядя на Леонида Геннадиевича, потребовал милиционер и потянулся к кобуре.

В палату вошел следователь. Махнул рукой милиционеру.

Тот сразу же успокоился, а Петр откинулся на подушку — и закричал злобно и тоскливо:

— Почему не арестовали убийцу? Чего вы ждете? Идиоты!

Следователь, не обращая внимания на вопли, вывел Самойлова из палаты и спросил, странно улыбаясь:

— Леонид Геннадиевич, вы хотели убить его? И смогли бы?

— Да, — устало признался Самойлов.

— А до этого вы могли бы убить человека? Вообще?

— Оставьте меня в покое. Или арестуйте. Я виноват только в том, что не убил его в лесу ... Она была бы жива!

Появился врач, сердито потребовал:

— Прекратите, оставьте его, я же предупреждал вас!

— Да, да, конечно, доктор, — расстроился следователь.

— Пожалуйста, успокойтесь и поскорее поправляйтесь, — тихо обратился он к больному. — О нашем разговоре — никому.

В день выписки Самойлова из больницы Шатохин ждал его в вестибюле. Отпустил милиционера. Пожал руку.

— Мне сказали, что через пару недель вы будете в полном порядке. Поздравляю. Знаете, что я предлагаю? У меня есть дело в доме отдыха, пойдем туда вместе пешком?

— Допрос на ходу?

— Просто вдвоем веселее идти. Ну, и побеседовать по пути не мешало бы. Я уже почти уверен в том, что вы не смогли бы убить Тутолмину. Даже в споре. Хотя вообще ... Иногда вы теряете контроль над собой, а?

Несколько шагов прошли молча. Леонид Геннадиевич начал:

— Не понимаю, если вы уверены в том, что я не мог...

— Я сказал: «почти уверен». Кое-какие моменты пока еще позволяют подозревать и вас. Поверьте. Я следователь, *я иду по следам*, изучаю их — и не могу отметить заранее ни одного из намеков, ни одной детали. Суд получит ясную картину преступления. И точное имя убийцы.

— Неужели же не ясно, кто он?! Бедная, за что, за что?

Самойлов остановился: жуткое видение в который уже раз возникло перед ним, словно наяву. Это были последние секунды ее жизни, отчаянная борьба Тони с беспощадным убийцей, ужас и боль ее, отчаяние — и смерть. Он на миг стал ею, Тоней ... А солнце такое ласковое сегодня, а птицы так же радостно поют в лесу по обе стороны дороги, как в день той встречи с ней...

— Тутолмину обнаружили через несколько минут после смерти. Сообщили сразу же нам. Было начато расследование. Что с вами?

Леонид Геннадиевич именно сейчас, в окружении прекрасной мирной природы, с разрывающей сердце силой

почувствовал беспощадную непоправимость случившегося. Остановился, задыхаясь. Склонился к стволу дерева, но сдержаться не смог: страшные мужские рыдания, наконец, прорвались. Сотрясая все тело, они придавили его, бросили наземь.

Видавший виды следователь молчал: он знал, что ничем не может помочь, что надо дать Самойлову самому выйти из этого состояния. Действительно, через некоторое время рыдания затихли. Леонид Геннадиевич встал, судорожно вздыхая, и спросил полуутвердительно:

— Вы, наверно, думаете обо мне: ну и мужик, хуже бабы?

— Нет, мужчине дозволено в таких случаях.

Самойлов огляделся: не было ли других свидетелей его слабости? Увидел догоняющую их пару: весело шагающих в обнимку высокого bruneta и блондинку спортивного вида. Огорчился.

— Они не видели, а если и видели, то ничего не поняли, не переживайте, — уверенно успокоил его Шатохин.

Пошли дальше, веселая пара почти догнала их, но никак не могла или не хотела обгонять. То и дело слышался молодой, задорный смех.

И внезапно, словно этот смех подтолкнул его, Самойлов начал рассказывать о себе: как учился в школе, как любил маму, как полюбил Розу, как поссорился и с девушкой, и с матерью, сошелся с Алиной. Рассказал и о разводе своем.

— Я уже не верил, что когда-нибудь смогу полюбить. И вот случилось это ... Вы знаете, когда мы решили немного потанцевать, то почувствовали друг друга сразу. Я понял, как и она, что это счастье — великий дар. Что это — не случайность...

Лучше бы он меня убил ... Теперь ничего хорошего не будет в жизни ... Долг ... Правосудие ... Пусто в душе. Одна ненависть к убийце.

— А если это — не Седельников?

- То есть, если это я? — он остановился возмущенно.
- Я уже сказал вам: мы обязаны отработать все версии.
- Отрабатывайте, но я абсолютно уверен, что это он.

Под чьими-то шагами послышался хруст сосновой шишки. Шатохин резко повернулся назад, обернулся и Самойлов. Какой-то человек быстро удалялся от дороги в глубь леса. К удивлению Леонида, веселая пара бросилась в том же направлении. Следователь обеспокоенно посмотрел им вслед и с невеселой улыбкой сказал:

— Седельников так же абсолютно уверен, что убийца — это вы. Леонид Геннадиевич, вы не могли бы оказать мне ма-а-аленькую, совсем маленькую услугу, а?

— Какую?

— Вы бы мне очень помогли, если бы всем, подчеркиваю, всем, говорили, что я ваш тесть. Будете вести себя, как любящий зять, а?

— Зачем?

— Я же говорил вам: у меня — дело. Хочу быть инкогнито.

— Хорошо. Как зовут персону инкогнито, моего лже-тестя?

— Так же, как и на самом деле. И вот что: я приехал взять вас из больницы, проводить до дома отдыха, а уеду завтра или послезавтра, поэтому мы похлопочем об обеде и ужине для меня, а также о месте для моего ночлега.

— А если не получится? В лесу будете спать?

— Будем пробовать, что-нибудь придумаем.

— А кто в это время будет искать убийцу?

— Не беспокойтесь: следствие не остановится.

В палате Самойлов обнаружил нового соседа. Тот уже знал, что произошло. Справился о самочувствии. Леонид Геннадиевич поблагодарил за внимание, спросил, какие новости в доме отдыха. Выслушал равнодушно. Представил «тестя».

Раздался гонг к обеду первой смены. Сосед остался в палате: он ел во вторую. Шатохин двинулся вместе с Са-

мойловым, сладко обратился к улыбнувшейся официантке:

— Красавица, я вот к зятю приехал на денек, а есть нечего. Выручи, радость моя: голодом мучаюсь, хоть бы супа тарелочку. А то у меня один шоколад, тошнит от него. Возьми, солнышко, ешь на здоровьице. А?

— Ох, и силен же ты, старый чорт, выпрашивать! — уважительно всхотнула пышногрудая, небрежно бросив в карман шоколадку. — Садись вон за тот стол, к стене. Там есть место: как раз утром досрочно выехала одна. Будет тебе полный обед и ужин, а то и завтрак.

— Давай, зятек, пообедаем, а потом посидим, поболтаем, — весело сказал следователь, окинув зал цепким и в то же время как бы равнодушным взглядом.

За столом прибывшего соседа встретили радостно и сочувственно, расспрашивали о нападении хулиганов, о его состоянии. На сей раз все были трезвы. Аня по-прежнему краснела, а ее соседка, недавно назвавшая Самойлова ограниченным мужчиной, теперь смотрела на него заинтересованно и оценивающе.

Ее друг явно заметил это, но был уверенно спокоен и ел с удовольствием, проявляя натуру философскую и гастрономическую.

Шатохин покончил с едой быстро и подошел к их столу.

— Зятек дорогой, не справляешься. Небось, в больнице разучился есть? Здравствуйте, молодые люди! Соскучился по зятю, жаль, что только на пару деньков к нему приехал: хорошо тут у вас. Как он? Не шалит, а?

— Он прямо монах, — улыбнулась ему красивая. — На женщин не смотрит, хотя кое-кто ... не против...

— Согласен, он такой, — следователь сел рядом с ними на пустой стул и как бы от скуки снова оглядывал зал. — Не торопись, Леня, ешь с пользой. Жуй, как следует.

Соседи удалились, пригласив Самойлова на танцы, а Шатохин обратился к подошедшей официантке.

— Красавица, добрая душа, помоги еще раз: переночевать негде. Может, знаешь, к кому бы подойти с просьбишкой, а?

— В поселке есть места. Дать хороший адрес?

— Хотелось бы в вашей общаге, поближе к зятю, коечку, а?

— Нет, у нас строго. Есть, правда, у повара-вдовца диван в проходной комнате, да его уже занял парень.

— А я тоже попрошусь к повару, а? Ночь посплю на раскладушке. Рядом с тем диваном. И заплачу хорошо. На ночь, а?

— Да нет, жилец этот не позволит. Он тако-о-ой...

— Что, боится, что я съем что-нибудь у него? Повар, поди, ему носит то, чего тут и не видят, а?

— И вовсе нет, ест его жилец здесь, в столовой!

— В третью смену, а? — засмеялся Шатохин.

— Не твое дело!

— Не сердись, красавица, — расстроился следователь, — да ну их всех, лишь бы ты мне улыбалась по-прежнему.

— Ладно, — смягчилась девушка. — А тот парень, он из поселка, отсидел срок, да успел уже разругаться с матерью. И не надо тебе с ним спать в одной комнате...

— А если в палате у моего зятя? Раскладушечку бы мне? А?

— Это просто, сегодня там дежурит подружка моя.

— Для нее, — он ловко опустил шоколад в карман девушки.

— Леонид Геннадиевич, — посерьезнев, сказал следователь, когда вышли из столовой. — Сегодня прошу не разлучаться со мной весь остаток дня, вплоть до отбоя. Мне это необходимо. Уважьте мою просьбу, это только до завтра. А?

— Не знаю, что за игру вы ведете, но я свое слово держу.

— Вот и хорошо, вы не пожалеете об этом. А пока давайте отдохнем у озера, наберемся сил. Возможно, нам придется потанцевать.

В голосе следователя почувствовалось некое напряжение.

К озеру шли короткой дорогой, мимо общежития. Шатохин нашел тенистое место, «родственники» разделись, прилегли.

Самойлов снова погрузился в воспоминания о той незабвенной ночи.

Слышал нежный шепот, ощущал томительно сладкие поцелуи Тони: в губы, в шею, по всему телу; ощущал свои поцелуи по ее телу — желанному, неповторимому.

Восторженно ловил мужчина удивленно-радостные и в то же время как бы притворно плачущие стоны женщины в моменты наивысшего наслаждения.

И снова целовал ее пальцы, руки, губы.

И танцевал с ней под магнитофон.

И рассказывал о себе, и слушал ее — о ее жизни...

Вновь звучали, как и тогда, где-то в глубине его сознания слова из глубин памяти вырвавшегося романа:

Я вверился тебе, я снова полюбил...

И все та же, внезапная, ломающая, коверкающая душу мысль — вослед:

— Ее больше нет, ее уже никогда не будет!

И — боль в сердце, и — ярость, и — желание крушить все вокруг до тех пор, пока чья-то добрая рука не прекратит навек эту его жизнь-мучение. И это его бессилие — бессилие отчаяния...

— Что это вы стонете, Самойлов? — услышал он голос Шатохина откуда-то издалека.

— Так. Сам с собой разговаривался.

— Вот вы где, Владимир Александрович!

К ним подошел молодой, веселый брюнет, похожий на еврея, одетый в модно порванные джинсы и безрукавку с изображениями добрых драконов.

На плече его висела импортная сумка.

Было нетрудно узнать в нем того, кто шел за ними с подружкой-блондинкой, а потом бросился вместе с ней в лес.

— Здравствуйте, — он пожал руку Леониду Геннадиевичу. — Моя фамилия Сакиян, я отдыхаю здесь, как и ваш...

— Тесть, Рем Оганесович, тесть, — улыбнулся Шатохин.

— Да, конечно, тесть. Запомните меня, Самойлов, в лицо. Чтобы узнать ... на танцах. И вообще ... в суматохе.

— Вы нам этим крепко поможете, — добавил следователь.

— Я легко узнаю вас обоих. Я уже сказал, что готов помочь в вашем таинственном деле. А пока, пожалуй, поплаваю.

— Только не утоните, после обеда плавать опасно.

Сакиян разделся, лег рядом с Шатохиным. Тот его внимательно слушал, пока Леонид Геннадиевич плавал. Кивал, переспрашивал. Потом оба присели и что-то чертили на песке прутиками. Затерли ногами.

Послышался звук гонга. Сакиян оделся и ушел.

— Полдник, — сказал Самойлов, выйдя из воды. — Не пойду в столовую.

— Давайте тогда погуляем, — предложил Шатохин.

Шли некоторое время молча. Где-то звучала ария Греммина.

Следователь вслушался:

— Люблю оперу. Между прочим, Седельников рассказывал, что в его жену влюбился житель поселка. Пел оперные арии, и она ему аккомпанировала. Но вы вряд ли об этом знаете.

— Ошибаетесь. В тот день за завтраком мы о многом говорили ... Это какой-то Логунов ... Лобачев...

— Может быть, Логачев?

— Верно, Логачев. — Что она о нем говорила?

Добродушная улыбка Шатохина не могла скрыть суровой сосредоточенности глаз.

Самойлов забеспокоился, почувствовал тревогу.

— После развода с мужем многие звали ее в жены ... в том числе и этот ... певец ... Нет, он — раньше, когда она

еще не была в разводе ... Она иногда приезжала к подруге и без мужа — и тогда солист просил поаккомпанировать ему. А что?

— Интересно послушать, как он поет ... Если так же, как я запел, когда Павлов ограбил мой счет в сберкассе...

— Или я, по той же причине, хотя и было у нас всего...

Они предались рассуждениям о ходе реформ. Леонид Геннадиевич увлекся, Шатохин же то и дело задумывался, оглядывался. Перед самым ужином повстречался как из-под земли вынырнувший Сакиян, молча пожал плечами и прошел мимо них.

Следователь помрачнел.

В столовой Самойлов вытащил из-под тарелки за уголок записку: *«Никому ни слова. Сообщу лично. Знаю, кто это сделал. После танцев встретимся позади вашего корпуса. Друг»*.

Он заволновался. Прочел еще раз. Решил показать следователю.

Посмотрел в его сторону. Тот что-то шептал на ухо официантке Зое. Она смеялась, шлепнула Шатохина по плечу.

Донеслись слова ее:

— Обещаю, обещаю. А с зятем твоим можно разок?

— Леонид, сегодня я танцую с вами, — вдруг произнесла красавица-соседка. — Между прочим, меня зовут Таня.

Самойлов разозлился: Шатохин увлекся Зоей, забыл о своем деле. Что это она ему обещала: танцевать с ним или ...?

Увидел за одним из столов Сакияна с хохочущей блондинкой. Перед ними нагло торчала на столе бутылка вина.

Стиснул зубы: говорить о записке *не с кем!*

Танцевальная площадка представляла собою бетонированный, прозванный «точилом», круг, по одну сторону которого стояли рядами скамьи без спинок. На них сидели взрослые люди всех возрастов и дети, пришедшие из поселка с родителями.

С противоположной стороны круга пузатилась обрешеченная к нему разинутой пастью раковина эстрады, на которой стояла женщина с микрофоном, изредка нечто невнятно выкрикивавшая.

В динамиках громыхала музыка, сквозь которую прорывался хриплый мужской голос, бесконечно повторяя одну и ту же фразу. Под эти звуки энергично танцевали, кто как умел.

Вдруг зазвучал вальс Штрауса, раздались вопли женщин:

— Дамский вальс! Дамский вальс! Белый танец!

К Самойлову подошла Аня и умоляюще произнесла:

— Пожалуйста...

Ему стало жаль ее, и он согласился. И тут же отправились за ними Шатохин с официанткой Зоей и откуда-то возникший Рем со своей блондинкой, которая то и дело громко хохотала.

Леонид Геннадиевич возмутился легкомыслием этих людей: приклепали поразвлечься и делами таинственными прикрылись! Но ведь следователь серьезно просил о помощи, и они там что-то чертили на песке. Все это очень странно. Что ж, придется самому узнать от неизвестного друга то, что разоблачит Седельникова.

Аня танцевала тяжело, приходилось то и дело останавливать кружение и покачиваться на месте. Это раздражало. Наконец, вальс закончился, и он отвел партнершу на место.

Она шепнула смущенно:

— Спасибо вам, сосед.

И он снова пожалел ее. Хотел сказать что-нибудь теплое, но не смог: Тоня возникла в его воображении. Подошли Шатохин и все более явно благоволившая к нему Зоя.

Мрачный парень с монголоидным лицом прикурил у Сакияна, глядя на его девицу. Тот сразу помрачнел, сказал ей громко:

— Не смей отходить от меня! Танцуешь только со мной!

— Опять ты ревнуешь, Отелло? — рассердилась она.

Поднялась со скамьи, но он схватил ее за руку и усадил силой рядом с собой. На них стали обращать внимание.

— Какую записку вы читали за ужином? — спросил вдруг Шатохин, склонившись к самому уху Леонида.

Тот, все еще сердясь и не доверяя, ответил:

— Так, пустяки.

— А если нет?

Внезапная догадка обожгла, бросил ее в лицо следователю:

— Вы по своему делу приехали или за мной следите?

— Трудный ты человек, Леня, — тоже рассердился тот, но как-то чересчур уж громко. — Ладно, не буду тебя волновать.

Встал, ушел куда-то.

— Внимание, внимание! У нас в гостях солист Михаил Логачев, — говорила в микрофон женщина-массовик. — Идя навстречу пожеланиям, он исполнит несколько арий.

Тут же молодой человек лет тридцати грубо выхватил из ее руки микрофон и сам объявил:

— Эпиталама¹ Виндекса из оперы Рубинштейна «Нерон».

Отдав микрофон женщине, он сделал шаг вперед — и зазвучал сильный, хорошо поставленный баритон. Сам же солист держался как-то деревянно, лицо его не выражало никаких эмоций. Казалось, это робот поет.

Самойлов заметил, что певец невысок, худощав, смугл. Тонкогубое лицо вызвало неприязнь. Не он ли прислал записку?

И здесь течение мыслей Леонида Геннадиевича изменило свое направление, стало жестким и острым: если этот Логачев на что-то рассчитывал, но получил отказ, то, возможно, именно он, а не Седельников, убил ее!

Конечно! Он подслушал, потом сел на скамейку и начал приставать. Она его отвергла, возможно, даже оскор-

¹ Эпиталама — свадебная хвалебная песнь в Древнем Риме.

била, и он в припадке ярости убил ее ... И пришел, и поет, чтобы снять с себя подозрение, показать, какой он хороший...

Почему он хочет говорить с ним, а не с официальными лицами? И почему тайно? И ночью? И почему за корпусом?

На все эти вопросы мог быть только один ответ: Логачев знает обо всем и хочет отомстить не только Седельникову, а и ему, Самойлову — так же, как Тоне ... Если у него пистолет, то он бы мог давно из-за угла застрелить его. Значит, нож ... Значит, надо опередить его, ударить первым...

А если не он? Надо было сказать правду о записке следователю!

Не-ет, хорошо, что не сказал Шатохину, где у них встреча! Помешал бы «тестюшка» ... И его помощнички...

Страх и ненависть сошлись, сплелись в яростное желание раздавить, уничтожить солиста-убийцу:

— Ах, ты, сморчок, мухомор, глист в обмороке, — думал Самойлов, — ты дождался своего часа: если ты меня сразу не уложишь, то твоя смертная казнь свершится моей рукой!

У него сжимались челюсти, подергивались то руки, то ноги, он уже готов был броситься на певца. И вдруг начала болеть голова, потом — закружилась. Он начал глубоко дышать, стараясь ни о чем не думать. Но вспомнился фильм «Место встречи изменить нельзя»...

Получив в награду приличную порцию аплодисментов, баритон объявил арию Жермона из «Травиаты». Пел он профессионально, прекрасно брал верхние ноты: легко, свободно — и с нарастающим металлом в голосе. Однако лицо его постоянно оставалось безучастным, как маска. Да и в самом голосе не хватало того тепла душевного, того кипения чувств, которое наполняло баритон Ивана Вершкова, Джона. Не было обаяния.

Логачев исполнил все так же, без аккомпанемента, без микрофона, еще несколько вещей из классического оперного репертуара. Кто-то в рупор затребовал неаполитанские песни. Певец согласился. Аплодисменты не ослабежали. Леониду же слышалась цыганская надрывность в голосе исполнителя.

И вдруг он поймал на себе взгляд его. Теперь не было сомнений: это была черная молния, беспощадная и злобная.

Самойлов вздрогнул. Но вскипела ненависть — и подавила страх.

— Продолжаем танцы! — возгласила женщина-массовик.

Жирный гул голосов одобрительно заколебался.

Солист исчез.

Пришел Шатохин, танцевал с Зоей, стараясь быть вблизи от мрачно водящего дам Самойлова. Рема не было видно, а его блондинка отплясывала с мрачным парнем, похожим на монгола, бросавшим порой взгляд на Леонида. Странно, странно...

Едва зазвучал гонг, Самойлов быстро, почти бегом, устремился к корпусу. Огибая его справа, мимо окон своей палаты, шагнул в темноту.

Проснулись древние инстинкты. Тело настроилось на их мгновенные и точные команды. Холодная, беспощадная ярость зверя сделала упругой походку, обострила слух и зрение.

У самого угла здания он резко бросился в сторону, еще дальше от угла, чтобы выиграть какое-то расстояние, и не ошибся: смерть ринулась к нему в виде человека, вооруженного блеснувшим внезапно ножом.

Человек, сдавленно рыча, движением мастера, без замаха, выбросил сильно руку с ножом вперед, намереваясь вспороть живот своей жертвы. Вовремя, значит, метнулся в сторону Самойлов: нож проколол воздух.

Озадаченно застыла фигура Логачева.

Леонид Геннадиевич, споткнувшийся о бордюры, отклоняясь от удара, и упавший на клумбу, уже успел встать. Он жаждал продолжить смертельную схватку, пылал яростью и был уверен в своей победе. Темнота — не помеха, наоборот! Он уже адаптировался и видит убийцу! Сейчас он уничтожит его! Лицом к лицу! Кончилась союзница негодяя, подлая внезапность!

— Ни с места: стреляем без предупреждения! — раздался где-то рядом громкий приказ Сакияна.

Сильный свет трех фонарей ударил по глазам Логачева.

— Самойлов, ко мне! — резко потребовал из тьмы голос Шатохина. — И хватит фокусов! Сами разберемся с ним! Вас сын ждет дома!

Самойлов заколебался.

— Леонид Геннадиевич, идите же! — голос следователя чуть заметно смягчился. — Не делайте себе хуже!

С пронзительным, болезненно воющим криком опомнившийся Логачев бросился к Самойлову. И тут же был сбит с ног: Сакиян сумел нанести страшный удар. Подоспели и другие. Блондинка надела наручники на лежащего убийцу.

— Он без сознания, — встревожилась она. — Как бы не...

— Ничего, Валя, сейчас очухается, — успокоил ее Сакиян.

— Что же вы, Леонид Геннадиевич, про записку неправду сказали, а? — ворчал Шатохин. — Хорошо, что наша Валентина успела раньше вас прочитать ее. И с танцев понеслись так ходко, что едва на нож не напоролись. Вот ведь какой вы недоверчивый и шустрый...

— Извините, действительно, глупо. Я хотел сказать вам, но ... Это и есть ваше дело? Этот ... баритон? Как же я сразу не догадался?!

— Очнулся, — послышался голос одного из милиционеров.

— Ведите в машину, — приказал Сакиян.

— Я тебя, жид, все равно достану, не радуйся! — это Логачев яростно взвыл. — Ты мертвец, понял?! А вы, легавые, ответите за то, что травмировали меня. Поняли? Я

талант! Везите меня в больницу, подлюги! Тебя же, сука, я достану, достану, как и ее! Жди меня — и я вернусь! Ха-ха-ха!

— Он не достанет уже никого, — устало сказал Шатохин. — А вы, голубчик, едва не испортили мне всю игру.

— Значит, милиционеры в палатах из-за него...

— Да, мы и его заподозрили. Но он вдруг исчез из квартиры матери своей. Мы его искали, но одновременно приняли решение охранять вас и Седельникова в больнице. И правильно сделали, потому что он однажды пришел, спрашивал о вас. Мы поняли, что опасность грозит вам одному. К сожалению, не успели взять Логачева ни в больнице, ни в лесу, вот и пришлось — в доме отдыха. Он охотился на вас, а мы — на него.

— Но и в палате Седельникова оставалась охрана...

— Только до вашей выписки из больницы. И вы догадываетесь, почему. Да, да, из-за вас. Вообще-то мы хотели все вам объяснить, но врачи такого наговорили о вашем сотрясении мозга, что мы воздержались. Вижу теперь, что напрасно.

— Спасибо за заботу. Но не находите ли вы, что я в этом вашем спектакле играл скверную роль приманки для негодяя?

— Мы вас охраняли. Если бы не ваша самостоятельность...

— Вот опять голова закружилась, и довольно сильно. И болит. Да нет, ничего особенного: доктор сказал, что такое может быть. Сейчас приму лекарство и буду спать, сколько смогу. Этот Логачев — страшный человек. Зачем он живет? Я бы его расстрелял своей рукой.

— А я о другом подумал. Родился мальчик, рос, учился. У него обнаружился голос, поступил юноша в консерваторию, учился старательно. Выгнали *праведники* безжалостно на четвертом курсе за мелкую кражу в общежитии, а он просто не умел подрабатывать, три дня не ел ... И под-

хватила его мутная река. И все в нем исказилось, и даже полюбить не смог по-человечески.

Он убил уже однажды хорошего парня. Тоже из ревности. Отсидел три с половиной года, был выпущен за хорошее поведение досрочно ... И снова убил...

— Я вам буду еще нужен?

— Не сегодня. Сколько вам осталось отдохнуть здесь?

— Шесть дней ... отдохнуть...

— Думаю, что пару раз побеспокою вас, а потом уже суд будет вызывать. Утешать не умею, но поверьте мне: сочувствую. Спокойной ночи.

Оставшиеся дни были для Самойлова мукой. Засыпал только с помощью снотворного. Плохо ел, ни с кем, даже с соседями по столу и палате, не желал обсуждать случившееся.

Здоровался. Прощался. Не более. Его понимали, не беспокоили: слух о ночном происшествии распространился, и личность Самойлова стала загадочной и таинственной, порождая догадки и домыслы фантастические. Лишь переставшая улыбаться Зоя то и дело бросала, подавая очередное блюдо:

— Говорят люди, ваш тесть — шпион и мафия, а он меня обманул и теперь на допросы вызывает ... И не тесть он вам вовсе!

Самойлов не реагировал.

Однажды в лесу он увидел, как трудяга-муравей тащит огромный по сравнению с ним самим кусок листа осины. Неясное волнение охватило человека. И вдруг вспыхнуло ярко: этот малый подает ему знак, он учит его быть сильнее всех обстоятельств во имя тех, кому он надежда и опора.

Шатохин допрашивал его трижды, дал на подпись протоколы, оказавшиеся довольно короткими. Самое страшное для него было первое свидание со следователем, когда Владимир Александрович дал ему прочитать признания Логачева.

Убийца утверждал, что состоял в сожительстве с жертвой своей еще в то время, когда она была замужем. Что его голос ее очаровал. Что она затем нашла нового любовника, художника, которого он, Логачев, убил в припадке ревности. Но ради Тони солгал на суде, что сделал это из-за официантки Зои, с которой также и он, и художник, бывали близки.

Заявлял, что, отбыв наказание, вновь находился в близости с Тутолминой, уже после ее развода, что он любил ее:

«И мы бы поженились, если б не ее сын. Он все время надеялся, что отец когда-нибудь сойдется с матерью и поэтому даже слышать не хотел о таком», — утверждал преступник.

«Я не тронул бы ее. Но она, когда я был в кустах, сказала мужу, что нашла свое счастье. То есть залетного еврея, которого знала всего один день и одну ночь», — читал Самойлов, бледнея от ненависти и тоски.

«Я простил бы ее, если бы согласилась бросить этого еврея, но она отказалась наотрез. Я обозлился и захотел причинить ей боль. Я не хотел убивать ее. Увидел на земле кусок антенного провода. Поднял, накинул ей на шею. Сдавил. А когда отпустил «...

— Все, может быть, и правда, кроме одного: Тоня с ним не жила! А с каким-то художником — тем более, — сказал Леонид Геннадиевич уверенно, прочитав написанное.

Шатохин не возразил ему, но и не подтвердил его слов.

— Если вы понадобитесь, вас пригласят. Но, думается, в этом нет необходимости, по крайней мере, на сей день. По факту драки уголовное дело не возбуждено, хотя за применение кастета надо было бы...

Пацана жалко, а Седельников обещал взять Сережу к себе, и жена его — не против.

— Вы хороший человек, Владимир Александрович, — заявил Самойлов. — Я хочу признаться вам, что не смогу прибыть на суд, если это будет не скоро: я уезжаю ... в Израиль.

— Нам это известно. И я от всей души желаю вам, чтобы вам было там хорошо. Хотя жаль, что многие евреи, по сути своей — русские, покидают страну. Все еще изменится в России, поверьте мне. Пройдет переходная сумятица и...

— Сомневаюсь: слишком много прочел я газет якобы патриотических, русских, а по сути своей — антисемитских. Для тех, кто их читает, мы уже не «по сути русские», а *вечные враги России!* Могу ли я сам после этого оставаться *русским по сути?* Хотя еврейская во мне — только моя кровь, которой так страстно жаждут юдофобы...

— Это — не весь русский народ. У нас, например, дружно работают люди разных национальностей: Рем — наполовину лишь армянин, мать его — русская, моя мать — украинка. Валя — осетинка, с нами были той ночью немец и татарин. И вообще мы, сибиряки, понимаем друг друга лучше.

— А Седельников? А Логачев? Они не сибиряки?

— Это — проблема всех стран и всех народов. Уверяю вас: если бы не наркотики, Логачев стал бы выдающимся певцом. Если бы не ваше появление, то конфликт Седельникова и Тутолминой развертывался бы банально, без...

— Не надо продолжать ... Прощайте, Владимир Александрович.

Когда самолет оторвался незаметно от взлетной полосы, дал круг и взял курс на запад, Самойлов тяжело погрузился в мысли свои и воспоминания.

Память, словно кошмарный фильм абсурда, провела перед внутренним взором события трех с половиной недель: со встречи в лесу, где он изобразил клоуна, и до прощания с соседками по столу перед их отъездом. Каждая из них, отведя его в сторону, сказала тихо одно и то же:

— Так хотелось побыть с тобой вместе...

Будто сговорились. Может быть, и в самом деле сговорились, он теперь ничему бы не удивился. Но Тоня ... Неужели и вправду жила с певцом-убийцей? И с убитым художником?

Но она сказала главное: он, Леонид, был ее первой любовью и страстью ... единственной...

В который раз спрашивал себя:

— Неужели я виновен в ее гибели? Так отплатил за добро?

— Мог бы я спасти ее, если бы ушел с пути ее и Петра?

Дома его ожидал сюрприз: дверь отперла Алина, и тут же на шею ему кинулся Димка. Вздрогнул: показалось, что это — другой мальчик, еще недавно любивший, а теперь ненавидящий «дядю клоуна».

Сын сиял, горел радостью долгожданной встречи.

— Папа, папочка! Мы все опять будем вместе!

Глубокое чувство ожило в груди отца с новой силой. Он обнимал ребенка, целовал, прижимал к себе — словно тот был где-то потерян навсегда и вдруг неожиданно нашелся.

И снова вспомнил другого мальчика, свои фокусы — и боль стыда вошла в его сердце, и боль вины добавилась к ней. И — непобедимое желание искупить ту вину, всегда быть вместе с этим родным существом, продолжением и частью его самого.

— Сынок, Дима ... — тихо говорил он, словно боясь спугнуть нарождающееся вновь желание стремиться к цели, ощущать всю полноту жизни и ее неповторимость.

Увидел стоящую молча, бледную, бывшую свою жену.

— Что с тобой? — спросил удивленно.

— Ничего, все хорошо, — ответила Алина и быстро ушла в спальню, откуда послышались всхлипывающие звуки.

— Мама плачет, — грустно прошептал Димка, — она все время плачет, а почему — не говорит. Все ведь хорошо, правда?

Он убежал к матери. Самойлов хотел последовать за сыном.

Но Алина уже вышла ему навстречу, виновато улыбаясь. Ее веки и кончик носа были красны.

— Сама не знаю, что со мной, — произнесла женщина, — но, кажется, уже прошло. Ты, наверно, есть хочешь, я сейчас накрою на стол. Иди пока в ванную, ополоснись с дороги.

Голос плохо ей повиновался — это было странно, неприлично, и Леонид Геннадиевич предпочел побыстрее пройти мимо.

Теплая ванна расслабила, стало немного легче на душе.

Потом он ел, Алина подкладывала еще — и говорила, говорила. Торопливо, непривычно близостно.

— Дима пошел во двор, играть с мальчишками. Я его отправила: поговорить хочу с тобой. Ты не привез ему гостинца? Жаль. Надо будет купить что-нибудь и сказать, что *ты* это привез. Хорошо? Почему ты забыл позвонить оттуда матери о том, что прибыл на место? Не объясняй, я догадываюсь. Она никогда так не волновалась — и поэтому позвонила тебе сама. Ты извинись перед ней. — Да, — произнес Самойлов виновато, — я вспомнил об этом слишком поздно: перед отъездом домой. И подумал, что теперь уже нет смысла звонить, писать: объяснюсь и повинюсь, когда встретимся. Она на дежурстве?

— Она вызывала тебя к телефону, но ты не подошел, а когда ей объяснили, что ты лежишь с сотрясением мозга в больнице, она вызвала меня сюда...

— Зачем? — запоздало сердился он.

— А что ей было делать? Она сама оказалась в больнице с сердечным приступом из-за переживаний. Она все еще там, но скоро ее выпишут.

— Это что-то серьезное? Говори правду!

— Сердце у нее вообще ... Ты же знаешь ... Но опасности уже нет. О том, что было потом, я ей не рассказывала.

— О чем ты?

— Я по просьбе Ривы Соломоновны звонила тебе, в ту больницу, соврала, что это мать у телефона. Дежурный врач меня успокаивал, сказал, что ты поправляешься, но говорить с тобой еще нельзя. И так несколько дней. Вдруг тебя выписали. — И ты позвонила в дом отдыха — тоже будто моя мать? Так? И кто-то словоохотливый выложил все, даже больше...

— Да. Так. Я знаю теперь.

— Что ты знаешь?

Он уже не ел, а вяло ковырял то жареную картошку, то нарезанные мелко соленые огурцы, то ломтики чайной колбасы.

Отставил все — и стал отглатывать остывающий кофе.

— Все: и о твоей ... связи ... и о драке ... и о жутком преступлении ... Сначала я даже не верила: ты мне казался однолюбом. Скажи, ты еще любишь нашего сына?

Алина была какая-то новая: притихшая, но в то же время незнакомой ему силой наполненная, трагичностью дышащая.

— Не знаю, поверишь ли ты, но я хочу сделать все, чтобы он был счастлив. И ты — тоже, — она едва сдерживала слезы.

— Вспомни, Алина, вспомни свое поведение! О чем ты думала тогда? Это было во имя счастья сына? Вспомнила? Или нет?

Он встал из-за стола, толчками заходил по комнате.

— С чего бы это вдруг ты переменялась? И как ты думаешь зачеркнуть свое ... теперь уже и мое ... прошлое?

— Да, прошлого не изменить, ты прав. Не один год жизни отдала бы я, чтобы вычеркнуть ... Ты в самом деле полюбил ту женщину — или просто так ... от избытка сил?

— Не трогай это! Никогда!

— Значит, полюбил ... Я чувствовала ... Меня ведь ты не любил ... Нет, не возражай: тебя тянуло ко мне, но ты не любил ... я не была для тебя человеком в полном смысле слова, ты был со мною как бы ... как бы ... не знаю...

Горькая обида звучала в ее голосе.

Обида — и печаль.

— Неужели я не умела вызвать любовь? Или в самом деле не стоила настоящей любви? Я об этом не задумывалась. До тех пор, пока сын, Дима ... Это было ужасно. Как гром среди ясного неба. Смотрели мы с ним телевизор. Жена изменила мужу, этому были как будто веские причины ... по сценарию...

Муж переживает, плачет, делает глупости, но прощает, наконец, потому что любит.

А сын мне вдруг и скажи:

— Я бы убил *эту суку*. Моя мама никогда бы так не сделала! Правда, мамочка? Ты хорошая! Я тебя так люблю!

Алина невесело рассмеялась. И — еще больше помрачнела:

— В школе его обижали мальчишки, домой приходил с опозданием, частенько — побитый. Класс свой не любил, ни с кем не дружил, только с каким-то гундосым появляться стал, тот его учил курить, материться, песни блатные петь. Я его прогнала, и он тоже обозвал Диму *жидом*. И они рассорились.

— Что значит «тоже»? Почему Димку обижали?

— Да потому что учительница в декабре провела что-то вроде урока интернационального воспитания. Вспомнила образование Советского Союза. Наш простофиля и клюнул на это:

— Моя мама — наполовину украинка, она очень хорошая. Папа — еврей, он тоже хороший, он главный инженер! Конечно, после этого многие дети...

— Вот как! Пока не знали, что кровь *не та*, он был хорош?

— Однажды его привел домой десятиклассник. Он отбил нашего сына у целой толпы этого хулиганья. Обещал, что будет теперь защищать Диму. Назвался Колей Егояном. Сказал, что он русский, лишь прадед его — армянин, родившийся в Баку.

Они решили уехать в Штаты. Советовал и мне с сыном уехать.

И совсем меня огорошил:

— Сама учительница вашего сына — сволочь. Она никого из нас, с подозрительной фамилией, не любит, а уж евреев — особенно.

Это в школе знают все. Но боятся ее тронуть: напакостит — не отмыться. Есть и те, что в душе ее поддерживают. Завуч — еврей, он оформляется на выезд в Израиль.

— И такая дрянь учит детей? — возмутился Самойлов.

— Да. Коля сказал, что ее боится и муж-алкаш: как же, один любовник — рекетир, другой — прокурор. Нравится?

— И ты после этого приняла решение?

— Написала Риве Соломоновне. Мы с твоей мамой говорили об этом ужасе по телефону, писали друг другу, и она решила, что надо уехать всем вместе.

А *та* ... тоже кончала ин-яз, да? Как странно...

— В Израиле наш сын не будет евреем: мать — не еврейка.

— Знаю. Но он сможет показать ... что у него есть *брит-мила*. Он овладеет языком, выучится, женится на тамошней еврейке — и будет счастлив.

Потому что их дети будут полноправными.

— Но ты, ты откуда узнала это?

— Читаю. Купила кое-какие книги, учебники, словарь. Иврит — логичный язык. Хоть система его совсем иная, чем у европейских. Я читаю и Ветхий завет: возможно, ради сына приму иудаизм. Дмитрий не должен стыдиться своей матери.

— Ты не понимаешь: по крови ты будешь чужой для евреев всю жизнь! Точно так же, как мы, евреи, для русских — здесь, в России.

— А Рут?¹

— Какая еще Рут?

— Ты не знаешь историю Рут? Это же...

— Я не знаю, кто такая Рут, но мы с тобой не сойдемся.

— Ты не понял ... Я могу поехать с Димой вдвоем, и мы не будем тебя беспокоить ... Я хотела, чтобы у него хотя бы в первое время были оба родителя, чтобы его родной отец, еврей, был с ним рядом в самые первые, самые трудные месяцы.

— Ты можешь отдать его мне — и не будет проблем.

— Я была бы согласна ради его счастья и на это. Только не будет он счастлив без родной матери. Если же когда-нибудь я увижу, что стала и ему в тягость, то ради его

¹ Рут — прабабка царя Давида. Приняла иудаизм.

спокойствия смогу освободить ... Господи, неужели прогонит?

Очевидно, эта мысль раньше не приходила к Алине, и она, потрясенная, умолкла, сникла — и смотрела на Самойлова с ужасом.

Он всегда мог жалеть и сопереживать, он и сейчас вошел в ее тревогу и растерянность — и увидел перед собой не жену-предательницу, а мать, трепетно молящую счастья сыну. Его сыну ... Их сыну ... Готовую к жертве ради него...

— Я не посягну ... Клянусь тебе! — шепотом закончила она и снова ушла в спальню.

Тоска глыбой навалилась на Самойлова: не вернуть, не переделать былого! Если бы он тогда задержал Розу ... Если бы не погибла Тоня...

Вечером они втроем пошли в больницу. Увидев мать, выехавшую на кресле-каталке, взволнованный сын бросился к ней, обнял, помог подняться и посадил на скамью.

Сел рядом, увидел, как печальны глаза ее, попытался развеселить. Вдруг вспомнил, как изображал клоуна ... Но продолжал шутить. Наконец, Рива Соломоновна засмеялась. Она ни о чем его не спрашивала, даже состоянием здоровья поинтересовалась как бы между прочим. Но он понял, что именно это для нее — главное:

— Я в полном порядке, мама. Поправляйся, выписывайся — и будем оформлять выезд.

Она радостно улыбнулась.

И — решила:

— Я думаю, что ради Димочки вам следует до отъезда оформить брак, пусть даже он будет фик...

Спохватилась, но внук в этот момент смотрел в другую сторону: его заинтересовала забежавшая в холл ошалелая кошка, преследуемая молчаливым и сосредоточенным бульдогом.

Дальнейшие события разворачивались в течение трех с половиной месяцев, как бы слившихся в один хлопотно-тревожный день.

Леонид Геннадиевич принял предложение матери о фиктивном браке. Подруга Алины, работавшая в загсе, продвинула их женитьбу в кратчайший срок. Правда, потребовалась некоторая сумма для поощрения неведомых помощников.

Документы в ОВИРе также удалось необычайно быстро оформить. Женщина, работавшая там, была внимательна, доброжелательна — и абсолютно бескорыстна. И снова тепло вспомнились слова следователя Шатохина о России.

Не встретилось затруднений и в посольстве Израиля в Москве. Здесь тоже все были приветливы и предупредительны.

Самым трудным делом оказалось найти фирму для пересылки долларов, вырученных от продажи приватизированного жилья, но все же отыскивали такую.

Пришлось, конечно, довериться: в само-лет брать эти тысячи побоялись. Можно и их потерять, и даже попасть при этом в уголовные преступники...

Кое-что из вещей подарили соседям, приятелям. В контейнер погрузили все, что только было можно. Отправили его в Хайфу на адрес приятельницы Ривы Соломоновны, уехавшей на полгода раньше. Ручная кладь поэтому была невелика.

Все проблемы, где не требовалось присутствие главы семьи, дружно решали Рива Соломоновна и Алина, сам же Самойлов занимался чисто технической частью: упаковкой, погрузкой, транспортировкой.

Димка старался помогать — и постепенно из помехи превращался в настоящего помощника.

Помогали и приятели. Почти все они: и евреи, и русские — одобряли его репатриацию. Некоторые даже завидовали и говорили об этом. Каждый день возмущались всеобщим ограблением под видом реформ, проклинали Павлова, а кое-кто — и всех правителей. Спор шел только о Ельцине: многие на него крепко надеялись, верили.

Самойлова же не на шутку беспокоило иное, далекое...

Джон тоже заглянул ненадолго, важно прогуливался по квартире, бросал веселые реплики. В этом шикарно одетом человеку трудно было узнать бывшего кандидата в мастера оперной сцены, всегда голодного и часто подвыпившего.

Он не стал ждать признания в театре, создал было собственную рок-группу, потерпел крах — и решил попробовать себя в мутном бизнесе, где какими-то путями преуспел.

— Приедешь, укрепишься, осмотришься — и пригласишь меня в гости, — диктовал он приятелю. — Я вложу средства в какую-нибудь фирму, а тебя сделаю управляющим. Заметано? Если все пойдет путем, сделаю компаньоном. Я в тебя верю.

И вот еще что: в аэропорт с вами поедут двое моих парней. Спорить бесполезно. Так будет надежнее. А мне — за тебя спокойнее.

И вдруг на какое-то мгновение появился былой Джон. Солидный бизнесмен стал в позу и изрек гекзаметром:
*Время пришло, о друзья, нам
воспеть переезд Леонида!*

Счастья ему пожелаем, успехов больших ... и здоровья!

Крепко обнял Самойлова, трижды облобызал и быстро удалился, стараясь скрыть неожиданные слезы.

Леонид Геннадиевич был до боли тронут. Потом вспомнил, что именно Вершков когда-то привел его в хибарку. Задумался. Но ненадолго: то одно, то другое вдруг требовалось сделать.

Наконец, приготовления завершились. До вылета оставалось два дня.

Ночью Самойлов стоял на балконе и смотрел с высоты девятого этажа на огни своего города.

К нему подошла Алина, стала рядом и тоже смотрела.

— Интересно благословил тебя отец на выезд, — прервал молчание супруг. — Откупились от родного: отнял квартиру с обстановкой, поселился там со своей алкашкой вдвоем...

— Зато мама освободилась от него, наконец. Хоть на старости лет отдохнет. Она поругала, как всегда, всех евреев, а потом благословила меня, пожелала счастья мне и ... моей семье...

— А брат, а сестры?

— Просили вызывать в гости, хотят подработать.

— Как же так случилось, что я никогда не видел никого из твоей родни? — запоздало удивился он.

— Ничего не потерял.

Они все стояли рядом, не касаясь друг друга.

— Так хочется закурить, — жалобно сказала женщина.

— Закури, — предложил равнодушно мужчина.

— Я бросила не для того, чтобы снова начинать.

Она говорила явно с более широким значением: медленно, с паузами, с нажимом на каждом слове. Но именно это привело к обратному результату: Тоня ожила в его воображении — прекрасная, как сказка детства. Он слышал голос ее, ощущал ласку ее...

— Расскажи мне *о ней*, — прошептала Алина вдруг, проникнувшись сочувствием. — Расскажи, Левушка, о любви своей ... О душе своей ... Я пойму ... И тебе станет легче...

Он содрогнулся: то словно сама Россия, прощаясь, пригласила к исповеди заблудшего сына, вообразившего себя пасынком. А разве не пасынком был он, думавший и чувствовавший по-русски, разве взаимной была любовь его к великой отчизне? Разве не читал он газет, разве не слышал разговоров? Разве не потерял надежду на лучшее?

Он думал горестно:

— *Россия, любимая ... Если бы знала ты всю силу тоски расставания с тобою, такой родной, неповторимой и незаменимой! Это так же страшно, как безвозвратно потерять Тоню...*

— Извини, я не навязываюсь, не хочешь — не говори, — услышал голос фиктивной супруги.

Алина все еще ждет? Рассказать ей? О том, что так дорого и свято? Ей, предававшей его?.. Ей, матери его сына...

Медленно, то и дело останавливаясь в раздумье, по-новому оценивая многое, Самойлов начал горькое повествование...

Уже почти светало, когда он произнес бесцветно:

— Теперь ты и в самом деле знаешь все.

— Да, ты любишь ее, — с болью протянула жена. — Ты всегда будешь любить ее ... Пауза.

— А мог бы любить меня, — продолжала она. — В наших судьбах *с той* ... кое-что схоже. Но мне не так повезло в начале жизни...

Он слушал с невольным зародившимся интересом

— В нашем селе была только неполная средняя школа, а ее закончила с похвальной грамотой. В семье нас было четверо детей, я — самая старшая.

Отец пил, гулял, мама едва могла нас прокормить, одежды были ... сам понимаешь, как. Я помогала маме, поэтому она не хотела меня отпускать, но пожалела все же и отдала в школу-интернат, в райцентр. Уже через полгода мы так задолжали, что мне пришлось устроиться нянкой в семью врачей и перейти в школу рабочей молодежи.

— Нянкой? В семью? — он был искренне удивлен.

— Да, к их двухлетнему сынишке. И муж, и жена относились ко мне хорошо, но он стал проявлять иное внимание. Я стеснялась сказать жене — он постепенно шел все дальше. Однажды, когда она ночью дежурила, я стала его любовницей...

Так продолжалось до тех пор, пока в меня не влюбился мой одноклассник, славный мальчик, писавший милые стихи ... Он повесился, потому что я отказала ему в дружбе...

— Почему отказала? Любила хозяина?

— Нет, боялась. Потом боялась допросов. Уехала в Омск, к тетке, но и ее муж приставал. Тогда меня понесло в твой город ... Я нашла заочную школу рабочей молодежи, закончила ее. — На какие же средства ты жила? — насторожился он.

— Устроилась посуду мыть в столовой. Там ела бесплатно.
 — А жила где? — в нем нарастал запоздалый интерес.
 — В общежитии строительного треста: столовая была трестовская.

Задумала поступать на ин-яз: воспитатель общежития обнаружил у меня дар к языкам. Не поступила. Со второго раза — тоже.

Бросила столовую, пошла на стройку арматурщицей. Получила кучу рекомендаций. Как же — ударница, комсомолка-активистка, а главное — за меня просил инструктор горкома партии, бывший воспитатель общежития!

— Твой любовник? — догадался он.

— Не только. Это был мой друг. Он был очень неудачно женат, но у них росли трое мальчишек, и я не хотела им несчастья, — грустно ответила Алина. — А в институт на этот раз я бы и так поступила: недаром два года готовилась. Друга моего направили на ответственную работу в Воронеж, и из общежития меня тут же выселили: ушла со стройки — ищи себе жилье ... Для новичков и в институтской общаге мест не хватало. Вот и сняли мы, три первокурсницы, хатку. Нас обнаружили веселые люди, обеспеченные ... Помогали ... Вряд ли ты поймешь, ты всегда был у мамы под крылом...

— Ты ... сколько прошло сквозь тебя мужиков?

— Достаточно, — как бы и не обижаясь, произнесла она. — Но ни одного я не любила. Нравился секс. Нравилось выпить, закусить, потанцевать. Мне стали смешны мужчины: я изучала их, сравнивала, будто разные спектакли ставила. Одни из моих актеров были поинтереснее, другие — поскучнее, а иных ... иных я до себя не допускала. Иногда вдруг я начинала надеяться, что и ко мне придет любовь. Но она все не шла...

— К какой же категории ты отнесла меня? Он снова разволновался, вспомнив хибарку на окраине, свою свадьбу, роковую встречу с Гончаром, но пытался вернуть равнодушие.

— Мне казалось, что ты смешной и славный, но я и тебя поначалу не приняла всерьез, — призналась Алина.

— Не надо было за меня выходить: обоим нам теперь плохо.

— Я так хотела нормальной жизни! Можешь не верить, но я честно старалась ... старалась сделать, чтобы все было у нас хорошо. Особенно, когда поняла, что у меня будет ребенок. Еще бы немного ... Я уже привыкала к тебе, даже начинала любить...

Но мне казалось, что ты во мне ищешь не человека, а только ... то, что в постели ... Ты ведь не пытался понять меня ... И поэтому...

— А ты, ты пыталась меня понять? Каким образом? Где?

— Когда ты там так сильно полюбил другую ... Если бы ты знал, что творилось со мной ... я тебя узнала другого ... о ком и не догадывалась ... я и себя не узнавала...

— Жаль, что из-за нас Димка страдает...

— Нет, он не должен всю жизнь быть несчастным из-за того, что мы ... что я ... Подумай, Левушка, подумай, как сделать, чтобы хоть он был счастлив. Сыночек наш...

И ушла с балкона, рыдая.

А он долго еще стоял в раздумье.

В аэропорт Шереметьево-2 прибыли вовремя. На такси. Под охраной: машина с парнями Джона ни разу не отстала.

И вот позади остались долгое стояние в очереди, напряженное ожидание какого-либо подвоха, придирки таможенника, внезапно сменившиеся улыбкой и пожеланием счастья, накопление в каком-то унылом помещении и подъем по трапу.

Ночной рейс выполнял экипаж израильской авиакомпании «Эль-Аль». Стюардесса говорила на иврите и на английском,

Алина переводила. Димка ерзал, задавал вопросы, зевал и капризничал, Рива Соломоновна вдруг заплакала.

Зашумели двигатели, зажглось табло.

Молился старый еврей, только что радостно сообщивший, что пронес через таможеню сто долларов сверх положенной нормы. Что будет делать этот несчастный старик, который остался один на свете после смерти жены и гибели сына? Что ему дадут его считанные купюры?

Самолет взлетел мягко, шум моторов был слаб. Димка попросил книжку, просмотрел картинки, положил голову бабушке на колени, что-то спросил, но ответа уже не слышал.

— Уснули. И Дима, и мама.

Алина впервые назвала Риву Соломоновну мамой, и Леонид Геннадиевич вздрогнул.

Преыдущая бессонная ночь и поздний час сказались быстро: он вскоре погрузился в глубокий, но короткий сон.

Самойлов открыл глаза, посмотрел на часы. По времени уже пора было идти на посадку. И, действительно, команда застегнуть ремни последовала. За бортом тихо улыбалось раннее утро. Куда-то плыли в нежно-голубом небе белые облака.

Самолет приземлился так же плавно и уверенно, как взлетел далеко отсюда, в иной стране. Еще не верилось...

Выходили ошарашенно и неопределенно, жадно вокруг оглядываясь, переглядываясь, подталкивая заспанного Димку.

К удивлению Самойлова, их не повели в аэровокзал, а усадили на стулья около подмостков, на которых уже стояли четверо мужчин, непритязательно одетых и взбудораженных. Там же находилось несколько детей в возрасте девяти-десяти лет и аккордеонист, толстый и лысый человек с усталым взглядом.

Седой мужчина, представленный как агент Сохнута, говорил на иврите. Его речь переводил на русский язык кудрявый рыжеватый молодец с сильным акцентом приехавшего в Израиль в детстве.

Лев Самойлов узнал, что рейс оплачен аргентинским миллионером, желающим помочь братьям из России. Сердце дрогнуло.

Переводчик от имени прибывших поблагодарил стоявшего рядом с ним взволнованного сына богача. По-английски.

Тот понял, растроганно заговорил по-испански, второй переводчик, веселый брюнет, с его слов поздравили прибывших с возвращением на историческую родину. На превосходном русском.

И тогда запели дети. На иврите. Красивая мелодия казалась Самойлову знакомой, знакомо было и слово «*аллэ-луйа*», на иврите: хвалите Б-га.

Волнение охватило его, он увидел слезы на глазах матери, на глазах Алины, он понял, наконец, что он уже в стране своих далеких предков...

Он еще не знал того, что ждет его в ближайшем будущем.

Что деньги, полученные за жилье, исчезнут по пути из России в Израиль навсегда, ловко украденные *благодетелями*.

И придется брать в банке и машканту¹, и ссуду. И выплачивать, выплачивать нарастающий долг.

Что его обманет маклер, и придется с ним судиться; что корзина абсорбции растает со скоростью фантастической.

Что языковой барьер окажется не барьером, а глухой стеной, и это заставит его учить иврит днем и ночью, до головной боли.

Что следующие друг за другом неожиданности усилят напряженность души, но именно упорное преодоление трудностей поможет ему: перестанут мучить дневные воспоминания и ночные кошмары, Тоня станет как бы далеким дивным сном, а память о ней — тихой и ровной печалью.

Что, окончив улыпан, он не сможет найти работу по специальности и временно решится устроиться подсобником в супермаркете, но проработает там более двух долгих лет.

¹ Машканта — льготная ссуда на покупку квартиры, сразу же позволяющая проживание в ней.

Что когда он примирится с этим и перестанет искать инженерную должность, в праздник Рош-ашана, веселый и общительный сабра, с которым он познакомится в синагоге, заинтересуется его рассказом о былом, особенно о его былых изобретениях.

Что этот весельчак окажется серьезным предпринимателем, что с работы в его фирме начнется новая карьера Арье Шмуэли, Льва Самойлова, в Израиле и за его пределами.

Что былая тяга к телу Алины обратится в свою противоположность, жена станет нежеланной предельно, и в то же время у него легко возникнет и так же легко через год разорвется ни к чему не обязывающая связь с репатрианткой из Канады.

Что Алина после ряда безуспешных попыток вернуть его былую страсть и сделать фиктивный брак действительным оставит подготовку к гиюру, бросит опостылевший *никайон* и уедет с богатым стариком в Штаты, откуда пришет злобное письмо.

Что один из вновь прибывших, узнав в нем друга Джона, расскажет ему о трагической гибели Ивана Вершкова, расстрелянного в упор из автоматов вместе со своей охраной.

Что во время экскурсии по Иерусалаиму он увидит входящую в автобус с девочкой лет восьми Розу, едва успеет записать на ладони ее телефон и узнать, что она разведена.

Что они сблизятся, но новый брак долго не удастся оформить; что его сын и дочь Розы, ровесница Димки, возненавидят друг друга и даже собственных родителей, но после рождения малютки Орит оба нежно полюбят общую сестренку и подружатся навсегда.

Что трое детей через некоторое время станут называть Леву-Арье папой, а Розу-Шошану мамой. Что семья их будет крепнуть с рождением каждого нового ребенка.

Что Рива Соломоновна познакомится с Шимоном, выходцем из Польши, красивое, настойчивое и терпеливое

ухаживание которого вызовет у нее сочувствие и симпатию.

Что она станет женой и другом этого одинокого вдовца.

Что дети полюбят его, будут звать дедом. Что по его настоянию большая семья решится перепродать с некоторым убытком еще не оплаченную полностью квартиру и переехать в дом деда Шимона, надстроившего для этого второй этаж на своей вилле.

Не знал он и более отдаленных событий, радостных и печальных, смешных и грозных. Да и не мог он знать о них ничего: он не бросал гадальных карт, не ходил ни к ворожеям, ни к предсказателям.

И никогда не пойдет, никогда!

Еще в одном был уверен твердо: ни на миг не станет он клоуном, даже если его будут умолять об этом ... Он сидел на стуле перед подмостками в аэропорту имени Бен-Гуриона, его лицо ласкал теплеющий утренний ветерок.

Дети пели: «*аллэлуйа*»...

Красногорск, 1991 год — Рамат-ашарон, 1996 год



ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Повесть

Оглавление

Глава первая. ПРОБУЖДЕНИЕ

Результат восхищения. Тяжкое воспоминание. Трудные дни. Сон и явь. Противное — не забавно. Люди в вагоне. «Папа за печкой». Обиды. Телячьи нежности. Подслушанное.

Глава вторая. БЕССАРАБКА

Смешной мудрец. Вор-генерал. «Мир фа дир». Священнодействие. Трагедия дяди Симхи. Тяжелое обвинение. Человек с усами. Летящие часы. Молчание Гинды. Дважды вдова. Загадочная Фира.

Глава третья. ПУТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Часть первая. Радости и муки первоклассника

Левша. Суровые меры. Сокровища. Нераспознанное призвание. Жалкие попытки. Сумасшедшая. Храбрый Люсик. Новое сокровище. Непонятное пение. Смерть Русалки. Машины песни. Язык твой...

Глава третья. ПУТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Часть вторая. Открытия

Опасные начинания. Прерванный полет. Жид пархатый. Самоубийца. Сын проститутки. Украденные часы. Любимый Чарли. Первый тайм. Жалкие попытки. Прогулки по мостовой. Мучительная болезнь.

Глава четвертая. АЛУПКА

Свидание со сказкой. Снова язык ... Внук миллионера. Море. Неизбежные поединки. Стахановец, он же Лентяй. Волшебство. Грязь на хрустале. Пионерский лагерь.

Глава пятая. УСЛОЖНЕНИЕ ЖИЗНИ

Пятый класс. Елена и Эвгена. Пипин Короткий. Не наука, а искусство. Зов сцены. Песни звездного неба. Дворец. Вожак. Неудавшийся солист.

Глава шестая. УДИВИТЕЛЬНЫЕ СОСЕДИ

Тайна того сна. Пустые щи. Желанная Дэзи. Чудесное спасение. Веселые люди. Гости.

Глава седьмая. СОБЫТИЯ ТРАГИЧЕСКИЕ

Финская кампания. В гостях у деда. Выдернутый стул. Спасение утопающего. Муки совести. Стрельба. Неудавшееся самоубийство. Убийство. Выродок и паразит. Рыдания. Бар-мицва.

Глава восьмая. ВРАГИ НАРОДА

Сталинская забота. Враги. «Сосо и Кеке». Брат Павлика Морозова. Враги евреев. Грозная карта Европы.

Глава девятая. САМОВЫРАЖЕНИЕ

Семиклассники. Не врач, а кузнец! Преодоление. Испытание электротоком. Оттенки смеха. Волшебные зеркала. Кино. Из глубин Вселенной. Репетитор-самозванец. Одинокий волк. Рукотворные чудеса.

Глава десятая. ИЗГНАНИЕ

Ошибка Евы. Вредные привычки. Опозорившийся партнер. Хихикающая отличница. Любвеобильная Алина. Падение Танечки. Любимая Тамара. Исключение из школы. Прощание навсегда. Пуца-Водица. Война. Суламифь в бункере. Бегство.

Глава первая

ПРОБУЖДЕНИЕ

Результат восхищения. Тяжкое воспоминание. Трудные дни. Сон и явь. Противное — не забавно. Люди в вагоне. «Папа за печкой». Обиды. Телячьи нежности. Подслушанное.

Результат восхищения

Тощий студент-медик Яков Гордон снял угол в квартире впавших в нужду Гликманов. По мнению их дочери Евы, окончившей в свое время лишь шесть классов гимназии, это был человек невероятно образованный.

— Он прочел Танах и Талмуд, все труды наших мудрецов, — восторженно сообщила она подругам. — Он учится на последнем курсе в медицинском институте и ходит на лекции естественных наук. Он знает десять языков и еще эсперанто.

— Ну и что? — пожала плечами одна из девушек. — Он старше тебя на десять лет, ему уже тридцать три.

— Это неважно, я за него замуж не собираюсь.

— Ты влюблена в него, дорогая, вот и все.

Ева не на шутку рассердилась, ушла. Она была уверена в том, что вовсе не любит Якова, а просто уважает его, и при этом — жалеет немного, ибо при всей своей учености он вечно голоден, а зарабатывает на жизнь репетиторством

в богатых семьях нэпманов. Ее восхищение усилили беседы квартиранта.

— Яков, что такое атом? — спросил как-то брат Евы, тринадцатилетний Симха.

— Это, друг мой, величайшая загадка.

Студент оживился.

— Великий физик Альберт Эйнштейн, между прочим, еврей, открыл теорию относительности ... Но начнем по порядку: еще в глубокой древности философы догадывались, что все в мире состоит из невидимых глазом частиц. Их называли атомы, что по-гречески значит «неделимые»...

Когда Яков дошел до Ньютона и его корпускулярной гипотезы природы света, то заметил, что слушатели устали.

— Хватит на сегодня, — нахмурился просветитель.

Они же были в восторге от его рассказа, и уже через день упростили продолжить. И он то и дело в свободную минуту сообщал Еве, ее сестре Мане и любознательному Симхе о новых научных открытиях, о необъятности тайн Вселенной.

И Маня, и Симха обожали «профессора», а уж Ева ... Поэтому, когда квартирант попросил у родителей ее руки, девушка не поверила, даже сочла это издевкой и потребовала от них, чтобы ехидный жилец съехал немедленно с квартиры.

Он же, побывавший и в бунде, и в РСДРП, возглавлявший на юге отчаянный отряд еврейской самообороны, он, выполнявший сверхсекретные задания партии левых эсеров на Волге, а затем разуверившийся почти во всем, кроме науки, был пленен именно ее скромностью, наивностью и преданностью близким.

И не менее — ее славной, чуть полноватой, фигуркой.

Недоразумение выяснилось и закончилось браком по любви.

— За кого ты выходишь? — вопрошали во дворе соседи трагическим криком. — Он же долго не протянет!

*****Здесь, видимо, был текст на иврите. К сожалению, его видно не было.*****

Окончив институт, Гордон был направлен в Федоровку.

— Ева, ты можешь побыть с родителями пока, — тихо предложил Яков, — в деревне так трудно. Здесь у тебя папа с мамой, здесь нормальный унитаз со сливным бачком, центральное отопление. Там надо топить печь, ходить на речку по воду, там грязь осенью по колено. И там неспокойно: банды.

— Я все это знаю, — рассердилась молодая женщина. — Ты другое скажи: я жена тебе или нет?

— Жена, конечно, жена! Поэтому я и боюсь за тебя. Пойми это!

— А я боюсь за тебя. Я должна быть рядом всегда. И буду! Всегда! Понимаешь?

Тяжкое воспоминание

Он обнял ее, такую маленькую и такую смелую. С болью вспомнил своих родителей.

Отец Якова был раввином в маленьком местечке, отличался крайней честностью и непримиримостью ко всякой несправедливости. Возможно, именно поэтому семья была нищая. Если бы не трудолюбие и деловитость жены раввина, то и дети, и сами родители могли бы умереть от голода.

После бар-мицва Яков исчез, а через месяц пришло письмо с объяснением причины: «Я ушел из дому, чтобы не быть лишним ртом! Простите меня!»

Скитаясь по огромной России, репетиторствуя, а то и выполняя черную работу, он все время жадно тянулся к знаниям, используя любую возможность, много читал — и сумел сдать экстерном экзамены за курс классической гимназии.

Идеи социализма и интернационализма увлекли юношу, он вступил в тайный кружок. Вскоре последовали арест и ссылка, где встретил он и февраль, и октябрь семнадцатого года. Затем — Гражданская война. И — сыпной тиф.

В марте тысяча девятьсот двадцатого года Яков объявился в родном местечке — и узнал о страшной гибели родителей. Она случилась незадолго до его возвращения.

— Эй, ты, жид! Где живет раввин? — спросил прохожего командир отряда бандитов в буденновках, въехавшего в Кошеватое.

Старый еврей повел всадников, причитая пронзительно на идиш. Отец Якова услышал вопли, побледнел, загнал под койку младшую дочь, пятилетнюю Фирочку, не понимавшую, что происходит.

— Не издавай ни звука, а то тебя убьют! — прошептал раввин. — Пришли страшные звери!

Она все молчала и молчала, слыша предсмертные крики родителей, а кровь зарубленных все текла и текла к ней...

Не только Якова, но и двух других его сестер в это время, к их счастью, дома не оказалось. Тяжким кошмаром вошло в их сознание то, что рассказала им малышка. После смерти родителей она заикалась.

— Моего отца, сельского учителя, убили белые, — говорил и писал в анкетах Яков Исаакович Гордон.

Трудные дни

Жизнь в Федоровке оказалась еще труднее, чем молодожены предполагали, но они были вместе. Ободряли друг друга.

— Докторова жинка усэ у хати робыть, добра жинка, — говорили селяне о Еве.

Ей, действительно, пришлось сразу же взвалить на себя все хозяйственные заботы: единственный врач едва успевал справляться, он и ночью выезжал на срочные вызовы.

Беременность протекала трудно. Ева отяжелела, мучилась одышкой: сказывалась болезнь сердца. Опасаясь внезапного ухудшения, Яков отправил жену в Киев: поближе к родителям, к врачам-специалистам. Перед ее родами и сам взял отпуск.

В квартире Гликманов его встретила паника.

— Ой, ой, горе мне, горе, — причитала теща, — если бы ты приехал раньше, может, ничего и не случилось бы! Ой, горе!

Муж узнал, что накануне, переходя дорогу, Ева была сбита автомобилем. Из травматологии через день ее перевели в родильное отделение.

— Коллега, я должен сказать вам правду, — заявил Якову профессор, — строение таза вашей жены внушает тревогу: возможно, придется делать кесарево сечение, возможно, будет необходимо наложить щипцы на головку ребенка. Плюс травма и плюс грипп. Да, коллега, у нее тяжелый грипп. Почти никакой надежды.

— Я хочу присутствовать при родах. Они должны жить. Оба: и жена, и ребенок. У меня будет сын.

Он не ошибся. Но если бы мог знать счастливый отец, какое роковое влияние окажет это крохотное существо на его судьбу! Как много тяжелых испытаний перенесет сам этот сын!

Арик был принят с помощью щипцов. Вмятины от их зубьев навсегда застынут в его черепе, скажутся на его нервах, на его мироощущении. На характере. На судьбе. Но он прибыл в мир людей.

Он прибыл в этот мир с предельно высокой температурой, и около двух недель врачи сомневались в том, что он вообще сможет выжить. Яков в те дни почти не спал, был рядом с женой.

— Тебе больше нельзя будет рожать, мой друг, — сказал муж Еве, — нам надо всеми силами беречь бедного малютку.

Сон и явь

Первые осознанные и оставшиеся в памяти впечатления пятилетнего Арика Гордона были в основном тяжелыми.

... Огромная курица грозно и очень громко кудахчет. Крошка-Арик, вошедший в курятник, цепенеет.

Это чудовище долго еще снилось ему, хотя живые куры продолжали все явственнее уменьшаться.

... Свинья за ним гонится и приговаривает:

— Пип-дьяк, пип-дьяк.

Он чувствует, что она его настигла — и тут он открывает глаза. Какое счастье: опять удалось вовремя пробудиться!

— «Пип» — это по-украински «поп», а «дьяк» — это его помощник, — объяснил сыну Яков. — Не бойся: ты же мужчина. Мужчины ничего не боятся.

... Ночь. Он лежит в кухне на раскладушке. Сосет кусочек сахара. Появляется из-за печи крошечный человечек в колпаке и просит, при этом почему-то не разжимая веселых губ:

— Отдай сахар.

Арик немеет от страха. Цепенеет.

Что-то делает рукой человечек — сахар изо рта исчезает. Исчезает и гость. За печью.

Позднее Аарон решит, что это был сон, навеянный сказкой о домовом или о гномах.

... Запах снега и конского навоза. Скользко убегающая назад снежная дорога. Он знает, что ему уже четыре с половиной года. Он — в санях. Рядом — добрый их сосед,

которого зовут дядька Митро. До чего же хорошо! Как радостно ему!

Но вдруг сбоку возникает какое-то мрачное, серо-черное, длинное сооружение. Не то жилье, не то сарай.

— Що цэ таке? — спрашивает Арик с затаенным страхом.

— То ж коммуна, — мрачно отвечает Митро.

Приходилось и раньше слышать это слово, но его значения мальчик не знал. А когда позднее узнает, вид сарая без окон и дверей, видимо, коровника, так и останется неуничтожимым образом коммуны.

... Арика подбрасывают и ловят, смеясь, две девушки. Это мамина сестра Маня и ее подруга. Они красивые. Они крепкие, здоровые. И веселые! Почему же так хочется плакать?

... Много взрослых. Арик стоит на табуретке и что-то, к этому случаю выученное, декламирует. Аплодисменты. Но он не верит в их искренность. Он недоволен тем, что его заставили читать стихи: гостям они не нужны. Почему он знает это?

... Луна над головами. Все идут куда-то вдоль тропы. Арик едет на чьем-то загорбке, смотрит вверх и лепечет:

— Луна, луна, ты, кажется, пьяна.

Смех взрослых. Почему им смешно? Ведь стихи — глупые. Почему?

... Он сытно поел и вышел на крыльцо. Крохотный худенький мальчик, который еще меньше ростом, чем Арик, разбивает на крыльце камнем вишневую косточку.

— Шо ты тут робыш? — грозно вопрошает Арик.

— Каминчики им, — тоненько, жалобно отвечает тот.

Арик вдруг видит и слышит происходящее как бы со стороны, словно отделился его дух от тела. И становится сам себе гадок и омерзителен. Ему стыдно. Он убегает, горько плача, в дом. Умоляет накормить несчастного.

Этот случай оставил неизгладимый след в душе пятилетнего ребенка, заставил впервые почувствовать хруп-

кость мира, ненадежность сиюминутного благополучия — и некую несправедливость, к которой причастен и он: потому что сыт и согрет.

Когда станет не так опасно говорить об ужасах коллективизации, отец расскажет ему, что на Украине многие люди умирали от голода, а врачи обязаны были письменно указывать любую причину смерти, но только не эту. Жуткую.

— При социализме не умирают от голода.

И Аарон Яковлевич Гордон при словах отца снова вспомнит жалобный голосок того мальчика.

— Выжил ли он? — подумает горько.

Между тем, сам Арик рос очень хилым, болезненным и чаще печальным, чем веселым. Врачи, в том числе и профессор, которым его показывали, давали мрачные прогнозы.

Тогда Яков сам взялся за его лечение: были отменены все ограничения, все диеты, все лекарства, кроме рыбьего жира; мальчик начал пить парное молоко; ему было разрешено бегать целый день с деревенскими мальчишками. Его перестали кутать.

Ева вдруг возмутилась, засомневалась и с неожиданной для мужа яростью угрожающе подняла сжатые кулаки к его лицу:

— Если ребенок погибнет, я убью тебя.

— А если ты будешь делать все так, как я требую, он будет жить, — уверенно ответил муж и спокойно улыбнулся, понимая внезапное ожесточение жены.

О его врачебном таланте в округе ходили легенды. Ева, работавшая с ним сначала санитаркой, а после курсов — медсестрой, восхищалась мужем и вскоре тоже захотела быть врачом.

Узнав о том, что ей как медицинскому работнику можно начать обучение заочно, она поступила в медицинский институт.

Яков помогал ей овладевать наукой. И ее уважение к мужу еще более возросло: его уроки были не хуже лекций в вузе.

Но сын их все еще оставался слабеньким, все еще болел часто и тяжело. Правда, реже, чем раньше.

Противное — не забавно

Ему было уже шесть лет, когда к ним приехали на праздник многочисленные гости.

— Ты помнишь, как тебя проверяли на дисциплинированность? — спросил один из них, самодовольный и жирный.

— Нет, — ответил Арик, возясь с детским конструктором, недавно привезенным отцом из Киева.

— Ну да, ты был совсем малыш. Поставили мы на пол сахарницу с конфетами, приказали тебе не трогать

их, а сами спрятались и наблюдали, как ты ходил вокруг сахарницы и смотрел на лакомство. Но не брал! Это было так забавно! Так забавно! Ха-ха-ха!

Все тоже засмеялись.

Арику стало неприятно: он увидел малыша, ходящего вокруг сахарницы. Вспомнил тонкий голосок другого мальчика:

— Каминчики им.

Еще противнее стало, когда гости с восторгом вспоминали, каким он был храбрым, как он, трехлетний, якобы брал у конюха кнут и кричал на больших соседских ребят:

— А ну, хлопцы, геть звидси.

Подумал сердито:

— Конюх, видно, меня научил — и я кричал.

Он покраснел, мысли болезненно встревожили:

— Почему эти взрослые так веселятся? Ничего смешного! Кричал на мальчишек. Ну и что? Почему ни папа, ни

мама не скажут об этом? Ведь папа и мама — совсем не такие, как эти: они хорошие, очень хорошие! Почему папа и мама не чувствуют, как сдавило сердце?

И вдруг ужаснулся:

— Неужели и я стану смеяться над грустным, как эти? Или, может быть, буду еще хуже? Я не хочу быть таким! Я хочу быть хорошим!

Ему суждено будет стать чрезвычайно противоречивым человеком, ибо наследственность и влияние среды причудливо будут воздействовать на подаренную ему нежную душу. Одна лишь совесть останется той же: суровой, бичующей, ведущей с ним не слышимый другим людям и даже скрываемый от них разговор.

Люди в вагоне

Многое изменилось, когда Гордоны переехали в Фастов. Здесь люди в основном говорили по-русски, и Арик тоже овладел русским языком. Он даже не заметил, как это произошло. Родители иногда переходили на идиш: не хотели, чтобы сын понял. Это мальчику не нравилось, пытался разгадать смысл по жестам, по интонации. Удавалось. Но скрывал это.

Фастов — крупная железнодорожная станция, где останавливались на короткое время пассажирские поезда. Гордоны жили у самой железной дороги. Арик подходил к вагонам. За их окнами стояли таинственные люди, что-то неслышимое говорили друг другу. Некоторые махали ему рукой, улыбались.

— Кто вы, куда и зачем едете? — хотелось спросить.

И он пытался придумать что-то об этих незнакомых. Бродил между путями. Пролезал, замирая от чувства опасности, под вагонами. Однажды поезд двинулся, и он едва успел изпод колес выкатиться. Долго дрожали ноги и руки.

Всю жизнь будет так: после избавления от смертельной опасности, потребовавшей мобилизации всех сил ума и воли, у него будет появляться неумная долгая дрожь в пальцах, а лицо останется мертвенно-бледным еще дольше.

— Нервы паршивые, — скажет невропатолог Аарону через двадцать лет, — вся психика ни к черту. Меня вы не обманете. И стенокардия ваша — от нервов. Да-да! Я потребую, чтобы вас немедленно освободили от административных обязанностей. А уж о направлении в военную академию — извините!

Иногда мальчик уходил в центр Фастова, где встречал разных людей. Если кто-то поражал своим видом его воображение, он придумывал что-то о нем. Как бы книгу читал о человеке. Но никому не рассказывал сочиненное, потом — и сам забывал.

Однажды исполнил запретное желание: живо взобравшись на площадку товарного вагона, маневрировал вместе с ним, пока не прогнали. Но ему понравилось, и он продолжал ездить на маневрирующих составах. И полюбил запах шпал. И захотел стать машинистом паровоза. Сказал об этом Якову.

— Уж лучше тогда окончить институт и стать инженером-механиком, который делает паровозы, — засмеялся отец.

Почему-то Арику показалось, что инженер-механик обязательно должен быть человеком черным, толстым, с красным лицом: как паровоз спереди. Нет, не будет он таким, не хочет!

Рядом с их домом был большой сад, где росли груши. Дети ели падалицы. Ел и Арик, хотя родители строго запрещали:

— Там грязь, микробы, можно заболеть. Тебе же дали прочитать книжечку про микробов? Ты же знаешь, как они опасны!

Да, он умел читать. Еще в деревне отец обучил его чтению. «Дети подземелья» растрогали малыша до слез. А вот микробы — не испугали.

Читал мальчик в Фастове жадно, все подряд, не понимая и четверти прочитанного, не запоминая почти ничего. Особенно нравился журнал «Огонек».

Встретилось как-то слово «шишига», почему-то стало страшно от него, а ночью приснился шагающий мужчина, произносящий шепеляво в такт шагам:

— Я шишига, я шишига, я шишига...

Человек при этом все шел и шел по лестнице вниз, а сама лестница как ни в чем не бывало висела в воздухе.

«Папа за печкой»

Кто-то пришел к отцу, а он спрятался за печью и сказал:

— Меня нет дома.

Арик знал от родителей: лгать нельзя! И поправил дело:

— Проходите, папа дома, он прячется за печкой.

Образ папы, такого милого и доброго, такого умного и славного, потускнел. Все вспоминалось и вспоминалось после этого случая, как большой взрослый человек скрывался, будто в прятки играл. Некрасиво и даже смешно получилось!

— А ведь я тогда предал папу ... — через месяц вдруг понял Арик и ужаснулся.

Вина давила душу. Затошнило, кричать хотелось и что-то ломать. И даже головой об стенку биться.

— Зачем же он сам учил меня всегда говорить правду?! Зачем?!

Аарон Гордон редко будет лгать: либо в опасной ситуации, либо из крайней жалости к кому-то. Солгав же, всегда будет себя чувствовать отвратительно. Будто в грязи вывалялся.

Обиды

Летом Ева привела сына в детский санаторий. Но он в первый день ни за что не хотел там остаться и долго плакал.

— Плакса, плакса! Плакса-вакса! — радостно кричали дети.

Он привык к санаторию, не плакал. Кличка же прилипла. Тихий и робкий мальчик накапливал раздражение — и однажды, взыв, полез в драку сразу с двумя дразнильщиками, да так яростно, что и они удивились, и сам он — не меньше.

Воспитатели с трудом заставили их сцепить мизинцы и помириться:

— В мире, в мире навсегда, кто поссорится, тот — балда.

Но появилось и нечто более обидное. Стоило Арику провиниться посильнее — и Ева требовала, чтобы он *после* отцовской порки ремнем и обидных слов его еще и извинялся, чтобы просил прощения за свой проступок.

Мальчик болезненно переживал порку. Не боль мучила его: она была не такой уж сильной. Обида была сильнее той боли: почему любимый отец так делает? Он же не нарочно уронил злополучную чашку! Покрутил ее, а она вырвалась — и упала.

Сам же папа побил Арика — и еще теперь перед ним извиняться? Это нечестно. Хватит и порки!

Упирался, не подходил к отцу. Потом, видя страдающее лицо Евы, сдавался. Замечал, как бледен Яков. Жалел его.

— Папа, прости: я больше не буду, — говорил сын обескураженно и укоризненно, усиливая боль старшего Гордона.

Отец переживал свое бессилие: он выпорол сына лишь потому, что не знал, как добиться, чтобы тот осознал вину, чтобы не повторял проступка. Чувствовал: порка лишь ослабляет духовную связь с ребенком, да и с женой, возможно, тоже.

Но не представлял себе, как сильна обида Арика. Какая деформация происходит в душе его от несправедливости двойного оскорбительного наказания. Как выльется это в противоречивость поступков сына: то благородных, то скверных, а подчас и жестоких. Как трудна будет борьба с самим собой, не подкрепленная силой привычной и уверенной нравственной воли.

Телячьи нежности

— Терпеть не могу телячьи нежности, — говаривал Яков, считавший необходимым воспитать сына готовым перенести суровость реальной жизни. Боялся сделать его хлюпиком.

Арик жаждал быть обласканным. Но после таких слов отца, естественно, стыдился сказать об этом, проявить это. Между тем, подавленная жажда ласки душила его, замыкала в себе, превращалась в нечто темное, чему еще не было имени.

Мальчик почувствовал это с силой необыкновенной, когда однажды оказался вместе с отцом в гостях у знакомых.

Не жри там, будто ты из голодного края, — предупредил Яков старательно причесывающегося сына.

Чревоугодие всегда вызывало у старшего Гордона ярость. Гликманы же поесть любили, ели много и с наслаждением. И Арик не понимал отцовской воздержанности: он тоже любил есть много и вкусно, хотя после обильного обеда его нередко мучила изжога.

— Для того и в гости ходят, чтобы вкусно поесть, — хотел он возразить отцу. — Есть, а не *жрать*. Жрут свиньи. Люди — *едят*.

Мальчика посадили за пиршественный стол рядом с красивой ровесницей. И стало ему не до угощений: малей-

шее случайное прикосновение к соседке вздымало кровь, гулко стучало сердце, срывалось дыхание. Нечто страшное, но вместе с тем сладко волнующее, овладело им. Вспомнил: «телячьи нежности» ... Так вот почему они вредны...

Он ерзал, краснел, ему стало душно. Захотелось убежать отсюда.

— Что со мной? — едва не рыдал он.

Взрослые заметили его смущение, обсуждали, громко смеялись. Они не придавали значения той буре, что разбушевалась в душе и в теле мальчика. И тут подоспела икота: он ничем не мог унять ее.

Теперь все покатывались от хохота, девочка — тоже. Ему дали выпить воды — и икота унялась.

Дома он, вспоминая свой *позор*, смеялся над собой, но снова краснел и досадовал.

— Почему все же папа не любит «телячьих нежностей?» — еще и еще изумлялся Арик. — Ведь это всем, всем приятно. Если над тобой не смеются...

Ни разу не поцеловал его отец. Не гладил по голове, не обнимал. И не довелось сыну увидеть, чтобы приласкал Яков Еву: интимное тщательно скрывалось. Мальчик же считал, что и маме тяжела такая сдержанность. Вдыхал огорченно:

— Ничего не поделаешь, надо быть *настоящим мужчиной*. Но это так тяжело!

Подслушанное

Однажды ночью он услышал тихий разговор:

— ... не оставалось ничего другого. Я был вынужден спрятаться в этой массе еще живой рыбы. Ты представляешь? И тут сторожевой катер причалил к баркасу. Шел обыск, я уже видел себя на допросе, чувствовал боль от пыток. Это все тянулось, а я больше всего опасался каш-

лянуть, чихнуть. Тут один из них пару раз ткнул штыком в рыбу. Потом...

Арик уснул, а утром попросил отца:

— Пап, а пап, расскажи мне, что маме ночью рассказывал!

После секундной паузы Яков улыбнулся и почти спокойно возразил сыну:

— Ночью я спал, и ты спал. Тебе приснилось. Это бывает. Ты вспомнил свой сон. И забудь его.

Мальчик старался забыть то, что слышал, но сделать этого не смог: нет-нет да и вспоминалось что-то о баркасе, рыбе — и странном поведении папы.

— Бандит ты, бандит! — крик Якова разбудил сына.

— Папа, почему ты кричишь? — спросил он проснувшегося отца.

— Так, ерунда какая-то приснилась, — хмуро ответил тот.

Многое от Арика скрывалось: он был болтлив, легко мог проговориться — и плохо пришлось бы всем.

Отцовские поучения были редки и невероятно кратки, но сказанное отцом по какому-либо поводу запоминалось сыном надолго:

— Бойся сладеньких!

— Не понять богатому бедного.

— Помоги любому, если ты в силах!

— Язык твой — враг твой.

— Слепая любовь — хуже ненависти.

Яков Гордон вообще не любил высоких слов, он предпочитал верить только делам. Арика же, как и Еву, легко было обмануть хорошими и красивыми словами. И так будет всегда.

Сын чувствовал, что Яков — человек сложный, необычный, что мать, наоборот, — обычная. Зато более понятная, близкая.

— Папа, давай поговорим о жизни, — хотелось ему не раз сказать.

Арик жаждал поделиться мыслями, которые мучат! Но он боялся. Чего? Непонимания? Осуждения? Отчуждения? Не знал и сам. И — не делился.

Удивительно: Яков тоже ждал от сына откровенных признаний, чтобы помочь ему в жизненных затруднениях, — и тоже боялся чего-то, не начинал первый. Чего же боялся взрослый? Выпустить джинна из сосуда? Или разочароваться в сыне: увидеть в нем только Гликмана, но не Гордона?

Придет время — и Аарон будет, не страшась откровенности, беседовать с детьми своими о жизни, о любви и счастье. Позволит им его самого обсуждать.

— Твой папа вообще не подходил к тебе, пока ты не начал разговаривать, — сказала как-то Арику мать.

Сказала без осуждения. Скорее даже с восхищением. Арик подумал, что и в самом деле нет ничего приятного в том: он не раз слышал, как надсаживаются *бестолковые младенцы*. Этот крик оглушал.

— Все же папа должен был подходить ко мне и до того, как я начал разговаривать. До того, — покалывала мысль. — Да и сейчас подошел бы и помог разобраться!



Глава вторая

БЕССАРАБКА

Смешной мудрец. Вор-генерал. «Мир фа дир». Священнодействие. Трагедия дяди Симхи. Тяжелое обвинение. Человек с усами. Летающие часы. Молчание Гинды. Дважды вдова. Загадочная Фира.

Смешной мудрец

Еве нужно было продолжать учебу на стационаре, Арику нужна была столичная школа. Да и сам Яков уже подумывал о научной работе, о серьезной клинике, где он мог бы совершенствоваться как врач. Он подал заявление — и был принят.

— Переезжаем в Киев, — объявил глава семейства.

Квартира деда Даниила, где они поселились, была на первом этаже. Старый дом просел, врос в землю — и окна квартиры позволяли даже маленькому ребенку заглянуть в них со двора, не становясь на цыпочки. Потому на окнах висели плотные занавески.

Из входной двери сразу же вы попадали в длинный темный коридор, в конце внезапно расширявшийся и превращавшийся в такую же темную, без окон, и сырую кухню. Причиной темноты и сырости было расположение дома, задняя стена которого на всю свою трехэтажную высоту примыкала к торцу срезанного холма.

Справа в коридоре были двери в комнаты. Одна из них вела в комнату соседей, Фроима-Бера и Бейлы. Когда-то и эту комнату занимали Гликманы.

Тощий Фроим-Бер то и дело заходил с судорожным кашлем.

— Почему он так страшно кашляет? — спросил Арик.

Взрослые переглянулись.

— Потому что курит, — объяснили мальчику.

Позже он узнал, что Фроим, которого во дворе звали кто Фройкой, а кто — Федором, кашляет из-за туберкулеза, что долго ему не прожить, и ужас охватил мальчика. Он жалел этого высокого и грустного человека, который работал токарем на каком-то заводе. Спросил Якова:

— Как вылечить Фроима, папа? Ты знаешь?

Тяжело помолчав, отец сказал:

— Видишь ли, ему нужно пожить годик на хорошем курорте. И курить бросить. Но вообще туберкулез пока еще основательно лечить не научились.

— Я стану врачом и обязательно научусь.

— Для начала постарайся учиться в школе, как следует.

Кто знает, как сложилось бы дальнейшее образование его сына, вся судьба его, если бы Яков прямо сказал ему, что хочет и его видеть врачом. Что поможет ему овладеть этим *искусством*. Что выбрать профессию — самый главный выбор!

Но Гордон-старший не хотел оказывать *давления*: помнил, что его самого прочили в раввины, что он не желал этого и даже ушел из дома во имя свободы своего выбора.

Следующая дверь вела в большую проходную комнату-столовую, из которой можно было попасть в малую комнату-спальню.

В столовой жили дед Даниил и бабушка Эстер, тетя Маня и дядя Симха, а в маленькой спальне — Яков, Ева и Арик.

Даниил Давидович Гликман был небольшого роста и почти кубического телосложения, очень сильный и невероятно добрый семидесятилетний старик. Дядя Симха и

тетя Маня были в него: крепкие, сильные. Ева была такого же роста, полная, но тонкокостная, в бабушку Эстер.

Борода деда, которую он все время приглаживал, и густые усы, которые он частенько расправлял, были совершенно белыми. Общался он с внуком, не знавшим идиш, по-украински.

Даниил был глуховат, поэтому говорил громко. При всей своей лучезарной доброте оказался довольно вспыльчив, во гневе — яростно криклив, а распаясь, мог и стукнуть. Правда, после вспышки быстро остывал и становился еще добрее.

Арика забавляло, как поутру дед надевает на голову черную ермолку и черный кубик, на одну руку — такой же кубик, накинув на плечи бело-полосатый *талес*. Как наматывает на руку черный шнурок, при этом необыкновенно быстро бормочет и распевает на незнакомом языке, целуя *тфилин* и *цицит*, кисти талеса, — молится.

Несколько раз внук пытался наставить деда Даниила на путь безбожия, но безуспешно. Впрочем, и тот не вел с ним бесед на религиозные темы. Только улыбался укоризненно.

Дед все еще работал. Вставал очень рано, приговаривая:

— Кто рано встает, тому Б-г дае.

Его должность мастера на яично-птичном комбинате казалась мальчику ненужной: куры и без мастера несутся. Название «яично-птичный» сместило почемуто.

Дед приносил бракованные яйца, большей частью они были съедобны. Попадались и тухлые. Их запах не раз напоминает потом Аарону Бессарабку.

Если кто-то в семье расстраивался, пригорюнивался, Даниил сердито советовал на идиш, а Арику — на украинском:

— Ты дывысь нэ туды, дэ кращэ, а туды, дэ гиршэ.

По субботам к нему приходило несколько старых евреев, они беседовали на непонятном молитвенном языке о чем-то.

— Это иврит, язык наших праотцев, — объяснил Яков сыну.

И в голосе его звучало непривычное волнение.

— Папа, ты понимаешь, о чем сейчас говорят наши праотцы? Ты знаешь их язык?

— Это не праотцы. Праотцы наши — Авраам, Ицхак и Яков.

— Ты — Яков. Значит, ты — и папа, и наш праотец?

— Не придуривайся. Спроси деда, он расскажет о праотцах.

Даниил открыл библию, где был текст и на русском, и на еврейском. Дед велел читать с самого начала.

— Библию выдумали попы, — вскоре объявил заскучавший Арик, — так в школе сказали. Поэтому я не стану ее читать.

Яков считал Гликмана простофилей, говаривал, изборажая беседу в лицах:

— Даниил Давидович, вы замечательный человек.

— На тебе рубль.

— Лучше вас никого нет в Киеве!

— На тебе два рубля. Или хочешь три?

Арик смеялся. Он любил простоватого, но доброго деда, знал, что его вся Бессарабка уважает, что его пропускают в очередях, встречая веселым шумом. Но терялось от отцовских бесед уважение к нему.

Незаметно вместе с уходом почтительности к Даниилу что-то очень важное ослабевало и в отношении к отцу в душе Арика. Что-то хрупкое и очень, очень нужное. Возможно, то был некий идеал.

Вор-генерал

— Попроси дедушку рассказать, как он поймал генерала, — посоветовала как-то тетя Маня, когда семья уселась обедать.

Дед расцвел. Рассказывал то на идиш, то на украинском забавную, но тревожную историю.

Однажды еще до революции хозяин, доверявший Даниилу, как самому себе, послал его куда-то с огромной суммой наличных денег. Войдя в трамвай, дед обнаружил, что деньги исчезли. В отчаянии вцепился в стоявшего рядом красавца-генерала и завопил:

— Отдай гроши!

Вцепился, как бульдог: не смогли оторвать. Появившийся городской тоже не смог расцепить Даниила и возмущающегося генерала, их доставили в участок полиции.

— Кто к нам пожаловал?! Давно не виделись! — узнали в участке известного вора.

Вечером к дому деда подъехал экипаж, из которого вышла прекрасная дама. Она умоляла Гликмана не губить лже-генерала, вернула украденные деньги и обещала вознаграждение, если на суде он не покажет на ее друга. Дед ответил, что будет говорить только правду.

На суде, как рассказывал Даниил, был примерно такой диалог с потерпевшим.

— Вы видели, как подсудимый взял ваши деньги?

— Нет.

— У подсудимого нашли в полиции эти деньги?

— Нет.

— Вы уверены в том, что деньги исчезли в тот момент, когда вы вошли в трамвай?

— Нет, не уверен.

— Значит, они могли быть утрачены и раньше?

— Не думаю, я все время ощупывал карман.

(Смешки в зале суда)

— Почему вы заподозрили этого человека?

— Я снова ощупал карман, денег не оказалось, а этот генерал стоял рядом со мной.

Зал взорвался хохотом. Подсудимый был лишь оштрафован за ношение не положенного ему мундира.

Снова вечером подкатил экипаж, в нем были все та же дама и вор, шикарно одетый; они привезли дорогой подарок.

Арик много думал об услышанном, на него рассказ произвел сложное впечатление: с одной стороны, подкупала смелость деда, с другой — он как будто и вправду ведь не солгал, но явно выгородил вора. Хорошо он поступил или нет? Правильно или неправильно? Как надо было вести себя деду Даниилу?

— Как бы я сам поступил? — спрашивал себя мальчик и ответа не находил, вконец запутался.

Арик удивлялся: дед некрасив, ростом ниже бабушки. Почему она вышла за него? Разумеется, со временем Аарон поймет, что мужчина — это прежде всего *сила*: физическая, духовная, эмоциональная, сексуальная. Что сила таланта тоже покоряет женщину.

«Мир фа дир»

Бабушка казалась более образованной, более культурной, чем дед. Возможно, потому что говорила по-русски, а не по-украински, как он. Или потому что на лице ее были заметны следы былой красоты?

Мадам Гликман, как называли ее другие пожилые еврейки, говорила по-русски с заметным акцентом и смешными ошибками.

Особенно долго смешил Арика один случай. Бабушка мыла его, а он стоял в тазу, ерзал, баловался.

— Стой одним размер! — рассердилась старая женщина.

Он захохотал, потом объяснил ей ошибку — и она тоже рассмеялась.

Однажды Эстер втягивала нитку в иголку. Все не получалось. Но вот она решила, что продела ее, произнесла весело:

— О! Вже!

Взялась за не продетую нитку — и уронила на пол иголку. Арик, взмахнув смеясь, поднял иголку. Втянул, хоть и далеко не сразу, нитку. Подал бабушке. Спросил задумчиво:

— Бабуся, как ты успеваешь всех накормить, обстирать, да еще прибраться в квартире? И все стараешься, стараешься!

— Мир фа дир, — растрогалась старая Эстер, глаза ее увлажнились.

И тогда ему захотелось обнять ее крепко-крепко, чтобы она почувствовала, что и он ее любит! Что он очень-очень ее любит — и очень-очень ей благодарен.

Повиниться за то, что ему стыдно подходить к ней на рынке, когда она торгует бракованными яйцами. Сказать спасибо за то, что она готовит еду, стирает, всем что-нибудь подшивает, штопает.

Но он сделал вид, что не заметил ее слез, и убежал во двор. И только там обнаружил, что и его глаза влажны.

Хотя бабушка молилась коротко, мало и словно формально, но именно она произносила не раз:

— Мир зол зайн фа дир. Мир фа дир.

Он понимал, что это как бы и не к нему, а ко Вс-вышнему она обращается, призывая на свою голову удары, предназначенные Арику. И не мог не чувствовать глубокой благодарности за это, хотя еще не верил в силу молитвы.

Именно бабушка начала было учить его языку идиш: показывала буквы в книге, писала их. Но он сразу устал, решил, что это трудно, да и незачем.

Придет время, и Аарон пожалеет о том, что бабушка не проявила настойчивости. И удивится тому, что больше никто в семье не удосужился заняться с ним хотя бы еврейским алфавитом. И даже обидится. Но совесть подскажет:

— Сам виноват! Одолеет бы буквы, а там пошло бы и пошло. Но не одолел ведь, лодырь!

Священнодействие

Обедали довольно поздно, когда все возвращались с работы. Во главе стола сидел Даниил на большом стуле. Как на троне. Перед едой он благословлял пищу. Если был праздник, наливал всем по рюмке настойки — слабой, но сладкой.

Блюда подавала бабушка. Сама не ела, говорила:

— Я вже наробовалась.

Еда была культом: ели долго, с наслаждением; хвалили бабушку за вкусные блюда, которых никогда не было меньше четырех. Здесь же, не торопясь, делились новостями, предавались воспоминаниям; шутили.

Дед за столом рассказывал один и тот же анекдот.

— Мэ зогт, аз эйн мул Гитлер ... — начинал он, вытерев усы салфеткой.

Все начинали давиться смехом: дед не помнил о том, что вчера, позавчера, каждый день этот же анекдот рассказывал.

Старый Гликман вряд ли подозревал, что Гитлер — это не смешно, что это — страшно. Что сам он избежит Бабье-го яра, но умрет в Омске на вокзале, прошептав:

— Ну вот, Эстер, мы и приехали. Мне холодно. Укрой меня, я чуточку вздремну.

Из сидящих за столом один Яков твердо знал, что не только германский фюрер — патологический антисемит, но и Сталин, за которого каждое утро молилась рифмованно бабушка.

— Чтоб дорогой товарищ Сталин жив был, здоров был, чтоб никакой враг к нему не подступил, — чеканила по-русски.

И добавляла:

— Вэн ныт Сталин ... ой-вэй, вэн ныт Сталин...

Именно за обеденным столом звучали страшные воспоминания о погромах, о деникинцах и петлюровцах. И ребенок радовался тому, что живет в прекрасной стране, где нет погромов и где национальность как бы не играет никакой роли в жизни людей.

Однажды вспомнили за обедом юродивого, который жил в их дворе когда-то и все кричал:

— Ой, люды-люды, тяжко житы, та й важко помэрты...

Рассказывали, как он решил улететь: взобрался на крышу дома, держа двух гусей подмышками, — и прыгнул вниз. Конечно, бедняга, надеявшийся на их крылья, разбился насмерть.

За столом смеялись: вот, мол, какой глупый!

Но для Арика что-то страшное было в этом будто бы смешном рассказе: он рождал сильнейшее чувство сострадания к несчастному, боль в горле и в сердце. Он видел, видел, как падает бедняга с крыши!

Жутко звучали слова юродивого, великая безысходность была в них — и была она жестоко по незащищенной душе ребенка, ломая природный щит безмятежного неведения смыслом своим:

— Ой, люди-люди, тяжело жить, но и умирать страшно...

Вспоминали, как Ева носила пищу на чердак подпольщикам, как чудом ее и деда Даниила не расстреляли в деникинской контрразведке. Их спас генерал, сказавший своим людям:

— Кого вы привели? Девчонку наивную и набожного старика?! Молодых жидов-мужчин ведите сюда! Вот их и будем стрелять!

Трагедия дяди Симхи

Вечером столовая превращалась в спальню: дядя Симха располагался на раскладушке, тетя Маня — на стульях. Дедушка с бабушкой спали в огромной двуспальной кровати.

Симха работал слесарем на заводе «Арсенал». Утром его будили, надо было идти на работу.

— Отстаньте от меня, — умолял дядя.

Как узнал племянник, Симху мучит похмелье: его любимый добрый дядя — алкоголик. Он прекрасно рисовал, писал стихи, трезвый мухи не мог обидеть. Пьяный же становился агрессивен.

Несколько раз его заставляли лечиться, но он не выдерживал курса лечения, срывался.

Дядя любил девушку, жившую в том же дворе. Она сказала ему:

— Или водка, или я!

— Увы, победила водка, — признался Симха Арику.

Тот окаменел: как можно ради водки потерять любимую? И почему девушка так безжалостно поставила свое требование?

Он обнаружил дядину тетрадь со стихами и взволнованными его дивными рисунками. Самый красивый рисунок изображал дворец с женской фигуркой на балконе. Стих, показавшийся Арику примитивным, сообщал читателю о заколдованном дворце:

*... в нем Нина, ангел золотой,
Навек укравшая покой.*

Мальчик любил дядю, который показывал ему фокусы, катал на загорбке, угощал всевозможной *вкуснятиной*. Он задумывался о том, как бы отучить Симху от водки. Ведь он не пил, когда служил в армии! Сам Блюхер уважал

дядю, похвалил его на учениях, ставил танкиста Симху в пример другим!

Тяжелое обвинение

Пьянство брата угнетало тетю Маню.

— Из-за этого алкоголика никто порядочный на мне не женится, — в который уж раз услышал Арик.

Тетя плакала, сморкалась в платок, но он ей не верил: он считал, что настоящая любовь не остановится перед такой несущественной помехой, как пьянство брата. Тем более, что тетя Маня — не только красивая, но очень милая и веселая.

Маня была старше Симхи на три года. Когда Гордоны переехали из Фастова в Киев, ей уже было двадцать семь. Она вдруг бледнела и теряла сознание. Племянник пугался, взрослые непонятно объясняли:

— У нее такой возраст.

Арик жалел тетю. Он бы помог, но как? Поговорить с кем-нибудь из ее ухажеров? Убедить в том, что все будет хорошо, потому что дядя Симха — хороший? Но он ведь ни одного из них не знает, не видел их.

Тетя даже в восемьдесят лет будет класть ладони на пол, не сгибая ног. Радоваться жизни, смеяться заразительно. Устраивать пиршества и пить вино. Ее будут любить сотрудники и соседи. И муж, который появится, когда Мане будет уже шестьдесят два года.

В минуты отчаяния Аарон будет приходить к ней и встречать утешение. Дважды спасет она его жизнь и свободу. Завещает ему все, что имела.

Но понять друг друга они так и не смогут, ибо он будет слишком Гордон, а она — чересчур Гликман.

Она уйдет из жизни легко, навсегда уснув за книгой. И лишь тогда поймет пенсионер-племянник, как сам он лю-

бил тетю и как она, бездетная, всю жизнь по-матерински любила его. Но до этого печального дня еще было далеко-далеко.

Человек с усами

— Кто это? Чапаев? — спросил Арик.

В столовой, в которую превращалась большая спальня Гликманов в часы трапез, высоко на стене, между окнами висел большой фотопортрет молодого мужчины с чапаевскими усами и умными, печально-мужественными глазами.

— Это Израиль, родной брат дедушки, — прошептала бабушка Эстер.

И рассказала внуку, что Израиль в детстве обладал способностями незаурядными, много читал, легко овладевал языками — и руки у него были золотые. Он сумел внутри бутылки построить модель квартиры со всей обстановкой. Случайно заехавший в Волочиск, где жила семья Гликман, одесский ювелир приметил мальчика. Взял его в обучение.

К моменту большевистской революции Израиль Гликман-Гильскер владел в Киеве ювелирной фабрикой, магазином и пятью домами.

Другой брат деда, Урин, работал у него управляющим, а старшая дочь Даниила, Анна, — бухгалтером.

Израиль полюбил Анну, сделал предложение. Она ему отказала.

— Почему, бабуся? Она его не любила?

— Любила, — вздохнула Эстер, — абэр только как дядю. Не больше. А отказала? Во-первых, нельзя выйти замуж за родной. А он? Ой-вэй, никого-таки больше не хотел. После революции они его забрали в ЧК, но он сумел-таки откупиться.

— Чекисты не берут взятки, бабушка! Ты что?!

— Авадэ! Откупился! И набил бриллиантами аштэкл, толстую палку, и пошел к границе — и перешел ее. Пешком. Как нищий. Сейчас он в Ницце. Ему там есть вилла и жена, Жанна-Мари.

— Он оставил Гликманам мешочек с бриллиантами, — добавил Яков. — Твоя бабушка спрятала их в банку с китайским чаем. И больше их никто не видел, хотя чай остался на месте. Зи от зих бакакт ин ди хохмэс: она всегда хитрит и оказывается сама с носом.

Слова отца не понравились. Арик тоже знал, что бабушка хитрит, но может перехитрить только самое себя. И потому жалел ее. И смешно ему было.

— Хорошо, что бриллианты пропали, — сказал он отцу. — Если бы нашли, то могли бы и их, как Израиля, как всех буржуев...

Яков кивнул молча.

Брат не забывал деда: Даниил регулярно получал посылки из Франции. Но затем это стало опасно, и связь оборвалась.

В восьмидесятых годах Аарон Яковлевич Гордон пошлет запрос во Францию и получит ответ от Красного креста:

— Уважаемая мадам! Слишком мало данных...

Он и рассердится на «мадам», и посмеется, но так и не выяснит, успел ли Израиль избежать печей Освенцима. И сама Франция не будет с той поры вызывать былого восторга.

Летающие часы

Разглядывая фотографии в семейном альбоме, Арик задерживал взгляд на одной. Это был портрет старшей дочери деда. Лицо тети Ани казалось ему прекрасным, а

глаза ее, брови, уста — выражающими некий неземной ум и нездешнюю печаль.

Он подолгу смотрел на фото — и странное волнение, дотоле не знакомое, охватывало детскую душу. Это худенькое создание в черном бархатном халате было с каждой минутой все ближе. Казалось, вот-вот тетя оживет и выйдет к нему. И скажет что-то важное, самое важное в жизни. Слезы набегали и жгли глаза его, горло сжимали непобедимые спазмы.

— Милая тетя Аня! — шептал мальчик. — Ты сейчас на небе и являешься мне в моих снах! Если бы ты была жива, я любил бы тебя больше всех, потому что ты лучше всех на свете! И так похожа на маму мою!

Да, он, как и подобает советскому школьнику, был далек от религии, но в то же время душою он *знал*, что есть мир иной, и это не только мир его снов.

А тетя так часто снилась ему! Всегда одинаково: летят в небе часы — те, что висят на стене в квартире дедушки рядом с портретом Израиля, в часах стоит она, прекрасная, и печально ему улыбается.

Медленно, очень медленно летят часы; они и высоко, и в то же время совсем рядом. Слышится музыка — дивная, неземная. И одновременно — знакомый звон дедушкиных часов.

Много лет спустя Аарон увидит на таких близких душе его картинах Марка Шагала часы из своих снов — и задумается о тайнах Души Единой. И обеспокоится ее судьбой в тревожном мире.

— Аня наша вышла замуж за хилого молодого человека, — грустно вспоминала Ева, — родила дочь. Все они: и муж, и Аня, и девочка — умерли от туберкулеза в девятнадцатом году. Видимо, сказались погромы, голод.

— Я бы не дал им умереть, — всхлипнул Арик.

Молчание Гинды

Бывали у Гликманов и папины сестры.

Старшая, Гинда, носила очки и потому казалась Арику серьезной и даже строгой. Она работала в детском саду. Готовилась к занятиям с детьми, даже будучи в гостях: все время что-то рисовала, что-то писала красивыми крупными буквами.

Это удивляло мальчика: люди только на работе трудятся. А дома — отдыхают, в гостях — тем более.

Он не подозревал о том, что ему самому предстоит годами не спать до полуночи, готовясь к урокам, лекциям, докладам и рефератам.

Обдумывать их, даже сидя в театре или в гостях. Работать в библиотеках от открытия и до закрытия, страдая от аллергии на библиотечную пыль.

— Гинда совсем лишилась речи, она онемела на нервной почве! — услышал он однажды взволнованные слова взрослых.

В тот день онемевшая тетя приехала к ним — и все молчала, грустная. Сказали, что это — навсегда.

Арик подошел к ней, отрешенно лежавшей на кровати поверх покрывала, сел рядом, взял за руку, желая помочь. Он что-то говорил, говорил, при этом был убежден в том, что и она заговорит с ним. Так и вышло. Все, и тетя тоже, радовались и смеялись.

Мальчик Гордон не знал еще, что он экстрасенс.

Гинда рано потеряла любимого мужа. Она никогда больше замуж не выйдет. В пятьдесят шесть лет она ослепнет — и до конца дней своих будет жить у сестры, у Рахили.

Дважды вдова

Рахиль тоже рано потеряла мужа, но снова вышла замуж: за Лейба Литичевского, шорника. Арик возмущался:

— Ну как можно променять родного мужа на чужого человека? Ну и что из того, что Наума уже нет? У нее — своя дочка, а у Лейба — свой сын! Да, он хороший, но он же для них чужой!

Лейб, плотный пожилой человек, иногда приходил к соседу Гликманов Фроиму и читал вслух ШоломАлейхе-ма на идиш. Арик не понимал многих слов, не улавливал поэтому смысла и удивлялся, когда все смеялись во время громких читок.

Сам Лейб смеялся громче всех, багровел и промокал носовым платком вспотевшую лысину, а смех его переходил в надсадный кашель.

Мальчик с интересом наблюдал за всеми, ему были милы эти люди. Полюбил и Лейба. Раздобыл переводной роман «Блуждающие звезды», который и смешил его, и доводил до слез.

Позже он прочтет другие произведения писателя, даже в переводе прочувствует и юмор, и нравственную силу, и печальный оптимизм выразителя лучших свойств еврейской души. Полюбит его безмерно.

— Аз Ицик от шен хасэнэ гэхат, — слышится патефон.

Это снова приехали Рахиль и Лейб.

— Арик, иди сюда, послушай Эпельбаума, — зовут его гости в комнату Фроима.

Он бежит к соседям, слушает. Кое-что понимает. Но больше действуют на него мелодия и ритм: он *чувствует* и веселье, и грусть, и тоску в самой музыке, даже не зная слов песен. И слезы, слезы сами текут.

— Шурик приехал!

Это Лейб привез с собой любимого сына.

Арик уважал десятиклассника Шурика, хулигана и весельчака, футболиста и храбреца. Замирал от восторга, глядя, как тот перебирается с крыши на крышу, как прыгает, карабкается и мчится по грохочущей кровле, поощряемый воплями детворы.

Шурик частенько пел с насмешкой:

*Ура, ура, ура, пионеры — молодцы.
Они уничтожают селедку, огурцы.*

Арик не был пионером, но удивлялся неуважительной песне о *молодцах*. Впрочем, все у Шурика получалось здорово!

Однажды он появился с Давидом. Этот высокий, стройный юноша с открытым благородным лицом потряс Арика близостью к идеалу. Он не шел, а вышагивал по киевскому двору, царственное что-то было в его уверенной и гордой походке.

Даже показалось, что на миг весь двор замер.

Когда Аарон увидит статую Микельанджело Буонаротти «Давид», память на мгновение вызовет из своих глубин яркий образ киевского юноши с таким же именем — и горько подумается, что война могла оборвать его жизнь так же, как унесла она в вечность веселого храбреца Шурика.

В 1942 году Лейб получит от сына письмо с фронта, где будут слова: «... еще нет той пули, чтобы меня взяла ...»

Вслед за письмом придет похоронная. Литичевский не вынесет потери — и снова Рахиль овдовееет.

Навсегда.

Родная дочь Рахили, Дуся, вернее, Двоя, рыженькая девочка, была на три года старше Арика. Она ему нравилась, какое-то доброе тепло исходило от нее. Это, впрочем, не мешало детям порою поссориться и даже подраться. Война разлучит их на полвека, они встретятся вновь незадолго до репатриации Аарона в Израиль и эмиграции семейства его сестры в США.

Загадочная Фи́ра

К Фроиму приходила и Фи́ра. Это была милая молодая женщина с добрым взглядом умных глаз, затаивших и смешинку, и боль. Мальчик чувствовал в этом взгляде симпатию, но никогда, никогда Фи́ра с ним не заговаривала. А он, словно соблюдая некий запрет, не решался сам навязаться с разговором.

Она казалась Арику таинственной, а отношения ее с семьями Гордонов и Гликманов — странными. Но он еще был очень робок, стеснителен, и потому не посмел спросить ни Фи́ру, ни родителей о причинах непонятной отдаленности.

После войны он узнает, что Фи́ра — его родная тетя: та, что ребенком лежала под кроватью при страшной гибели родителей. Ему расскажет его троюродная сестра, что девочку взяла ее семья, но та сбегала, беспризорничала, связалась с нехорошей компанией.

— И тогда от нее отказались и мы, и все другие родственники...

Ему расскажут, что замуж Фи́ра вышла неудачно, что муж жестоко избивал ее, что она заболела туберкулезом и умерла, не дожив и до сорока лет и оставив дочь Лилию сиротинкой.

Он огорчится: если знал бы, что Фи́ра — его тетя, то обязательно заговорил бы с ней в те дни сам, любил бы ее не меньше, чем Гинду и Рахиль, попросил бы Симху урезонить ее злого мужа.

Аарон Яковлевич никогда не спросит своих родителей-стариков, зачем далеки были они от Фи́ры. Пожалеет их, дорогих его сердцу. Но не оправдает.

Глава третья

ПУТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Часть первая

**РАДОСТИ И МУКИ
ПЕРВОКЛАССНИКА**

Левша. Суровые меры. Сокровища. Нераспознанное призвание. Жалкие попытки. Сумасшедшая. Храбрый Люстик. Новое сокровище. Непонятное пение. Смерть Русалки. Машины песни. «Язык твой...»

Левша

— В какую школу отдать тебя: в русскую, в украинскую? Или, может быть, в еврейскую?

— В русскую, — ответил Арик, не колеблясь.

Он не раз пожалеет о том, что хотя бы два года не проучился в еврейской школе: знал бы идиш и иврит. Был бы *настоящим* евреем, а не только *для этих*.

Хилый мальчик не выспался, голову утром тянуло обратно, к подушке. Мучительно собирался, не хотел умываться. Поэтому при санитарной проверке грязная шея была разоблачена.

— Это загар, — пыталась спасти никогда не загоравшего Арика учительница Татьяна Григорьевна, милая женщина, дружившая с его родителями еще со времен Федоровки, где и она тогда жила.

— Какой загар?! — та, в белом халате, мокрой ваткой сняла полосу грязи с несчастной бледной шеи.

Долго Арик не мог научиться писать, даже возникли сомнения в его умственной полноценности. Его упорно заставляли держать ручку с пером в правой, а не в левой руке. Мучился он, мучилась учительница, мучилась Ева. Перо номер восемьдесят шесть прорывало бумагу, не хотело скользить по листу. Буквы были уродливы, кляксы — огромны.

— Подобное насилие над левшой — преступление, ибо деформирует его сознание, характер и способности, — услышит он на лекции много лет спустя. — К сожалению, школьные работники, переучивая левшу, до сих пор не знали, что творят.

Суровые меры

Плохо шла и арифметика: Арик не мог прибавить семь к пяти, не мог — и все тут. Таблица умножения казалась совершенно недоступной для запоминания. И потому — ненужной. А решить задачу он не мог даже самую простую.

Тогда вмешался Яков. Отстранил Еву, подсел к сыну. Положил руку на плечо.

— *Ты все можешь*. Надо только знать маленькую хитрость. В условии задачи, — поучал отец, — есть все, что необходимо для ее решения. Но не все дается прямо. Это вроде игры в прятки. Кто-то за деревом, кто-то на дереве, кто-то — за углом. Но все — здесь, рядом. В условии задачи — то же. Поищи, поиграй с задачкой!

Арик попытался снова. Не получалось. Становилось жарко, руки и ноги подергивались. Захныкал:

— Все равно не выходит.

— Решай! — настаивал отец. — Не сдавайся!

— Не могу, не могу! Хватит! Ненавижу проклятую арифметику!

Бросил тетрадь на пол, стал топтать ее ногами. Яков холодно дал ему другую тетрадь, чистую, запер сына в спальне:

— Выйдешь отсюда, когда решишь задачу и оба столбика.

Школьник возмутился, не стал ничего делать.

Час шел за часом. И голод заставил его, наконец, сдаться. Он раскрыл учебник, прочитал условие задачи, подумал-подумал и понял, как можно ее решить. Начал писать. Увлёкся.

— Выпустите меня: я решил и задачу, и столбики!

Отец проверил: ошибок нет.

— Ну, что я тебе говорил? Ты все можешь.

Он не раз еще запирали сына и не выпускали, пока тот не решит задачу или пример. Если же Арик ошибался, он требовал найти самостоятельно ошибку. Подсказывал путь, лишь видя, что сын исчерпал все силы. Пояснял. И оказывалось, что все *просто* делается.

Потом они стали играть в «хитрые задачки».

— Кирпич весит кило и еще столько, сколько весит полкирпича. Сколько весит целый кирпич? — спрашивал Яков.

— Ха, это же просто: полтора кило, — выпаливал Арик.

— Как ты узнал?

— Прибавил.

— Что к чему? И — зачем?

Беседа продолжалась, ответы становились все менее уверенными, мальчик задумывался, по совету отца начал рисовать кирпич, половинки — и вот, наконец, радостный вопль:

— Два кило! Два! Потому что каждая половина весит столько же, сколько другая! В кирпиче две половинки. Одну хитрый папа дал весом, а другую — не весом, а дробной частью!

Якова совершенно не интересовало, каким почерком и насколько аккуратно сын пишет в тетради. Считал это делом Татьяны Григорьевны. Да и намучившегося сына жалел. Между тем, тот, постигая логику рассуждений, сам запутывался в своей писанине: из-за множества клякс и помарок, зачеркиваний и перечеркиваний. Оценки снижались.

Аккуратность придет не скоро, очень даже не скоро. Даже — поздно.

На уроках труда дети делали разные предметы, например, пеналы типа очешников. Арик старался, но получалось не так уж крепко, не так уж красиво; и тогда ученик в отчаянии рвал свое изделие, топтал его, кричал яростно и плакал.

— Будешь делать снова, теперь у тебя уже есть опыт, — успокаивал отец, улыбаясь. — Не все легко дается в жизни.

— Я не хочу, мне надоело! — кричал Арик.

— Мне тоже многое надоело, — сердился Яков. — Но делаю! Семью кормить надо или не надо?

Наконец, что-то получалось. Правда, не отлично, даже просто плохо. У других было несравненно лучше.

— Ты же все сделал сам! И это — главное, — убеждал отец. — Сам!

Он-то знал, что поделки большинства учеников выполнены руками их родителей. Но сыну об этом не говорил из соображений педагогических: сам Яков и так не смог бы сделать. Он за свою жизнь не сумел даже забить гвоздя. Это делала Ева.

Сокровища

Арик открыл книжный шкаф. Сколько книг! Как пахнут! Взял одну из них, не самую толстую.

Прочитал название: «Детство». Автор — М. Горький. Открыл. Начал читать — и уже не мог оторваться. Книга взволновала его не на шутку, он погрузился в детство Алешки Пешкова — и как бы сам стал Алешей. Переживал сильно. Запомнилось навсегда (возможно, из-за имени «Яков») тоскливое:

— *Быть бы Якову собакою, был бы Яков...*

Он слышал даже мотив, голос. Вообще он видел и слышал все то, о чем читал! И Алешу Пешкова, и отца его, и деда Каширина, и бабушку Горького! Всех — видел и слышал! И — о чудо! — понимал их всех! Словно входил в каждого. Сочувствовал всем!

Потом извлекались из шкафа новые сокровища: «В людях», «Мои университеты» — и Арик всей душой полюбил автора, мечтал о встрече с ним, захотел и сам стать писателем. Вот только рассказать людям еще было не о чем. Когда Алексей Максимович умер, мальчик долго рыдал.

В том же шкафу обнаружил он огромный фолиант: *Карус Штерне*, «Мир, его прошлое, настоящее и будущее». Очень уж трудным и даже скучным показался текст, но картинки поражали необычностью, он рассматривал их подолгу.

— Ихтиозавры! Плезиозавры! — произносил он громко.

— Диплодок! Птеродактиль! — возглашал со стула.

Нравились и ужасали чудовища.

— Мезозойская эра! Юрский период! — изрекал он, как заклинания, непонятные термины — и трепетал. Почему все это так его волнует, не знал сам.

Точно так же не читал, а просматривал картинки в истории Костомарова, при этом влюбился на некоторое вре-

мя в царицу Наталью Кирилловну. То и дело возвращался к той гравюре, где мог ее увидеть.

Нераспознанное призвание

И тут Арик обнаружил в шкафу сборник стихов «Чтец-декламатор». Читал с волнением стихи русских поэтов: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Фета, Бальмонта, Блока. Однако сильнее всего тронули далекие от совершенства стихи пролетарского поэта — о девушке, погибшей в уличном бою.

Он выучил их наизусть и прочитал со стула всей семье:

*Я помню девушку с веселыми глазами,
С улыбкой солнечной на розовом лице.
Она из фабрики с патронами в кармане
Пришла на улицу, где залегала цепь...*

Ему было всего восемь лет тогда, но он уже чувствовал силу растущей в душе его потребности наполнить холодные буквы своим глубинным криком-зовом, поклонением Добру и Красоте Человеческой. Жертвенной жаждой Любви и Взаимопонимания.

Его хвалили, но никто не заметил, как глубоко мальчик переживает, как не просто его увлечение декламацией. Никто не понял, что перед ними — его возможное призвание.

Никто. И, конечно, сам он — тоже.

Много лет спустя, став преподавателем культуры речи, Аарон будет учить декламаторов, не уставая радоваться их находкам, заботливо стараясь не помешать самовыражению каждого из таких разных питомцев.

На индивидуальных занятиях, положенных по учебному плану, аудитория будет так же полна, как и на групповых. Он не будет возражать: значит, им нужно.

И все же будет недоверчиво удивляться, принимая благодарность учеников, покоривших зал, искренне любому возражая:

— Я только помог. Заслуга — твоя.

Жалкие попытки

— Я хочу собирать марки, — сказал он отцу, увидев лекцию одного из мальчиков и поразившись этому богатству.

Ему тут же купили кляссер и несколько пакетиков с красивыми марками. Особый, зовный запах был у них. Мальчик ликовал.

— Нидерланды! Тува! Аргентина! — звучало таинственно, прекрасно, будило воображение, влекло в даль.

Около года обменивался он марками с другими юными собирателями. Но по-настоящему, как они, не втянулся, надоело. Бросил.

Увлёкся было переводными картинками, но тоненькая пленка то и дело рвалась, целиком картинка не переводилась на лист, и он решил не тратить время.

Ему купили санки, он обрадовался, покатался с горки, но быстро замерз и ушел домой. То же было и на следующий день. Дедушка презрительно говорил:

— Дрэк фрэрт. Я на морози у дэвъятнадцять градусив дрова колов. Руки булы голымы. Ще и употив.

Арик обижался. Горевал: почему он такой жалкий? И плакал тихонько. Еще не знал, что ему предстоит в сорокаградусный сибирский мороз проходить пешком немалые расстояния. Ездить на санях, а то и в кузове грузовика, без тулупа. Обмораживаться.

В середине зимы родители подарили ему коньки. Он привинтил их к ботинкам, вышел во двор, держась за сте-

ну. Но не мог устоять на ногах, падал без конца. Промерз до дрожи.

Ломило пальцы ног и рук.

Никто в семье не умел кататься на коньках. Почему же не помогали ему? Для этого не надо уметь самому кататься. Почему сам он ни у кого не просил помощи? Стеснялся, стыдился своей никчемности? Или — наоборот: некая ложная гордость мешала? Обо всем этом он задумается через много лет.

Окоченев, возвратился в дом. И плакал долго, беспомощно. Никто не посочувствовал. Посмеялись.

Не была успешной и вторая попытка. А после третьей он яростно отказался надевать коньки. С завистью смотрел, как на льду дворового катка носятся дети, какие фигуры выписывают. Слушал тоскливо, как поясняют друг другу, чем хороши «гаги» или «норвеги», в чем преимущество «снегурок».

Лишь через тридцать лет Аарон заставит себя вернуться к конькам, когда поведет младшего сына на каток. *По давая пример*, будет учиться вместе с ним, и когда себе на диво начнет скользить все быстрее и правильнее, реже падая, пожалеет о том, что когда-то оказался столь слабым.

Что столько потерял. Ибо катание на коньках — удивительно, прекрасно.

Сумасшедшая

На один из уроков Татьяна Григорьевна принесла белую мышь, что-то долго о ней рассказывала, но запомнится мальчику только, как металось несчастное перепуганное животное.

Вдруг тихая девочка-еврейка с шумом плюнула на пол. Учительница подошла и поинтересовалась, зачем она это

сделала. Та ответила как-то странно — и тут же вызвали врача.

— Как зовут твою учительницу? — спросил он девочку ласково.

— Ханна, — тихо промолвила бедняжка.

Врач посмотрел на Татьяну Григорьевну. Учительница была бледна.

Все дети замерли, а странная девочка оставалась безучастной к происходящему. Лицо ее ничего не выражало. Она сошла с ума.

Арик долго сам боялся стать сумасшедшим после этого. И всю жизнь будет бояться «дурдома».

Храбрый Люсик

Его восхищали товарищи сильные, веселые, смелые. Одним из них был его одноклассник Люсик Вайнтрауб. Он бегал на переменах по партам, стуча красными сапожками. Говорил громко. Веселая ярость играла в его взгляде. Любил он подраться. Никого и ничего не боялся. Пел:

*Выходят в море миноносцы
Поздно вечерком.
Гордятся наши краснофлотцы
Кимовским значком.
Эгей, моряки!
Страну береги!*

Маленький Гордон не мог даже подумать о том, чтобы вот так же побежать по партам. Или тоже петь так громко и гордо, как Люсик. И драться мальчик не хотел: это же больно! И ему, и другому...

Новое сокровище

Долго Арик не решался записаться в школьную библиотеку, но вот все же пришел — и добрый Иван Сергеевич вручил ему книгу «Усатый-полосатый». Он прочел ее мгновенно, поблагодарил и попросил дать другую. Библиотекарь посмотрел на него внимательно и спросил, что он сейчас читает дома.

— «Сердца трех» Джека Лондона.

— И ты понимаешь все прочитанное? — спросил Иван Сергеевич с улыбкой.

— Да, конечно. Там все понятно.

Должно будет пройти много лет еще, Гордон должен будет снова перечитать «Сердца трех», чтобы представить всю нелепость того своего ответа.

Библиотекарь дал мальчику сказки Ганса Христиана Андерсена и посоветовал читать вдумчиво.

Все существо маленького Гордона было захвачено, с ним творилось странное: казалось, добрый и родной некто говорит с ним со страниц книги, зазвучавшей ласковым и веселым голосом в его сознании. Арик полюбил Кая и Герду, Оловянного солдатика, Русалочку и Дюймовочку, полюбил всех-всех.

— Как прекрасны эти сказки! — шептал он. — Какой хороший человек написал их! Я слышу его голос! Голос великой любви. Ко всем людям, ко всем народам. Какое счастье читать сказки этого доброго улыбающегося волшебника! Хочу быть таким, как он!

Навсегда завоевал датский писатель сердце Арика. Он всю жизнь будет читать и перечитывать Андерсена, в каждой новой возрастной фазе находить новые перлы мудрого, доброго юмора. Спустя полвека напишет пьесу по мотивам одной из сказок. И поймет, как далеко ему до великого сказочника.

Непонятое пение

Кроме уроков в классе были уроки в зале, где за роялем сидела очень нервная учительница пения. Она начала:

— *У меня ль во садочке,
У меня ль во прекрасном...*

— *Лю-ушеньки-лю-ули, люшеньки-лю-ули,* — нестройно, в унисон, подхватывали дети и продолжали вместе с ней:

— *Хорошо пташки пели,
Хорошо воспевали,
Люшеньки-лю-ули,
Лю-ушеньки-лю-ули.*

— *А я ль молоденька, охоча гуляти ... скакать и плясати ... в зеленцах гуляти ... лю-у-шеньки...*

Арик пытался понять, что значит «в зеленцах», а спросить стеснялся. Он вообще был стеснителен, потому что боялся быть осмеянным. В то же время старался сдерживать язык свой насмешливо острый, часто непослушный воле хозяина:

— Он сам по себе, — жаловался Арик, — как в сказке. Говорит то, что не просят его говорить.

Мальчик заметил, что во время пения его голос на нижних нотах шипит, как проколотый мяч, а на верхних — срывается. Огорчился.

Через двадцать лет в маленьком сибирском городишке ссыльный маэстро поставит ему голос — и Аарон часами будет петь в клубе под его аккомпанемент оперные арии, русские романсы и неаполитанские песни. И, пожиная аплодисменты, будет весело вспоминать былое слабоголосье свое.

В «Песне о встречном» звучало нечто совсем непонятное и весьма странное:

— *Не спи, вставай, кудрявая, Чехадзенья...*

— Кто такая кудрявая Чехадзенья? — спросил Арик Еву. — Которая — «не спи, вставай, кудрявая»...

— Какая Чехадзенья? Надо петь «в цехах звеня».

— Зачем же эти дурацкие уроки пения? Сегодня три класса собрали, и мы все орали громко: «Вставай, Чехадзенья!»

Смерть Русалки

В том же зале на школьном утреннике, посвященном Пушкину, вокруг зеленого дуба ходил развеселый первоклашка — *Кот ученый*. Но не он, а *Русалка*, сказочно прекрасная третьеклассница с распущенными длинными золотистыми волосами и огромными печальными голубыми глазами, завладела душою Арика.

Он замер, околдованный, и все смотрел на нее. Ему почему-то хотелось плакать. Но плакать слезами счастья. Сладко было душе его от лицезрения прекрасной — и возжелал он умереть у ног ее, веруя в то, что этим и будет достигнута самая главная цель всей его жизни.

— Нет, нет, — возражала иная сторона существа его. — Не умереть, а взять ее на руки, подняться вместе к небу — и лететь, лететь. И — петь. Вместе.

Он искал, но больше не увидел ее.

Узнал, что она умерла от туберкулеза.

Оплакивал ее уход. Тоска охватила его надолго.

Но никому не открыл он ее причину.

Мамины песни

По-прежнему, приходя вечером к его кровати, пела Ева негромко, задушевно; и улыбка ее была при этом ласковой и грустной, а в глазах светилась та любовь, святость которой будет им осознана лишь много лет спустя.

Она и стихи читала ему, и были почти все они такими же грустными, как и песни ее.

Возможно, женщина смутно предчувствовала, что ей предстоит еще покинуть отчий дом, пройти по военным дорогам — и встретить после войны на пороге своей квартиры поселившегося там юдофоба, который не пустит майора медицинской службы посмотреть на родные стены. Что будет тяжело болеть много лет муж, что сын мало порадует своей судьбой.

Позднее в операх и опереттах, в русских романсах и народных песнях Аарон будет узнавать то, что пела ему Ева.

Одна из маминых песен доводила его до слез:

*Тишина немая
В улицах пустых,
И не слышно лая
Псов сторожевых.
Лишь в одной избушке
Огонек горит:
Бедная старушка
Там, больна, лежит.
Думает, гадает
Про своих сирот:
Кто их приласкает,
Как она умрет.
Как начнут шататься
По дворам чужим,*

*Мудрено ль связаться
С человеком злым?*

Арик жалел сирот. Он хотел, чтобы старушка долго жила!

— *Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю,* — пела мама.

Он же думал о том, что он уже не младенец, так как ходит в школу. Не верил в то, что он *прекрасный*. Не понимал, почему отец «закален» в бою, а не «заколот».

— *Расскажите вы ей, цветы мои,* — пела мама.

Понималось это так:

— Расскажите вы ей: эти цветы — *мои*, а не чьи-либо еще.

Он не спрашивал Еву ни о чем, чувствовал себя не в праве задавать маме вопросы, боялся прервать ее пение — такое сладкое.

*Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет...*

Он не сразу понял, что это о будущем поет мама: о том времени, когда Арик будет взрослым. Испугали слова:

*Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.*

Арик думал, что не станет горьким пропойцей, как дядя Симха. Что будет о маме заботиться, когда она состарится. И потому что-то нарочитое в том пении чудилось ему и что-то обидное. Мог ли мальчик предположить, что не один год водка будет ему убежищем от самого себя и от ужаса реальности?!

И в то же время ему хотелось в эти минуты сказать Еве, преодолев стеснительность:

— Мама, у меня столько вопросов, которые не решаюсь задать никому из вас, взрослых! Помоги мне! Ты не хочешь или не можешь понять меня?

Все еще жаждалось, чтобы мама или папа вызвали его доверие, чтобы побудили его поделиться с ними мыслями о жизни и новыми чувствами — непонятными, недетскими, нелепыми, самого его пугавшими.

Но вечно занятые Яков и Ева не проникли в этот тайный, болезненный, глубинный мир сына. Они даже не подзревали о его существовании.

А Гликманы, которым Гордоны передоверили сына, — тем более.

Напевала и тетя Маня. Игриво:

— *У самовара я и моя Маша...*

Он думал, что «ямая» — некое качество Маши. Какое же? Веселость? Ласковость?

Еще пела тетя Маня вроде бы веселую песенку:

Ах, попалась, птичка, стой!

Не уйдешь из сети.

Не простимся мы с тобой

Ни за что на свете.

Ева начинала подпевать, а Арик жалел вольную птичку, представлял себе, как бьется несчастная в сетях. И тяжело думал о тех, кто радуется ее неволе. И на тетю смотрел с тоскливым удивлением. И на маму сердился. Но любил обеих.

И вот произошло событие, молнией озарившее глубины его сознания: Ева купила два билета в театр, но Яков был занят, и она взяла с собой Арика на спектакль «Волки и овцы».

Он, конечно, почти ничего не понял, но был потрясен чудом наблюдения за чужой жизнью через отсутствующую стену. Был покорен сказочной торжественностью и таинственностью театра. Непривычностью громкой и выразительной актерской речи.

Он узнал, что люди, оказывается, бывают и волками, и овцами. И что люди-волки «едят» людейовец. И задумался:

— Кем же буду я, когда вырасту? Овцой? Или даже мышонком, как та белая мышь, которую принесла на урок Татьяна Григорьевна? Кто мои родители? Неужели они овцы? Но не волки же! Значит, все-таки овцы ... Какое чудо — театр! Это даже лучше, чем книга!

«Язык твой...»

Видя, как сын чувствует музыку, Яков повел его в музыкальную школу. Один за другим входили в комнату мальчики, ровесники его сына, и выходили оттуда с маленькими скрипками. Ни отец, ни сын не сомневались в том, что и Арик выйдет так же.

Процесс экзамена протекал, как во сне, но мальчик видел, что экзаменаторы им довольны.

— А не помешает то, что я левша? — доверительно спросил он вдруг у членов комиссии.

Они переглянулись...

Ушли Гордоны без скрипки.

На улице отец хмуро объявил Арику:

— Язык твой — враг твой. Великий скрипач Паганини, кажется, тоже был левша. Но им не хочется возиться с левшой, а ты из-за своего длинного языка будешь всю жизнь несчастным человеком.

Сбудется отцовское пророчество: язык принесет много бед Аарону Яковлевичу.

Яков сделал еще одну попытку: отдал сына в обучение к частной преподавательнице-пианистке.

Арик был намерен добиваться успехов. Но мрачная старуха била его при ошибках по пальцам. Словно ненавидела. И он отказался от занятий.

Яков больше ничего не предпринимал.

Глава третья

ПУТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Часть вторая

ОТКРЫТИЯ

Опасные начинания. Прерванный полет. Жид пархатый. Самоубийца. Сын проститутки. Украденные часы. Любимый Чарли. Первый тайм. Жалкие попытки. Прогулки по мостовой. Мучительная болезнь.

Опасные начинания

Первый класс мальчик окончил как средний ученик. Во втором — начал учебу с удовольствием. Задачи теперь решал быстро. Писал несколько лучше, не прорывал уже пером тетрадные листы.

Изредка второклассник оставался дома один. Его интересовали настойки и наливки, стоявшие в огромных бутылках на огромном буфете. Попивал оттуда понемногу. Втянулся, зачастил. И, конечно, был разоблачен и сурово наказан. А бутылки так закрыли, что они стали ему недоступны.

Тогда он переключился на сундук с сушеными грушами, которые обожал. Ел их до тех пор, пока мог. Сдержаться

было невозможно. Однако фруктов было так много, что убыль заметили очень поздно. На сундук повесили замок.

Еще опаснее для него и всей семьи был интерес мальчика к явлениям природы и техники.

— Что-то горит! Пахнет паленым! — закричала пришедшая с работы тетя Маня.

Бросилась в спальню. Оказалось, что Арик, заживавший одну за другой спички и почувствовавший неодолимое желание создать большой огонь, поджег свисавшее с кровати покрывало. Вспыхнувшее пламя испугало его до того сильно, что он совершенно растерялся и спрятался под горячей кроватью.

Через несколько дней снова — переполох:

— Что случилось? Почему не стало света?

Это Арик выдернул вилку из детекторного приемника, который иногда чудом удавалось настроить, воткнул ее в электророзетку — и соединил два стержня с помощью ножа. Раздалось грозное шипение, заискрило, экспериментатор почувствовал сильный болезненный удар. Лезвие ножа покорежило.

Мальчика наказали, потом объяснили, что он мог погибнуть. Но он еще не раз будет проделывал подобные эксперименты.

Прерванный полет

Увидев, как Люсик скользит вниз, сидя на перилах школьной лестницы, Арик загорелся.

— Я тоже хочу так! Я сумею! — сказал он себе.

Не обращая внимания на ослабевшие, подгибающиеся от страха ноги, он уселся на перила, расставил руки в стороны, и, не думая о целостности штанов, заскользил вниз. Лихо спрыгнув, почувствовал не исчезнувшую еще дрожь в ногах.

— Ну почему у меня такой страх? — едва не завыл он. — Почему я не такой, как все? Почему я должен заставлять себя?!

Мальчик еще не знал, что всю жизнь ему придется преодолевать невеселые особенности своей нервной системы. Побеждать страх — и поддаваться ему.

— А я все равно буду ездить по перилам! — сердито подумал он и даже ногой топнул.

На переменах скользил по перилам, как все мальчики, даже на урок из-за этого как-то опоздал.

А Люсик уже спускался по-новому: лежа на перилах вниз головой и раскинув руки в стороны. Тогда и Арик решил: лег, раскинул руки, заскользил. Тормозил внизу сжавшими перила и горящими от этого ладонями. Закричал радостно. Помчался снова.

Дух захватывало: он был не то птицей, не то аэропланом. Слабость в ногах и дрожь в теле постепенно уходили — и он поэтому решил, что теперь стал таким же мужественным, как Люсик, *как все*.

Скользил и в своем парадном. Но однажды на уровне третьего этажа съехал вбок — полетел в ожидающую ширь межлестничного пространства.

По законам физики Арик неминуемо должен был разбиться, упав на бетонный пол парадного.

На втором этаже в это время сидела у двери своей квартиры женщина и чистила рыбу.

— Тетя, спасите, — прошептал несчастный, пролетая мимо соседки словно в страшном сне и видя ужас на ее лице.

Может быть, мальчик не шептал, а кричал, но ему на всю жизнь запомнится именно жалкий шепот обреченного, запомнится исполненный ужаса взгляд выронившей нож пожилой женщины.

И душа его воззвала ко Вс-вышнему и робко попросила чуда, и вот он, вращаясь, зацепился ногой за балясину, повис вниз головой — и тут же, изогнувшись, вцепился в

перила судорожно, перебрался через них на ступеньку. Силы его оставили, и он буквально дополз до дедушкиной квартиры.

Следом за ним появилась женщина со второго этажа и великим криком поведала деду о случившемся, удивляясь, почему это мальчишка-хулиган остался жив.

Дед избил Арика. Но ни он, ни внук никому в семье не рассказали о случившемся, а женщина была занята, видно, своими делами настолько, что тоже не сделала этого.

Жид пархатый

Двор, где располагался дедушкин дом, был довольно большой, в нем теснилось еще несколько зданий. Играли во дворе дети всех возрастов в предостаточном множестве.

Вначале на Арика не обращали внимания. Потом, увидев, что он не посторонний, не гость, что проживает здесь же, узнав, что он внук старых евреев, встретили его выход из подъезда песенкой:

*Хаим-Мошка
Сел на вошку
И поехал на войну.
Дрался-дрался,
Аж уср ... —
И приехал без штанов.*

Не сразу он понял, что поют для него и о нем, о евреях. Его сердечко сжалось, ком подступил к горлу. Убежал домой.

— Почему евреев не любят, чем отличаются евреи от других людей? — спросил у отца.

— Видишь ли, так сложилась история, — начал Яков.

Он было углубился в века прошедшие, но вскоре заметил, что сын невнимателен.

— Ты почему не слушаешь?

— У нас же советская власть, а они ... они...

— Причина юдофобии — тайна, ее никто не может объяснить.

— А дедушка сказал, что просто на свете есть евреи — те, кого не любят, и есть неевреи, гои, — это все те, которые не любят евреев. Вот были в Киеве деникинцы, петлюровцы — и были погромы. Ты сам рассказывал, и бабушка — тоже. Так те же — белые! А сейчас — красные, все должно быть по-другому!

— Нет, сынок, это сложнее: люди вообще не любят друг друга. Белые и негры, христиане и мусульмане, православные и католики, богатые и бедные не могут и не хотят понять друг друга.

Яков встревожился: сын его так похож на убитого деда-раввина! Хотя сейчас иные времена, но...

Воздух двора был насыщен площадной бранью. Вначале она казалась Арику искусственной, нарочитой. Он не понимал, зачем после каждого слова вставляют слово-паразит «*былять*», зачем через каждые три слова плюют через губу.

Но постепенно привык. Позже и сам начал приобщаться ко всему этому. Даже в старости нет-нет да и *матюгнется*, если разозлить его.

В домах жили представители разных национальностей. При этом дедушкин дом был почти весь еврейский, а на горке, поднимавшейся в задней части двора, стоял одноэтажный дом, населенный только греками. Они держались обособленно.

Однажды Арик ударил дразнившую его девочку-гречанку.

— Теперь ты пропал, греки тебя убьют, — злорадно заорали разные голоса.

Он насмерть испугался, убежал, залез под кровать — и вовремя: примчалась мать потерпевшей. Фурия требовала выдать ребенка на расправу. Даниил заявил, что сам

накажет внука и выставил злобную женщину. Но сдержал слово: наказал. И посоветовал:

— Нэ слухай, що якись дурни кажуть. Нэхай соби брэшуть. Як той собака гавкае.

Арик вспомнил сразу другую дедову поговорку:

— Як дають, то бэры, а як бьють, то тикай.

Вздыхнул:

— Тебе хорошо, тебя не дразнят. А меня — все время: «жид пархатый», «Хаим-Мошка». За что? Что я им сделал плохого? Нет! Тех, кто дразнится, надо наказывать! И когда дают — не всегда стоит брать! А бежать, когда бьют, — просто стыдно. Да, но если их много, а ты один, то и убежать не стыдно. Правда?

Жила во дворе большая семья Терещенко.

Арику сказали дома, что дядю Симху сделал пьяницей старший сын этих уголовников, Сенька Горбатый, и мальчик опасался злого горбуна.

А тот в свободное от воровства и пьянства время с шуточками и прибаутками учил малышей петь мерзкие песенки и играть в разные азартные игры. Ставили по копейке, постепенно набиралось до рубля. Тридцатилетний Сенька давал детям немного выиграть, а потом спокойно, безжалостно облапошивал мальчишек.

Начал и Арик играть. *Как все*. То выигрывал, то проигрывал. Но в азарт не впадал, сдерживался. Это еще придет, позднее. Но не в карты, а в бильярд, где он, проиграв несколько раз и выплатив долг, поймет нелепость азарта своего — и оставит игру.

Четырнадцатилетняя сестра Сеньки Горбатого однажды подралась с Ариком. Он яростно напал, но хлеставшая из носа кровь и боль в голове, превращенной ее кулаками в барабан, сломили бойца. Ушел домой, подставил нос под кран.

Решил, что отомстит, когда вырастет. Но в тот же день девочка угостила его шоколадными конфетами, а затем

стала как бы опекать, один раз даже погладила по голове — и он простил ее.

Главным врагом маленького еврея оказался Мишка. Семья этого мальчика жила в полуподвале соседнего дома. Старшая сестра его выходила в обеденное время наружу и орала гундосо, истошно:

— Мись'а, иды ы'артоплю ис-ты!

Как бы рублила слоги, тяжелым языком одолевая согласные звуки.

Сам Мишка был еще сильнее гундос и тяжкоязычен, его в семье Гликманов называли «Пэтэлэлэ».

И Пэтэлэлэ, и дебелая сестра его, едва Арик появлялся во дворе, начинали без усталости, как заведенные, орать: — *Жид пархатый,*

*Колодком напхатый,
Гвоздыком прыбытый,
Щоб нэ був сэрдытый.*

Это повергало в отчаяние: гундосые дразнильщики казались отвратительными чудищами из страшной сказки. Ноги его подрагивали, кулаки сжимались, в голове стучало. И однажды, когда Пэтэлэлэ особенно усердствовал, Арик не выдержал, бросился на него, повалил наземь и яростно стал душить.

Если бы сбежавшиеся наблюдатели не отняли Мишку, он прикончил бы несчастного, стал бы убийцей восьмилетним. *Мерзавцем-евреем, душегубом.*

Потом ребенок долго бился в истерике. Его все еще держали. Юдофоб скрылся. А еврей орал:

— Пустите, сволочи! Все равно я его убью!

Сердце болело от обиды:

— Почему дразнят? Я ведь им ничего плохого не сделал! Наоборот, хочу, чтобы всем было хорошо. Всем!

И мерзкая мысль пришла в еще глупую голову. Гликманы долго и много едят, громко говорят на идиш, машут руками при этом. Дедушка и бабушка неграмотно говорят

по-русски. И молятся. Не похожи на папу. Гордоны — русские, хорошие, это Гликманы — евреи. Плохие. *Жиды*. Из-за них я страдаю. В деревне нас все любили. Не то, что в этом дворе.

Даже как-то, разгневавшись, назвал Даниила и Эстер *жидами*, на что дед возразил, горько и осуждающе рассмеявшись:

— А ты сам хто?

И вдруг Арик осознал: евреями рождаются. Как белыми или черными. Это Судьба. Ему стало страшно. И стыдно. Он, рыдая, просил прощения. Даниил гладил его по голове, Эстер шмыгала носом.

Двадцать лет спустя придет полурусская дочь Аарона из детского садика и, обняв отца, скажет, как бы защищая его, как бы кому-то возражая:

— Мой папа хороший, *он не еврей.*

Еще много лет пройдет — и расскажут Аарону восьмиклассники, что преподаватель-антисемит тайно и явно настраивает их против «*жиденка*» Славы, его внука, *еврея* лишь на одну четверть.

Самоубийца

— Художник удавился!

Через двор торопились носилки, на них лежало — длинным носом к небу и ногами вперед — тощее тело в черном костюме. Душа мальчика болезненно отозвалась. Он всегда жалел несуразного человека, когда встречал его во дворе: вечно спешащего, с устремленным вверх трагическим вопрошающим взором,двигающего огромным кадыком.

Кто-то сказал, что молодой художник повесился из-за несчастной любви. Арик возмутился: та женщина — плохая, она не пожалела несчастного. Бросить, забыть ее надо было — и все!

Мальчик не знал, что придет час — и сам он едва не покончит с собой, узнав об измене любовницы. Что придет иной час — и обманутая любовь разбудит в нем зверя, лишь случайность отвратит его от убийства.

Он пока еще считал, что такое бывает в книгах, но не в жизни. А если и бывает, то с *глутыми* лишь.

Мимо ворот то и дело проходили похоронные процессии. Играл духовой оркестр. Дети глазели, не вдаваясь в скорбные размышления.

Арик же чувствовал себя неуютно от похоронного марша. Знал уже: смерть каждого — это страшный уход *навсегда*.

После похорон художника духовой оркестр еще сильнее угнетал мальчика. Вспоминались торопливые носилки, кадык самоубийцы, длинный нос и вопрошающий судьбу взор его.

Сын проститутки

Ни с кем в классе не сближался Гордон. А Юра Макаров был даже как бы грязный, но именно он притягивал своей непохожестью на *благополучных*. Поговаривали о том, что мать Юры — проститутка, но Арик довольно туманно представлял себе, *что* делают проститутки и почему они плохие.

Макаров угостил Гордона папироской, показал, как надо затягиваться. Тот вдохнул дым, закашлялся. Вдохнул еще раз, еще — его затошнило, голова закружилась. Он горел, как в огне.

— Юрка, умираю, — стонал новичок, опустившись на землю, как подрубленный кустик.

Вырвало. Бледный, вялый, долго не шел домой. Однако постепенно мальчик привыкал курить: ему понравилось. Презирая себя за ложь, стал дома выпрашивать деньги на

мороженое, чтобы купить папиросу. А потом — и целую пачку: самых дешевых.

Знал ли он, что это вредно? Да, знал прекрасно: ему родители объясняли неоднократно. И даже книжку купили со стишками. Но не очень верилось в этот *вред*, а чувство животного наслаждения побуждало продолжать, хотя нет-нет да и тошнило сильно.

Обнаружив папиросы в кармане сына, Яков ужаснулся. Избил Арика. Снова обнаружил — и снова избил. Но мальчик уже втянулся в курение.

Макаров картаво пел гнусным голосом:

*Дид косэ — баба вяжэ,
Дид попыгосэ — баба ляжэ.
Дид — тык, баба — быгык:
Шо ты гобыш, мий стагык?*

Арик хохотал: ярко представлял своего деда, бросившего покос, и бабушку Эстер, возмущенную его поведением. Потом стыдился, сердился на Юру, на себя самого.

И вновь хохотал.

Украденные часы

Другой одноклассник Гордона по фамилии Кипнис, веселый и шустрый еврей, пел нецензурные песни:

*Захожу я в ресторан,
Опс-бири-бири-бумбия,
Две красотки там сидят...*

Кипнис высмеивал всех, в том числе и старшую сестру свою, и даже своего симпатичного деда. Последнее шокировало, казалось омерзительным. Но печального, тихого Арика подкупала нахальная жизнерадостность приятеля. Он хотел бы сам быть таким.

После визита этого одноклассника Яков нервно спросил сына:

— Где мои серебряные часы?

Мальчик не знал. Родители решили, что это — дело рук Кипниса. Арик же вспомнил, что приходил в те дни и Макаров. Кто же из них?

Был подавлен. Перестал встречаться с обоими.

Подружился с двенадцатилетним Рувиком Самборским, жившим в том же дворе, где и он сам. Обладавшим веселым и добрым характером, ярким румянцем во всю щеку.

Обожавшим кино.

Любимый Чарли

После уроков они встречались и, покурив, шли в кино-театр. Около входа выпрашивали у взрослых деньги. Сначала Арик не мог солгать подобно Рувикку:

— Тетенька, дайте пять копеек: не хватает на билет. Так хочется кино посмотреть! Дома нет денег...

Потом как-то набрался наглости и, покраснев до цвета свежерезанной столовой свеклы, выклянчил первый пятак.

Наконец, набрав по монетке на билеты, а подчас и на газированную воду с сиропом, они проникали в зал. Это была самая большая радость в их жизни.

В первые дни, вспоминая дома выклянчивание *копеечек*, Арик загорался краской. Но на следующий день снова шел за Рувиком. И краснел все реже.

О это кино! Лишала реальности окружающую жизнь, уводя из нее, многосерийная «Богиня джунглей». Экран втягивал в себя, словно волшебное зеркало. Руки впивались в поручни сидения. Чудо, чудо!

Совсем иное было в веселом и *хорошо завершающемся* кинофильме «Наталка-полтавка». Нехороший богач, подвыпив, пел:

*Всякий, хто вищий, той нищого гнэ,
Зовсим бэзсьльного топче и мнэ.*

Плохой богач был посрамлен. Но что-то страшное и неотвратимое чудилось Арику в его нехитрой песенке. Не верилось в окончательность его поражения, в его простоватость. Строки песни и ее мотив запомнились навсегда своим угрожающим смыслом.

Друзья обожали Чарли Чаплина. На его фильмы ходили многократно. Хохотали до колик, когда он проглатывал свисток и икал, вызывая неожиданные и смешные ситуации. Когда испортившийся автомат кормил его гайками вместо котлет. Хохотали над другими эпизодами. Задыхались, сползали с сидений.

Но с каким трудом Арик сдерживал рыдания, когда прозревшая цветочница узнавала руку того, кто оплатил ее лечение! Кто представлялся ей, конечно, совсем иным, когда она еще не могла видеть и только держала эту запомнившуюся руку.

Она, потрясенная неожиданным открытием, спрашивала бродягу:

— Вы?

Разоблаченный Чарли смущенно кивал.

Арик глотал слезы. Долго-долго будет помнить Гордон-младший эту сцену.

Чаплин сохранял в душе его подаренное от рождения: светлое и доброе, распахнутое, но в то же время непобедимо грустное.

Он полюбил великого актера навсегда.

Почувствовал силу и величие трагикомического, этой сути человечества.

Позднее узнает о том, что Чаплин — еврей, и станет ясно, почему столько грусти в его комедиях.

Посмотрев очередной фильм, они шатались по Киеву. С веселым и понятным Рувиком жить было легко и просто — и так интересно!

После войны Аарон попытается узнать о нем. Кто-то скажет, что и Рувик, и мадам Самборская, его пышнотелая красивая мама, лежат в Бабьем Яру с десятками тысяч других.

Первый тайм

Дядя смотрел, как Арик пишет в тетради, и улыбался.

Арик подумал, что ему нравится наладившийся почерк племянника. Но Симха сказал тихо:

— Молодец! А я вот уроки не делал, гонял в футбол во дворе. Мог целый день пропассоваться, как вон те пацаны за окном, потом играл в команде — за честь своего цеха. В армии играл, в сборной ... Жизнь — тоже игра, и тоже есть в ней первый тайм, смотри не проиграй его! Я-то проиграл...

— А с кем ты играл в жизни? С другими людьми?

— Нет. Каждый человек играет с Судьбой. Слышал про нее?

— Конечно. Судьба — это вроде биографии.

— Нет, Арик. Биография — это когда игра уже закончена.

— Когда человек умер?

— Иногда и раньше. Смерти никому не избежать, дорогой! С ней не поиграешь ... Это общее. А игра ... Нет, в другую игру мы играем с Судьбой.

— Какая еще другая игра?! Все ей проигрывают: умирают! Неужели я тоже когда-нибудь умру? Совсем? Навсегда? Нет! Я не хочу! Не хочу умирать!

— Читал стихи на обложке твоей тетрадки? Вот эти:

*Нет, весь я не умру:
Душа в заветной лире
Мой прах переживет...*

— Нет никакой души, это попы выдумали!

— Я тоже так думал. Но ... но пусть даже нет души! Пушкин все равно прав: сто лет прошло, а его стихи живы, и они будут жить, пока есть люди на Земле. Он и сам живет в своих гениальных стихах!

— Пушкина нет! Его убил Дантес, он проиграл!

— Проиграл тот, кому не удалось сделать ничего хорошего в жизни. Кто не создал ни стихов, ни машин, ни картин, ни зданий ... В общем, не оставил чего-то!

— Вот мой папа — врач, он может вылечить много больных, но не пишет стихов, не строит машин. Значит, он уже проиграл?

— Если ты не подведешь его и будешь хорошим человеком, то он не проиграл: он будет жить в тебе, а ты — в твоих детях. Если и они будут хорошими людьми.

— Неправда, такого не бывает! Каждый *сам* живет!

— Мал ты еще. Играй пока честно, как следует. Забивай голы! И не пей водку! Никогда! Слышишь? Потом построишь Колизей, пошлешь ракету на Луну или напишешь «Мону Лизу»!

— Что за Мона Лиза?

— Или откроешь средство против водки, а? — продолжал, как бы не слыша собеседника, Симха. — Найди себе в жизни великую цель — и ты выиграешь и свой первый тайм, и весь матч! А теперь пойдем гулять, купим мороженого, запомним газировочкой, картину посмотрим! Давненько я в кино не был. А ты?

Прогулки по мостовой

— Арья, по городу на лыжах пойдешь с нами? — позвали одноклассники, когда улегся на зиму снег.

Потерпев неудачу с коньками, он неохотно стал на лыжи, не верил в успех. Шел вместе с другими, полузамерзший,

по зимним улицам. То и дело разъезжались ноги. Падал, вставал, удивляясь появившейся злой настойчивости.

Согрелся. Перестало ломить пальцы рук и ног. Радостно застучало сердце, хотелось кричать о том, что он — *как все!*

Еще пару раз проскользили они по снегу, льду и булыжникам улиц Киева.

Пришло время кататься с горки, прыгать с трамплина, но тут он тяжело заболел.

Мучительная болезнь

Арик был дитя нездоровых родителей, наследственность проявлялась все новыми сторонами: он непрерывно простужался, часто и трудно болел ангиной. Грипп никогда не проходил мимо него в дни эпидемий. Несмотря на хорошее питание, он оставался невероятно худым, бледным, чрезвычайно нервным.

И к этому добавилось курение. Естественно, вскоре у него обнаружился туберкулез. Профессора-педиатры пришли к единому выводу:

— Только южный берег Крыма может спасти мальчика.

Однако выезд пришлось отложить: Арика свалила в постель неожиданная болезнь. Геморрагический колит. Звучало почти красиво, но...

Не успевал он встать с горшка и дойти до кровати, как его снова гнало обратно. Он плохо спал, почти не ел.

Мальчик все больше худел, его силы таяли. Однажды он настолько потерял себя, что закричал, напугав всех:

— Убейте меня, я не могу больше!

Болезнь продолжалась, Арику казалось, что не будет ей конца.

Однажды позыв кишечника оказался настолько силен, что больной даже не успел сесть на горшок: выстрелил содержимым кишки прямо на белую кафельную печь. Допелся со стоном до кровати, рухнул.

В тот момент появилась кошка Мурка, красавица камышовой масти, и заметила нечто новое на поверхности печи. Она подошла поближе, мурлыча, потягиваясь, и лизнула...

Душераздирающий вопль потряс весь дом, двор и окрестности. Несчастное животное огромными скачками умчалось в неизведанные дали.

Арик едва не задохнулся в приступе смеха: так разителен был контраст между настроением и поведением Мурки до печи — и после нее.

С этого момента он начал поправляться.

Голодную диету отменили, он начал есть всевозможные каши, а затем и нормальную пищу. Тем не менее врачи по-прежнему рекомендовали длительное пребывание в Крыму для его спасения.

Яков, успешно начавший интересное исследование, скрепя сердце, написал руководству кафедры заявление об увольнении. Был потерян его последний шанс на научную карьеру.

В крымский санаторий его приняли рядовым врачом. Зато сразу же дали казенную квартиру.

Последствием перенесенной Ариком болезни станет матерый геморрой с выпадением кишки. Скрывая постыдную на Руси беду, он будет стоять у станка, косить рожь, участвовать в военных учениях — и доводить себя до ущемления, при котором срочное вмешательство медицины будет становиться неизбежным.

Он будет неделями лежать со свинцовой примочкой на больном месте, читая книгу, лежащую на полу. Горестно страдая от сознания своей неполноценности.

Откажется от завидных перспектив. В радостно начавшийся день, собираясь в военно-политическую академию, будет разоблачен врачебной комиссией: выйдет в отставку в чине лейтенанта.

После запоздалой операции (в сорок лет!) продолжит скрывать от всех свое несчастье.

Глава четвертая

АЛУПКА

Свидание со сказкой. Снова язык... Внук миллионера. Море. Неизбежные поединки. Стахановец, он же Лентяй. Волшебство. Грязь на хрустале. Пионерский лагерь.

Свидание со сказкой

Мальчик с волнением смотрел на море с высоты Байдарских ворот, где автобус делал остановку. Удивительное чувство будет повторяться всю жизнь при виде еще как бы далекого, но уже близкого, серо-сине-голубого водного пространства.

И вот он в Алупке.

Это было чудо: улица-лестница, дугой спускающаяся к их новому жилищу; стройные кипарисы; близкий шум прибоя; опьяняющее благоухание южного воздуха.

Арик почувствовал пробуждение жадных к жизни сил в душе и в теле.

— Папа, папочка, какая красота! — взволнованно обратился он к Якову. — Как пахнет! Как легко дышать!

— Да, — отозвался отец, думавший о потерянной научной карьере и о том, что Ева приедет лишь через год и что ему придется все это время одному заниматься воспитанием сына.

— Надеюсь, хоть здесь ты перестанешь курить.

Домик, где им предстояло жить, располагался на плоской террасе, прорубленной в горном склоне.

Выше находилось великолепное здание дома отдыха, а ниже — каменный памятник-фонтан, сооруженный по приказу графа Воронцова в память о погибшем любимом животном.

Из двух металлических трубок и квадратной дыры в камне вырывались струи ледяной горной воды, прозрачной и вкусной.

— Какая сладкая вода! — закричал Арик, спустившись поутру к фонтану. — Только очень холодная, зубы ломит.

Мимо памятника-фонтана шла дорога к курзалу, над ней возвышалась каменная стена, увитая лозой дикорастущей чайной розы, источавшей дивный аромат. Стена завершалась плоскими камнями. На них можно было сидеть или лежать.

От земли вверху — около полуметра: это шла вглубь двора терраса, служившая опорой дому, где жили Гордоны.

— Дом врежется в гору, как дедушкин в Киеве, — удивился Арик.

— Да, — согласился Яков. — Будь он многоэтажным, то красиво возвышался бы над этой площадкой. Главное — другое: климат здесь лучше и полезнее.

К дому от дороги поднималась каменная лестница, прорубленная в стене, увитой розами.

В квартирке, состоявшей из комнатки и застекленной почти до пола веранды, стояла казенная мебель: две койки, стол, гардероб и буфетик, пара табуреток.

Во дворе сушилось стираное белье, которое никто не воровал. Манили своими плодами слива, инжир, груша, шелковица.

А если взбежать по площадкам лестницы-улицы к ресторану «Дюльбер», то увидишь веселого татарина, зазывающего:

— Чебурег! Есть горячий чебурег!

И можно купить задешево пару вкусных и сочных чебуреков: не то жареных вареников, не то блинчиков-пирожков с мясом.

Снова язык...

В предотъездной спешке Гордоны потеряли табели успеваемости за первый и неоконченный второй класс, поэтому для приема в школу новичку был устроен экзамен.

Арик прошел собеседование успешно, учителя решили посадить его — по уровню развития — в пятый класс, но язык и тут подвел:

— Ничего, что я не окончил второй класс из-за болезни?

Так же, как когда-то в Киеве, переглянулись экзаменаторы и решили посадить Гордона в четвертый: мал еще для пятого, а в третьем ему делать нечего.

— Снова твой язык, — сказал раздосадованный Яков сыну. — Мог бы не один, а два года учебы сэкономить.

Внук миллионера

Скучать не приходилось: все в Алушке было не таким, как в Киеве, все следовало изучить, освоить. Сначала — то, что рядом с домом. Природу.

Летним днем трещали веселые цикады. Потом он увидел скорпиона. К тому времени Арик уже знал, как он опасен, такой небольшой. Были еще сколопендры, всевозможные мокрицы, сороконожки, пауки. Мальчик быстро привык к этим насекомым.

Меньше всех оказались крошечные москиты, но средств против них не было, от их укусов возникали на коже вспухания — и зуд был ужасен. Однако со временем он привык

и к москитам. Загорая, почти перестал реагировать на их укусы.

Он узнал также, что полоз не опасен: его можно, как ужа, носить за пазухой, пугая непосвященных. Иное дело — гадюка. Это — смерть.

Первым проводником в Крыму и добрым другом Арика стал Слава Медведев. Он появился на второй день после приезда Гордонов, протянул руку и сказал как-то необычно, будто из книги о прошлом только что вышел:

— Разреши представиться. Я Вячеслав Медведев, ваш сосед.

Две дочери купца-миллионера Медведева жили с семьями в бывшем домике для слуг, стоящем на второй террасе, вырубленной выше террасы дома Гордонов в том же горном склоне.

Рядом с домиком для слуг возвышалось солидное, в несколько этажей, здание дома отдыха. Оно когда-то принадлежало Медведевым.

Оказалось, что Слава учится в параллельном классе. Большой, полноватый, с веснушчатым лицом, мальчик понравился и умом, и добродушием, и достаточным чувством юмора.

— Ты, надеюсь, играешь в шахматы? — спросил он.

— Нет. Только в шашки. И то не очень.

Арик вспомнил, как ловко его обыгрывал дедушка, поддавись для виду, потом же срубая сразу по несколько шашек.

— Не беда: научу, — обрадовался Слава.

И учил — добросовестно. Не жульничал. Не воровал, как другие мальчики, фигур с шахматной доски. И Арик, признававший только честную игру, проникся к нему уважением и доверием. Гордон и позже, став взрослым человеком, не будет признавать шулерства в любых состязаниях и потому будет проигрывать.

Они часто обменивались впечатлениями о прочитанном и, конечно же, новыми анекдотами. Не всегда приличными. Начитавшись Дюма, фехтовали прутиками.

— Защищайтесь, месье, защищайтесь! — изрекал с улыбкой Слава.

Арик тоже принимал позу, топал ногой, начиналась дуэль. Устав, играли в шахматы.

— Ты сможешь перелезть с крыши на кипарис? — спросил через несколько дней Слава, объявив ученику очередной шах и мат.

Арик вспомнил храброго Шурика: тот перелез бы сразу. Кипарис стоял совсем рядом с крышей, на углу которой они оказались. Слава перебрался на дерево, но маленький Гордон долго трусил. Потом, наконец, устыдился: Слава же может! Решился — и перелез. Понравилось.

Преодолевая тошнотный страх, начал переправляться ежедневно. По пять-шесть раз. В одиночку.

Еще страшнее было прыгать со склона на крышу и обратно: можно было упасть в узкий проход между стеной дома и склоном, в который некогда вгрызся дом.

Но мальчик и здесь победил: разогнался, прыгнул — и ... сел на кровлю.

— Молодец, — на преподавательский манер поощрительно похвалил Слава.

Все же каждый раз Арик трусил, прыгая. Ноги слабели, сердце замирало. Злился на себя. Но с верой шел за новым другом. И радовался преодолению страха.

— Теперь, — сказал Слава, — главный трюк! Взирайте же, синьор, — и поражайтесь!

Сорвался с гладкой ветви раскидистого дерева, за которую держался руками, на лету ухватился за ветку, протянувшуюся ниже, спружинил — и закачался.

Арик взобрался на дерево, добрался до верхней ветки, но сначала не срывался с нее, схитрил: ухватился

за нижнюю ветку одной рукой, после чего отпустил верхнюю ветку. Потом решился: подраскачался — и, разжав

руки, слетел; в полете ухватился за нижнюю ветку, спружинил руками; закричал гордо и радостно.

— Ты молодец, — снова похвалил ученика благородный Слава.

И стало это для Арика любимым упражнением с той поры. Он добивался в нем все больших успехов, осваивал все новые ветки. Но однажды просчитался, пролетел мимо — и упал на колючую проволоку, ограждавшую участок.

Процарапал руку, проколол пятку, перепугал только что приехавшую из Киева Еву, но заражения крови, которого она боялась, не произошло.

Раненый несколько дней гордо демонстрировал свою хромоту детворе.

Во дворе у самой «стены роз» стояло большое *иудино дерево* (так называли его друзья Арика), на котором были вкусные цветы, напоминавшие акацию. Дети взбирались полакомиться и на другие деревья. Инжир ели не дозревший, сливы — совсем зеленые. Губили зубную эмаль.

Поедал и Арик вместе со всеми ягоды паслена, цветы и плодики трав. Вот тут-то и случилось неожиданное и весьма неприятное.

Участок за колючей проволокой был спуском к фонтану. На этом спуске росли всевозможные травы. Одна из них показалась мальчику щавелем, он сорвал лист и стал жевать, предвкушая приятное.

— А-а-ааа! А-а-а...

Рот ожгло адским огнем.

Арик в ужасе выплюнул ожевки, спустился прыжками к фонтану, полоскал долго рот, едва не воя.

Кое-как в себя пришел. Никому не рассказал о случившемся: каким дураком выглядел бы!

Море

Оно было прекрасно, особенно утром ранним, в штиль, когда зеркальная гладь вызывала душевное волнение, манила, как бы предлагая слиться с нею навеки. Увы, он не только любил море. Он боялся его. В семье некому было научить его плавать, чужим — не доверял.

Однажды его сбросили с лодки, но испытанный способ не сработал: Арик потерял дыхание сразу же, не смог барахтаться, едва не утонул — и после этого боялся и подозревал всех; не подпускал близко, купаясь; садился в лодку только со взрослыми.

— Трус, трус, боягуз! — кричали сверстники, смеясь.

Он решил самостоятельно научиться плавать: заходил в воду по грудь и загребал к берегу по-собачьи.

— Эй, пацан, зайди по горло! — кричали ему курортники.

Решился. В штиль зашел по подбородок. Потом стал ложиться, погрузив лицо в воду и вытянувшись. Когда требовалось снова дышать, пугливо вставал.

После многих попыток ухитрился лечь на спину, раскинув руки и ноги в стороны, но не дыша. Через несколько дней смог дышать, лежа на спине, — и радовался: он не тонет, не тонет!

Однажды тихим утром Арик настолько уверился в себе, что поплыл неким подобием брасса от берега. Движения его становились все более уверенными.

— Ах, как хорошо! — подумалось радостно.

Но уже через короткое время мальчик устал и начал задыхаться. Испугался было, но успокоил сам себя коекак. Лег на спину, отдохнул. Развернулся головой к берегу — и увидел, что желанная земля не так близко, как он предполагал.

Страх охватил его, движения стали чересчур сильными, утомительными, плохо координировались.

Он забарахтался на одном месте. Задыхался мучительно. Уже не мог уговорить себя быть спокойным.

— Ты плывешь или тонешь? — послышался громкий насмешливый голос.

Кандидат в утопленники увидел на берегу загорелого парня, узнал спасателя. Сил ответить не было, но он немного успокоился, забултыхался более уверенно — и через некоторое время, показавшееся ему вечностью, рука его коснулась дна.

— Я чуть не утонул, — сказал он смущенно и рухнул.

— Я бы тебе не позволил, — гордо улыбнулся тот. — Заруби на своем носу: вода не любит тех, кто ее боится.

Арик больше самой воды боялся людей: начнут еще *давать нарзану*, то есть приутоплять, надавив на голову. *Шутить*. И — утопят в самом деле.

Неизбежные поединки

Школа была не близко, в соседней Алупке-Саре. Чтобы не опоздать, приходилось бежать всю дорогу, более километра.

— У человека есть пять чувств, — утверждал учитель, — это зрение, слух, вкус, осязание и ... гм ... обаяние.

Арик, услышав, сначала даже решил было, что Волохин так шутит. Учитель был деспотически строг, но в то же время поговаривали о том, что дома его поколачивает жена. Поэтому Арик искренне жалел его, но не уважал и не любил, даже не мог скрыть этого. Волк, как прозвали Волохина дети, отвечал ему взаимностью. Придирился. Ехидничал.

Казалось, он стал учителем для того, чтобы делать жизнь всех учеников невеселой, а существование Арика — невыносимым.

Зато с одноклассниками отношения сложились благополучно. Началось с того, что на первой же перемене новичок открыл пачку папирос и угостил курящих. Потом, когда на большой перемене он вынул из портфеля бутерброд ошеломляющего размера с маслом и сыром, остролиций Спицын крикнул:

— Сорок! Сорок! Сорокни!

Арик отполовинил завтрак.

— Ты грубый пацан, — похвалил одноклассник, поев.

Тут же он придумал щедрому кормильцу кличку. Как и свою собственную — от фамилии:

— Гордон? Значит, будешь «Гордый». А я — Спица.

Драки тоже не заставили себя ждать. Первая была, как ни странно, с тем, кому «сорокнул» бутерброд. Худощавый Спицын, отчаянный храбрец, вызывал у Арика, как и у многих, страх своей необычной бледностью, решительностью и беспощадным взглядом. И вот именно с ним началась из-за какого-то пустяка злая словесная перепалка. Сцепились руками.

— Двое в драке, третий — в сраке, — закричали мальчишки и расступились, став в круг.

Схватка была краткой и жестокой, но Арику чудом удалось схватить Спицу, повалить и опрокинуть на лопатки. Удивленный одержанной победой, он помог сопернику встать.

— Это случайность, — сказал победитель смущенно.

Ждал в тоскливом напряжении, что противник снова накинется на него: запала на вторую схватку не хватило бы у Гордона. Однако и Спицын предпочел не рисковать вторично. По каким-то своим соображениям.

Следующая драка была с Чуркой (Чуркиным), который, как и Спица, «боговал», то есть верховодил среди мальчишек-сверстников. Она тоже ко всеобщему потрясению закончилась победой новичка, хотя второй его противник был крупнее и сильнее первого, да и в храбрости ему не уступал. *Кто помог или что помогло?*

Если всех поразили две победы хилого Арика, то его самого — то, что ни Спицын, ни Чуркин не пытались мстить. Они даже подружились с новичком. Это было так не похоже на киевский двор!

Потом не раз придется драться, но выходить из поединков не с победой, а с носовым кровотечением и поражением. Тем более удивительными и даже странными покажутся эти две первые схватки: будто некая сила поддерживала в тот трудный период, решающий положение новичка среди мальчишек.

А через пять лет в городке на Волге после его пощечины юдофобу-ровеснику семеро незнакомых здоровенных парней встретят Арика вечером и будут с насмешками избивать. Лишь чудо спасет его. И душевная рана окажется глубже, страшнее полученных травм физических.

Надолго сделает его равнодушным ко многим былым моральным призывам и запретам.

Стахановец, он же Лентяй

В том же четвертом классе Арик выступил в литературной композиции, посвященной стахановскому движению. Режиссером была незнакомая женщина, которую пригласил учитель Волк.

— А я — Кривонос! — звонко начал свою партию Гордон от имени стахановца-железнодорожника.

В зале засмеялись. Фамилия знаменитого машиниста после этого некоторое время была школьной кличкой Гордона.

Затем ему была доверена важная роль Лентяя в пьесе «Кто не работает, тот не ест». Там был пирог, который труженики ели, а он не мог: для Лентяя пирог все время оставался *слишком горячим*, недоступным.

Роль Арика была в спектакле главной, та же самая женщина-постановщик была недовольна маленьким актером и все время требовала от него чего-то, по его мнению, ненужного. Образ Лентяя в итоге оказался исполнителю надуманным, а сама пьеса — бестолковой. Странно звучали слова:

*... я так устал,
Что нынче даже завиваться
У парикмахера не стал.*

— Это же какой-то маркиз или граф, — доказывал ученик Гордон, — наш советский лентяй не завивается у парикмахера. Зачем ему это? И где он денег возьмет?

Обжигаясь якобы, Арик должен был говорить о заколдованном пироге:

— Фуй, какой горячий!

Напрашивалась нецензурная ассоциация на короткое «фуй», слово тоже из трех букв, и это мешало. И вообще он себя чувствовал каким-то лжецом, участником скучной и бездарной игры в якобы интересное.

Кличка «Лентяй», вопреки его страхам, не прилипла.

Волшебство искусства

Софья Николаевна Тутолмина, аккомпанировавшая всем солистам и ансамблям в концертах художественной самодеятельности санатория, сразу же завоевала симпатию Арика. Эта полная дама средних лет была в движениях стремительна, а взгляд ее из-за толстых стекол вечно поправляемого пенсне лучился добротой необыкновенной.

Говорили, что Тутолмина — дворянка. И Арик спросил Якова:

— Как же так, папа? Софья Николаевна — дворянка, она из бывших, а такая добрая, такая хорошая.

Старший Гордон не рискнул ответить прямо. Тихо, как бы нехотя, процедил:

— Хорошие люди — везде хорошие. Плохие — везде плохие. Тутолмина — очень хороший человек. Вот и все.

Арик не понял. Но переспрашивать не решился.

Была у Софьи Николаевны дочь лет двадцати пяти, звали ее Наташей. В концертах художественной самодеятельности она пела и декламировала. Благодаря выразительности голоса Наташи и чуткости сопровождавшей ее на фортепьяно Софьи Николаевны познал Арик силу воздействия мелодекламации:

— Идет, гудет зеленый шум...

Потрясала, становясь близкой, трагедия обманутой любви, ужасал кошмар злобной ревности. И умиляла мудрость возвышения души, покорял светлый пафос всепрощения:

*Припас я вострый нож.
Да тут весна подкралась...
Прощай, пока прощается...*

В то же время смутно ощущал мальчик второй план — тоску Наташи по чему-то далекому, ему не известному: по утерянному миру иной красоты, из которого пришла в зал бледная девушка, читавшая стихи под фортепьянное сопровождение.

Арику хотелось подойти и сказать ей:

— Спасибо, Наташа, за счастье слушать вас.

Он приблизился к ней однажды, но внезапно смутился — и убежал.

В концертах художественной самодеятельности санатория иногда принимал участие скрипач Илья Исаакович Блейз. Печально было лицо его, печально звучала его скрипка. Говорили, что он болеет туберкулезом. Арик мечтал с ним познакомиться, рассказать, как любит музыку, но решался лишь стать на его пути и произнести:

— Здравствуйте, вы сегодня будете играть?

Зимой и в плохую погоду концерты проходили в клубе санатория, не очень большом, но уютном. Здесь часто проводились музыкальные викторины, в которых и юный Гордон принимал участие, узнавая произведения, называя композиторов, но ничего по сути не зная о них. Был как бы ученым попугаем.

Рядом с ними жил баянист санатория. Когда Яков представил сына, он, протянув руку, сказал просто:

— Саша.

Мальчик был потрясен тем, что взрослый назвал ему только имя, как равному. Но, виду не подав, крепко пожал руку соседа.

Вскоре Саша начал раздражать Арика: часами проигрывал он на баяне то быстро, то медленно кусочки произведений, отдельные пассажи. Это было мучительно. Это гнало из дома.

Но в зале Арик с удовольствием слушал и сольные выступления соседа, и иллюстрации к музыкальным викторинам. По утрам доносилась его игра на физзарядке в санатории.

— Не сбивается, вон как ловко *гоняет* пассажи, которые *вымучивал* дома, — удивлялся мальчик.

Из динамиков санаторского радиоузла звучало все вперемешку: классика, эстрада, народные песни. Лилась да и лилась музыка.

Звали подвигать плечами и ногами «Рио-Рита» и другие фокстроты. Расслабляло танго. Требовала особых движений, даже пантомимы, Вторая венгерская рапсодия Листа, а его дивные «Грезы любви» погружали в светлое, вечное — и станут навсегда символом великого, полетного чувства любви для Аарона.

Потрясал, взвинчивал, звал куда-то чуткую душу мальчика первый концерт Чайковского для фортепьяно с оркестром. Волновали Моцарт и Бетховен, Рахманинов и Прокофьев.

Он еще не знал имен авторов, это придет позднее, но музыку чувствовал глубоко — и не в силах был сдержать слезы счастья, приобщения к *тайне Великого*.

Стесняясь своей чувствительности, мальчик никогда ни с кем не делился мыслями о странном воздействии музыки на него.

Ни с родителями, ни с товарищами.

— Еще засмеют, станут звать девчонкой, — думал он.

В курзале пел Эпельбаум. Повергала в грусть, словно о себе пел старый шансонье, песня на русском языке: как догнали люди свои молодые годы, а те не захотели вернуться.

Арик жалел певца — и всех, кто уже состарился.

Пела актриса в клубе:

*Каждому хочется счастье найти,
Любить и быть любимой.
Счастье лежит у нас на пути,
А мы проходим мимо.*

Он любил этот грустный романс — такой теплый, душевный. Боялся неизвестного будущего — и все же втайне надеялся, что не пройдет мимо своего счастья, не будет искать иного, не настоящего. Не знал еще, что построить свое счастье значит сначала построить свою личность, возвысить душу свою.

Много национальных ансамблей танца и песни побывало в алупкинском курзале, но наиболее впечатляли грузинские. Поражали сила, неутомимость и ловкость мужчин, гордая нежность женщин.

Арик попробовал было дома пройтись на носках. Ничего не вышло. Подвернул ступню. Болело долго.

Иногда он приходил в клуб санатория, открывал фортепьяно и начинал на слух подбирать мелодии. Он почти не ошибался, угадывая тон клавиши перед тем, как нажать ее.

Один из школьников показал ему, как надо играть татарскую песенку с простеньким аккомпанементом. Другой научил исполнять «Собачий вальс».

Но не этого хотел он, не этого: жажда настоящего музицирования жила в нем. Она однако же останется не реализованной все грядущие годы: окажется, что стоит начать — и сразу же, а подчас и не сразу, появится какая-то внешняя помеха.

И не только: будут мешать собственная его неспособность к длительному напряжению воли, разбросанность интересов, непостоянство, нетерпение.

Грязь на хрустале

Волновали мальчика песни о море, одна из них особенно часто неслась из курортного динамика:

*Лейся, песня, на просторе!
Не грусти, не плачь, жена!*

Казалось, это он, уже взрослый, поет, а жена, любимая и любящая, ждет его.

В школе слышал другие песни о море и моряках:

... плачет девушка в серенькой юбке...

Он жалел несчастную, ненавидел обманщика, был уверен в том, что сам никогда бы так не поступил.

Слышал песни откровенно циничные, иногда и омерзительные:

*А капитан услужлив был,
Меня в каюту пригласил...*

Он не высказывал вслух своего отвращения, даже пытался смеяться со всеми вместе, хотел быть или хотя бы казаться таким, *как все*. И — привыкал, приобщался. Так было и в Киевском дворе.

То же происходило, когда приносили коряво переписанные похабные стихи о Луке Мудищеве и им подобные:

ему было противно, но показать это — стать изгоем, подобием прокаженного среди мальчишек.

И он слушал стихи, слушал комментарии сверстников — вершилось его собственное перерождение: сначала привык, потом и сам уже испытывал удовольствие. Все больше тяжелой грязи налипало на хрусталь священных идеалов: она внедрялась, раскалывала хрусталь, надламывала, разрушала.

— Почему в книгах столько написано о любви, а мы с мальчиками не говорим о ней? Почему — только о грязном? — поражался Арик. — Или так положено? И взрослые дяди тоже были в детстве такими, как мы?

Пионерский лагерь

В пионерский лагерь он не хотел ехать, кричал сердито:

— Я же не пионер! Меня же выгонят!

— Не выгонят: мы деньги заплатили за путевку, — возражала Ева. — Зато отдохнешь там. Поправишься.

— Здесь тоже курорт! И еда в санатории не хуже, чем там! Не хочу!

Но оказалось, что напрасно он сопротивлялся: в лагере было весело. Ходили ребята в походы, играли в разные игры, купались в море. Работали интересные кружки.

Жили они в палатках на восемь человек, жили дружно, без драк, хотя и подшучивали друг над другом. Кормили их весьма неплохо, но мальчишкам не хватало: требовали добавки.

Многие курили. Даже некоторые девочки. Учили других курить. Частенько озорничали.

Из вожатых больше всех полюбился им весельчак и балагур Чилиби. Сядет, бывало, с пацанами на землю и начнет:

— Было это, когда я при царе служил боцманом...

— Во дает, — восторгались слушатели, знавшие, что их вожатый родился после революции.

Ждали небылиц — и надежды оправдывались. Хохот гремел.

Прекрасны были пионерские костры, торжественные и радостные: все становились единой семьей, как бы роднились.

К концу сезона уже и не хотелось домой. И печальным было расставание с лагерем.

Никто не спросил Арика, пионер он или нет.



Глава пятая

УСЛОЖНЕНИЕ ЖИЗНИ

Пятый класс. Елена и Эвгена. Пипин Короткий. Не наука, а искусство. Зов сцены. Песни звездного неба. Дворец. Вожак. Неудавшийся солист.

Пятый класс

Многое изменилось с переходом в пятый класс. Вместо одного Волохова появилось несколько преподавателей; у каждого были свои требования, даже причуды — приходилось приспосабливаться к ним. Сложнее и объемнее стали домашние задания.

И управлять избавившимся от тирании Волка пятым «А» классом не всем преподавателям удавалось в полной мере.

Сменилась и кличка Арика. Расширяющаяся благодаря запойному чтению эрудиция была отмечена: «Профессор».

Однако в лестном псевдониме вскоре обнаружился изъян. Пришел Арик к приятелю, а его братдесятиклассник подал в лицах пастуха-Утесова и козла при перекличке скота в кинофильме «Веселые ребята»:

— Профессор! — вызывает Утесов-пастух.

— Ме-е-е! — отвечает козел.

Арик обозлился, но тут же засмеялся.

Класс был многонационален: Удачин и Насретдинов, Усатюк и Берлянд, Ивашенко и Хачатурян, Михайловская и

Борзали. Были и дети, и почти взрослые, один за одним покидавшие школу по возрасту еще до окончания семилетки.

Спокойный и добрый Борзали вскоре умер. Хоронить его пошел весь класс.

Солнце жарко и щедро светило, чуть заметно прикосался к телу ленивый ветерок, а в гробу лежал товарищ, ушедший навсегда. Его убил туберкулез.

Арик оставался самым младшим и самым маленьким среди одноклассников. Сидел он за задней партой, и лишь изредка его пересаживали вперед: когда очень уж мешал вести урок.

Мешал он обычно во время опроса отстающих учеников: то подскажет нарочно неверно, то из рогатки в когонибудь скрученной бумажкой выстрелит, то бумажного голубя запустит к потолку.

— Зачем тянуть кишки из них? Лучше бы со всеми заняться делом, — злился на учителя непоседа Гордон.

Он скучал. Читал, как и другие, роман через щель в крышке парты. Нередко и во время объяснения Арик скучал: уже выучил новые параграфы дома. Его выгоняли из класса. И тогда укорял себя, презирал, ненадолго менялся.

Зимой штормило, по дороге в школу ветер сбивал с ног. Он срывал с домов вывески, кровли. Приходилось буквально ложиться на встречный поток воздуха, чтобы продвигаться.

Когда же он дул в спину, то гнал и гнал вперед. Холод при этом пронизывал насквозь. Мальчик вспоминал Пири, Амундсена.

— Вперед! — кричал сам себе. — Только вперед!

К весне наступило тепло. Раздавался вдруг клич:

— Пошли на сократ!

И вместо урока бежали мальчишки к морю. Потом шли в кабинет к директору.

Обещали больше не повторять такого.

Повторяли.

Елена и Эвгена

В пятом классе явилась им Елена Александровна Верейская, преподаватель русского языка и литературы. Ее неожиданные мысли, ее рассказы о том, чего не найти было в учебнике, ее понимание их детских душ не могли не вызвать глубокого уважения, восхищения даже и некоего по добия поклонения.

Было ей около сорока лет. Ее полноватая фигура не была красива. Лицо же, умное, интеллигентное, нервное, невольно притягивало, вызывало симпатию.

Когда Елена, как называли они ее между собой, рассказывала, нередко сидя на краю стола, о жизни и творчестве писателя, то ученики как бы проникали в душу того, далекого от них человека.

Страдали вместе с ним и боролись за его идеалы. И сама она, их любимая «русачка», удивительная и загадочная, становилась сказочно прекрасна.

— Елена Александровна, я многое хотел бы вам сказать, но слова вряд ли выразят мою благодарность за все, за все!

Это произнесет Аарон Яковлевич спустя четверть века, представив ей своих детей.

— Папа рассказывал о вас, — пробасит сын его.

— Он вас любит: если бы не вы ... — начнет фразу и запнется дочь.

— Ваш папа был сложный мальчик: этакий, знаете ли, юный Печорин-Байрон, нередко злой, но в то же время нежный, ранимый, беззащитный, — нахмурится Елена Александровна. — Я за него побаиваюсь, хоть он и отец уже. Чудовищная противоречивость!

Совсем иной была Анна Ивановна, старенькая преподавательница биологии и географии: худенькая,

— Замбези, Конго, Нигер, Нил, Оранжевая, Лимпопо...

— Хватит. Покажи. Да не вздумай водить носом по карте. Быстренько!

Арик показывает, стоя сбоку от карты.

— Так, голубчик, снова повернись лицом к классу и назови озера Северной Америки, не запинаясь, — продолжает женщина, глядя на притихший класс.

— Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио, — выпаливает вызубривший ученик, зная, что оценка зависит и от скорости перечисления.

В то же время можно было заработать оценку «отлично» и за крохотное дополнение с места. *Проследить по книге* за ответом товарища и добавить упущенное: по мнению Арика, сущую безделицу.

— Еще какой приток есть у Днепра?

Молчит у карты Спицын, взгляд его тосклив.

— Ворскла, — выпаливает Чуркин.

Он поднял руку, вычитав на карте имя реки.

— Ценное дополнение. Оценка — «отлично», — изрекает мучительница торжественно.

И заставляла ведь весь класс *работать* в течение всего урока! Скучать на ее уроках было некогда.

Зато удавалось подсказывать *ценные* дополнения двоичникам, а иногда, все от той же скуки, — подсказать неправильно:

— *Замбези, Конго, Нил, глаукома, паранойя, дебил...*

Стрелял названиями и именами судорожно вслушивавшийся в подсказку ученик, брови Эвглены Зеленой (так прозвали старушку) ползли вверх.

Все хохотали, Арик же радовался тому, что развеселил класс. Потом сам себя стыдил, мучился. Давал себе слово не делать больше так, но не выдерживал. И снова каялся.

На уроках Эвглены Зеленой он с особым удовольствием запускал бумажных голубей и стрелял скрученными бумажками из рогатки — тонкой резинки, надетой на пальцы.

Разозленный одноклассник, в которого он попадал, отвечал тем же. Это веселило. Пока не выгонят с урока. Обоих. И можно будет покурить. Дружно.

Анна Ивановна заставляла перерисовывать из учебника биологии иллюстрации.

— Зачем это? — поражались ученики. — Знаний нам не прибавит! Только время тратим! Хватит с нас и контурных карт по географии!

Но рисовали. Гордон тоже рисовал. Почему-то у Арика все получалось как-то более широко, более толсто, чем в книге, но постепенно он преодолел эту странную тенденцию — и тетрадь его по биологии пошла на выставку куда-то.

Ева радовалась.

— Ничего хорошего: потеряют мою тетрадку и не вернут никогда, — проворчал Арик.

Так и случилось.

Впрочем, много плодов его художественного творчества: пьес, рисунков — еще будет потеряно — и чужими, и даже самыми близкими людьми.

Только раз дано было им по биологии действительно интересное задание: горошина, положенная на мокрую ватку, вскоре явила миру крохотный зеленый стебелек с двумя нежными листочками. Растение потянулось к солнцу.

— Мама, посмотри! Мама! — закричал ученик утром, увидев это чудо.

Он не находил себе места, то и дело подбегал к росточку, проникся к нему глубокой нежностью, всем соседям рассказывал о чуде. Ева радовалась: сын нашел настоящее дело!

Но на этом задание кончилось. Что делать дальше, сам Арик не знал — и возникший было интерес к предмету увял так же, как тот бедный росток гороха на мокрой ватке.

Пипин Короткий

Историк, пришедший к ним, был удивительно забавен. Огромный, лохматый, толстогубый, Владимир Георгиевич Дубровин обращался к ним уважительно — на «вы», а разозлившись на нарушителя дисциплины, подходил близко решительным быстрым шагом, разворачивался боком к тому грозно — и...

— Как вам не стыдно! — гневно стыдил густым и добрым-добрым голосом.

Долго не могли ему придумать кличку, но едва Дубровин назвал Пипина Короткого, как привел всех в восторг: вот оно, то самое, наконец-то!

Славный Пипин Короткий! Навсегда он останется для Аарона светлым образцом интеллигентного человека.

Каждый раз, когда он гневался, дети ждали, что педагог, наконец, стукнет того, над кем навис своей огромной массой, пока не поняли: да никогда ведь не сможет. Не такой он — вот и все!

Он олицетворял собою трагикомичность жизни и одновременно ронял в юные души зерна будущих всходов Добра. Владимир Георгиевич Дубровин дополнял прекрасную и неповторимую Елену Александровну Верейскую.

Огорчала лишь хронологическая таблица. Арик и не мог, и не хотел запоминать даты, своей же рукой вписанные в тетрадку.

То ли дело — план «Илиады», план «Одиссеи!» Как красиво диктует преподаватель! И звучит как здорово: «Между Сциллой и Харибдой!» «У Полифема!» Это же музыка! Это — не план, а заклинание! И как легко все запомнить!

Когда преподаватель сообщил о том, что у древних евреев знаменем был конский хвост, все засмеялись, но тут же прозвучало неожиданное и радостное для Арика:

— Это были храбрые воины, редко отступавшие в сражениях.

История древнего мира и средних веков — это Пипин Короткий, такой старательный, заботливый, такой умный — и такой беспомощный. Его любили ученики. Искренне. Но безжалостно: дети подчиняются только силе — и доброй, и злой.

Не наука, а искусство

Яков уже приобрел учебники для шестого класса. Арик листал их, кое-что прочитал. Страшными и какими-то серыми показались средние века.

С волнением ждал ученик начала занятий.

Встреча с друзьями и преподавателями была радостной.

День Арика Гордона начинался в школе, где учиться становилось все труднее: появились алгебра и геометрия, потребовавшие от мальчика значительных умственных усилий. Он обращался к Якову. Отец, как бы ни был занят, оставлял все. Задавая сыну наводящие вопросы, побуждая к самостоятельному поиску причин и связей, объяснял то, что было раньше необъяснимым, непонятным.

Сын удивлялся:

— Как же это просто!

Пройдет много лет, прежде чем Аарон поймет, что именно Яков умел *делать сложное простым*. И придет к выводу: педагогика — не наука, а искусство! Изучение даже самых передовых методик не сделает тебя настоящим преподавателем, если ты не одарен от природы набором необходимых качеств.

Зов сцены

Арик быстренько справлялся с письменными заданиями — и мчался к друзьям. Однажды споткнулся, сломал руку. Гордо носил ее, загипсованную, перед собой! Писал — левой рукой!! Почерк улучшился.

До вечера — беготня по парку.

И вот, наконец, курзал! Здесь давали представления многие театры, в том числе и столичные. Детвора регулярно их посещала.

В сознании мальчика все спектакли смешались в некий непрерывный праздник: праздник-открытие, праздник-радость, праздник-зов.

Не меньше, а даже, пожалуй, больше, чем театр, нравились выступления декламаторов. Он как бы вместе с ними посылал другим душам звучащее слово. Запоминал необычные жесты, интонации, паузы. Пытался понять, *что* именно действует сильнее на него самого, на публику. Вслушивался даже в вибрации голоса, в оттенки его усиления, ослабления.

Муха! — громко восклицала чтица одновременно с жестом — выброшенной вперед ладонью-щепотью.

Зал замирал озадаченно. А она продолжала — уже спокойно:

— ... села на нос коллежского ассессора...

Оживлялся Арик, слушая скетчи-пародии.

Это была, во-первых, басня о *советской* вороне, не каркнувшей, не поддавшейся на лесть лисы. В конце интермедии оба актера синхронно удалялись за кулисы, по-детски напевая под протанцовку:

— *Пока, пока! Ищите дурака!*

Еще сильнее врежется в память сценка, где некто пытался создать колыбельную песню эпохи великих побед, и его творческие муки завершались маршевой находкой:

— *Спи, моя радость, проснись! Раз-два, раз-два! Раз-два! Рраз-двааа!*

Юный зритель не понимал, что якобы невинные интермедии разрушают привычный образ прекрасной советской действительности. Создают в подсознании нечто, ожидающее своего часа.

Сцена *звала!*

Он чувствовал этот зов всем существом своим.

Песни звездного неба

После курзала Арик спешил домой, прыгая со ступени на ступень каменного ограждения длинной лестницы, любовался своей ловкостью, смелостью: разбежался по плоской части — и прыгал в полутьме на следующую плоскость. Верил, что идущие толпой по лестнице любят его стремительным бегом.

— Эх, как здорово сигает! — думают они, наверно.

Все эти люди, густо шуршащие шагами, казались ему такими хорошими, близкими! Он хотел бы крикнуть им об этом так, чтобы каждый из них услышал:

— Я люблю вас всех, люди! Я хочу вам добра-а!

Он хотел им сообщить что-то очень важное, что сделало бы их жизнь еще лучше, но это *что-то* еще не отлилось в свою земную форму: оно жило в душе его лишь ему слышной, неземной, дивной музыкой сфер.

Придя домой, Арик ложился на любимый камень покрытия увитой розами стены двора, теплый еще от дневного солнца, и слушал доносившуюся из динамиков радиозула музыку, слушал вечный шум морского прибоя.

Смотрел на звезды. Их было невероятно много; вместе с бездонным и бескрайним небом они тихо, но мощно пели о чем-то важном и возвышенном. Он чувствовал песнь неба, но не сумел бы ни спеть ее, ни разумом осмыслить.

Из груди его рвался навстречу звездному свету-гимну голос души, ее восторженный ответный гимн. Глаза увлажнились, сладкая боль подступала к горлу. Хотелось лететь в небеса, полет казался таким возможным! Полет души в дом ее, Вечность и Бесконечность.

Дворец

Часть дворцового комплекса принадлежала санаторию, где работал Яков, отсюда легко было перебраться на территорию музея и примкнуть к очередной группе посетителей.

Мальчик знал почти наизусть текст экскурсии, хотя многое для него оставалось еще пустым звуком.

— Здание это выстроено из диорита в англо-мавританском стиле, — произносил экскурсовод казенно-восхищенным, как бы искусственным голосом, обращаясь к посетителям дворца, воздвигнутого когда-то для графа Воронцова и превращенного теперь в музей.

Ему нравилось: «англо-мавританский стиль». О маврах, об англах и саксах он и на уроках истории слышал, и в книгах Вальтера Скотта читал. Он умел переноситься воображением в прошлое, перевоплощаться в героев книги.

Внутри дворца показывали мраморные бюсты, читали эпиграммы Пушкина на тех, кто изображен. Арик восторгался их краткостью и насыщенностью. Например, на Николая Первого:

*Оригинал похож на бюст:
Он так же холоден и пуст.*

Школьник еще не представлял себе всей жестокости своего времени, не понимал, что смелый гений, его любимый поэт, был бы за безмерное свободолобие и свободомыслие подвергнут страшным и унижительным пыткам.

Был бы расстрелян в мрачном подвале существами пострашнее Дантеса.

Интерьер дворца, его зимний сад не рождали в душе Арика никаких эмоций. Воспитанный в *спартанском духе*, он был абсолютно равнодушен к роскоши. Великолепные гобелены и мебель вызывали скуку.

Он не слушал здесь объяснений экскурсовода. И к полотнам великих мастеров живописи был еще почти равнодушен. И не снилось ему, что проработает пять лет в музее изобразительных искусств. Директором.

Вожак

В пионеры мальчика в Киеве принять не успели, а в Алушке не удосужились. Но вот пришел в шестой «А» пионервожатый, которого он никогда потом не сможет вспомнить, окинул всех взглядом — и назначил Гордона председателем совета отряда.

— Я не пионер, — рассмеялся Арик.

— Купи галстук и приступай к обязанностям, — спокойно возразил негибимый комсомолец.

Пораженный Гордон и думать еще не мог о том, что почти так же, под нажимом, вступит и в комсомол, и в коммунистическую партию.

— Ты должен быть комсомольцем, — положив таким намеком на стол пистолет, скажет через семь лет *присланный быть избранным*, но уже хозяин, секретарь комсомольского комитета, — в твоей агитбригаде все комсомольцы! Кроме того, мы хотим поручить тебе культмассовый сектор в комитете. Понятно? Пиши заявление, заполняй анкету.

— Пора в партию, Аркадий Яковлевич: вы комсомолец, а мы, подчиненные — коммунисты, — скажет спустя еще семь лет парторг. — Пишите заявление, мы дадим рекомендации.

Правда, в райкоме произойдет непредвиденное, неприятное:

— Товарищ Гордон ... Аркадий Яковлевич, вы, конечно, русский? — покончив с обычными вопросами, спросит секретарь райкома как бы утверждающе.

Взметнется в мозгу все: от дразнилок киевского двора до средневековой юдофобской истерии, бушующей в родной советской стране. Он вскинет голову — и произнесет гордо, как бы всходя на эшафот:

— Нет, Иван Феодосиевич, я — еврей! Я не русский, и даже не Аркадий, если вы читали мою анкету и мое заявление.

— Какие предложения, товарищи? — на удивление растерянно спросит всесильный секретарь, прерывая долгое и тяжелое молчание партийного бюро.

Опустятся головы, но медленно-медленно поднимутся руки. Руки всех. И даже самого секретаря.

И еще не раз удивят Гордона русские люди в трудные дни его. И не останется безответной душа его.

От пребывания на посту председателя отряда ничего не изменилось в жизни Арика, нечему было и запоминаться, зато летом он прибыл в лагерь как настоящий пионер. Хотя и *назначенный*.

Ему нравилась пионерская форма: белая рубашка, синие трусы, красная шапка, как у испанских детей, и красный галстук. Перед отъездом залюбовался собою перед зеркалом.

На уборке помидоров пионеры трудились под палящим солнцем. Собирая, ели, конечно, но еда эта быстро надоедала.

От жары у Арика, унаследовавшего плохие сосуды, несколько раз начинались носовые кровотечения. Но он не сдавался. Ходил к горному источнику, унимал холодной водой кровь — и снова работал со всеми. *Как все*.

Его сделали командиром отряда, и он на линейках отдавал рапорт, каждый раз боясь, что не сумеет доложить по форме и опозорится *перед всеми*.

Подлинным руководителем отряда был, конечно, их вожатый, серьезный паренек-десятиклассник в больших очках. Ему все подчинялись беспрекословно. Он не рассказывал смешных историй, как Чилиби, зато знал все новейшие открытия в науке и технике, показывал звезды и созвездия в темном небе.

После отбоя в палатке мальчиков шли тихие беседы. Вспоминали прожитый день, глушили смех. Каждый читал что-то, чего не знали другие, и повествовал о тех событиях, переиначивая, добавляя. Иногда кто-то вдруг вспоминал:

— Врешь, там же совсем не так!

Некоторые, в том числе и Арик, по примеру бывшего вожатого Чилиби, пытались сами сочинять всякие истории.

Подчас рассказы подростков, уже познавших поллюцию, а то и практический секс, от петтинга и самоудовлетворения — до нормального полового акта, принимали нарочито натуралистический характер: смешно было, как милый толстячок не в силах удержаться — и вдохновенно онанирует во тьме, прося срывающимся голосом:

— Ну ра-ассказывай ... расска-азывай ... ра-а-асска-азыва-ай...

Неудавшийся солист

Петь у костра он не собирался, хотя и напевал для себя, как многие. Но лагерный баянист подслушал и включил его в концерт.

Гордон долго потом будет видеть себя со стороны и слышать свой натужно-деревянный голос в песне Паганеля:

— ... погибал среди аку-у-у-ул...

Если бы аккомпаниатор взял тональность пониже хотя бы на полтона, может быть, солист не был бы так жалок и смешон.

Он навсегда останется в обиде: ведь из-за этого провала будет впоследствии, обучаясь пению, панически бояться верхних нот на концертах, хотя легко их будет брать на репетициях.

Певцом-профессионалом Гордон не станет никогда, хотя желание такое к нему однажды придет и долго его не оставит.



Глава шестая

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СОСЕДИ

Тайна того сна. Пустые щипцы. Желанная Дэзи. Чудесное спасение. Веселые люди. Гости.

Тайна того сна

Глаша, жена баяниста Саши, как и другие молодые женщины, ходила по квартире и по двору в трусиках и бюстгальтере. Но в отличие от других у нее была идеальная, по мнению Арика, фигурка: чуть-чуть полноватенькая и гармонично-плавных, влекущих очертаний. Глаза его наливались тяжестью, когда он смотрел на Глашу, и с трудом отрывались от нее.

Подсознание посылало сигналы с трудом подавляемого желания в его еще детское мировосприятие, и он чувствовал себя виноватым перед Сашей и его женой. Глаша приснилась отроку, и наяву не будет в его жизни ничего слаще, чем то, что пришло дивным сном. От грешной тайны первой поллюции сильнее стала мучить совесть. Будто совершил то, что приснилось.

Во дворе собирались дети разного возраста, играли все вместе. В основном, в прятки.

Сначала считались:

— *На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. А ты кто такой?*

— *Аты-баты, шли солдаты, аты-баты, на базар...*

Потом все прятались, водила искал-застукивал, спрятавшиеся же стремились добежать до того дерева и «застукаться».

Вместе со всеми бегал, прятался и кричал синеглазый худой мальчик. Но взгляд его то и дело устремлялся туда, где по двору ходила, развешивая белье, Глаша-искусительница.

— Поделиться со Славой? Нет, засмеет! — мучила жестокая внутренняя борьба.

Пустые щи

К дому примыкала пристройка, в которой жили старики, муж с женой. Бедность их была даже по тем временам невероятна.

У старика висела длинная борода, у его жены тряслась голова, это вызывало жалость и немного пугало. Говорили они на странном для уха диалекте. Приехали из мест глухих. Никто к бедным людям не приходил, они были совершенно одиноки.

Яков нередко отправлял сына отдать этим соседям часть обильного санаторского обеда, за который Гордон платил немалые деньги: сто восемьдесят рублей ежемесячно.

— Они опять сказали спасибо нам, — докладывал радостно сын, возвращаясь.

— Несчастные, — говорил Яков, начиная шагать по комнате.

Голос его, тихий, но горький, был насыщен непонятными еще для Арика болью и гневом. Мальчик не мог и предположить, что в старости подобно этим людям окажется далеко-далеко от России вдвоем с женой своей. Что огромную и, по его мнению, совершенно незаслуженную, по-

мощь будет получать и от маленького государства, и от добрых людей.

Однажды предложили ему похлебать пустых щей, что старуха сварила. Школьник этим как бы причастился к нищете: и вкус, и запах тех щей стали для него символом ее на всю жизнь.

Ел и оглядывал сизо-полосно-беленую квартиру, где мебели было стол да некрашенные табуретки, да кровать, покрытая изношенным лоскутным одеялом.

И стыдно было почему-то.

Перед ними.

И не знал еще, что скоро наступят тяжелые времена эвакуации, когда тарелку пустых щей он сочтет за благо, ниспосланное Свыше.

Желанная Дэзи

Самая большая комната в доме была общежитием девушек-работниц. Одна из них, Лида, дейнековской красоты, стриженная, была беглой женой Сергея, коменданта санатория, тоже крепкого, высокого и, судя по могучей челюсти, жестокого. Говорили, что Сергей избивал жену и потому потерял ее.

Он иногда приходил и требовал, чтобы она вернулась. Но — тщетно. Доносились крики их, потом комендант уходил, ярясь и злобствуя, а Лида долго плакала. Арик жалел их обоих, не понимал, почему Лида не хочет взять с Сергея слово, что он *больше не будет*, и вернуться: ведь они такая пара!

Маленькая изящная брюнетка по имени Нелли жила не в общежитии, а в отдельной комнатке. Она всегда была в хорошем настроении, всегда улыбалась. Каждую ночь у нее был новый морячок.

Когда ее стыдили, она лучезарно объясняла:

— Мне их жалко, понимаете? Они не дома, служба у них нелегкая. И вообще я ничего плохого не делаю никому.

Арик тоже считал, что Нелли по-своему права: она не замужем, не берет денег с моряков. А глядя на нее, такую милую, он даже не верил в то, что она может заниматься чем-то нехорошим. Просто морячки у нее ночуют. Как дома.

Собачка у Нелли была тоже черная и маленькая, добрая и веселая. За ней гонялись соседние псы, и даже изда- лека прибегали кобельки к желанной Дэзи.

Когда Арику, наконец, купили вместо коротких штанишек брюки, он решил научиться танцевать. Присоедини- лись Слава и еще два мальчика. Нелли взялась учить их, помогали девушки из общежития. Но ученики тяжелыми оказались, поразительно неуклюжими. Учительницы сме- ялись и досадовали.

Откуда-то вдруг прибежал чужой кобель и начал при- ставать к Дэзи. Нелли забеспокоилась, и тогда Арик, танцуя, взял собачку на руки. Он считал, что кобель уй- дет. Но тот обхватил его ногу передними лапами, зачистил- зачистил, глядя на возделенную Дэзи, и через пару мгно- вений облил спермой первые в жизни юного Гордона длинные брюки.

Все хохотали, всплескивали руками:

— Обновил пес! Штаны эти долго носиться будут!

Отстирать следы любви не удалось.

Арик забросил танцевальные уроки.

Чудесное спасение

— Давай поставим опыт по физике! — предложил од- нажды Слава.

— Какой?

— Можно любой, я думаю. В школе их так мало!

Начали с действия реактивной силы. Сделали тележку, прикрепили к ней металлическую трубку, до середины наполненную водой, и заткнули эту трубку крепкой проб- кой довольно плотно. Под трубкой поставили горящую спиртовку и стали ждать.

Через некоторое время раздался выстрел, тележка от- катилась по законам физики. Пробка по тем же законам улетела довольно далеко — и...

— Что за идиотские шутки? — раздался громовой голос.

Пришлось спрятаться от невольного участника экспе- римента — огромного курортника, растиравшего ушиблен- ный лоб.

Они еще не раз проделывали опыты по физике, а в седь- мом классе — и по химии. Впрочем, опыты не мешали им по-прежнему лазить по деревьям, исследовать парк и но- ситься взад-вперед просто так.

Как-то они забрались после дождя на высокую скалу. Слава поскользнулся — и его повлекло по плоскому глад- кому склону вниз, к обрыву. Но он все же успел распла- таться на животе.

Арик, успевший забраться выше, с трудом преодолевая противный страх, тоже лег на живот и протянул другу руку.

— Сейчас мы оба соскользнем и разобьемся, — тоскли- во подумал он, — но я не могу его бросить, не могу! Будь, что будет...

Действительно, теперь они скользили вдвоем: Слава — вниз ногами, Арик — вниз головой.

Вдруг Слава выдал:

— Хватит! Я сам.

Отпустил руку Арика и — о чудо! — оба в тот же миг перестали скользить. Словно по чьему-то приказу.

Медленно, советуясь, всползали мальчики наверх. Это продолжалось бесконечно. Солнце тем временем сушило скалу, помогало им. Оказавшись в безопасности, друзья обнялись и рассмеялись. Пройдет много лет, но не забудет- ся это.

Отец-Гордон одобрял их дружбу. Даже ставил Славу в пример своему сыну, когда тот что-нибудь делал не так.

Арик терпеть не мог, когда ему предлагали с кого-то брать пример: он ведь знал о пай-мальчишках то, что родителям не известно. Но Слава Медведев — это совсем другое!

Мать Славы, худая высокая женщина с большими, умными и строгими глазами, встречала Арика приветливо, угощала инжиром, грецкими орехами и другими плодами небольшого сада.

А он бросал взгляд на принадлежавшее им некогда огромное здание и сочувствовал ограбленным Медведевым. Хотя и верил в то, что Октябрьская революция в целом справедлива.

Что Советский Союз радостно идет к светлому будущему — по планам товарища Сталина, выражающим несокрушимую волю трудового народа и мудрые заветы Ленина.

Порывался, но так и не смог спросить Славу:

— Скажи правду, ты переживаешь из-за того, что у твоего деда все отняли? Это могло бы быть твоим...

Тетя Славы работала в библиотеке санатория, весьма богатой, и пыталась руководить чтением Арика. Она знала его всеядность, подбирала книги — и они оказывались, как много лет спустя он поймет, и интересными, и поучительными.

Аарон Гордон навсегда останется благодарен Медведевым.

Веселые люди

Был в доме полуподвал. Там жил Павлюк, человек лет сорока, небольшого роста, худощавый и подвижный. Он нередко обращался к детям, оттачивая свой примитивный артистизм.

Пародируя после концерта жесты известного маэстро, Павлюк потрясал сорванной веточкой, изображавшей дирижерскую палочку, и бросал разъясняющие реплики:

— Эй, ты там, сзади, щас я тебе той палочкой глаз выколю!

— А тебе, лысый, я покажу, гад! Знаешь, знаешь, за що! У-у, гад!

— Ты, чорный, сядь! Сядь, кажу! От разломлю твою дудку!

— А ты, лэдар, чога сыдыш? Устань! Ну! Ну! Як дам в лоб!

Дети хохотали до колик.

Другой веселый человек, старик Чирва, похож был на Тараса Бульбу с иллюстрации к книге. Он работал дворником. И тоже любил поболтать с детворой.

Присядет, бывало, свернет из бумаги самокрутку с махоркой и начинает повествование о своей жизни. Конечно, не все выкладывал, не дурак был.

Вопреки учебникам выяснялось, что немец, у которого Чирва батрачил, хорошо кормил работников, а заработка летнего хватало на прокорм в течение всей зимы и на иные расходы.

Как-то Арик не выдержал:

— Неужели вам при царе жить было лучше, чем сейчас?

Но старик ловко увильнул от прямого ответа.

Подсчитывая зарплату, он пел:

*Получив получку я —
Дэвьяносто тры рубля.
Собырайтэсь, девки, у кучку,
Будэм пропывать получку.*

Чирва заставлял задуматься о многом. Арик терялся.

— Папа, вот Чирва говорит ... — обратился было к Якову.

— Поменьше с ним общайся! — бросил торопившийся отец.

Мальчик не догадывался, какая опасность подстерегала любого, кто даже не говорил, но только слушал, на кого поступал самый нелепый донос.

И в голову ему не могло прийти, что среди тех, с кем доверительно общался его родной отец, были люди, ненавидящие, как и сам Яков, режим *дорогого товарища Сталина* не меньше, чем старый Чирва.

Гости

Гости приезжали летом, когда ночью жара и духота заставляли сбрасывать с себя простыни, а москиты неистовствовали. Некоторые из гостей реагировали на их укусы такой мощной аллергией, будто долго голыми в крапиве сидели.

Добрые повара накладывали в судки побольше — и пицци хватало всем приехавшим. Они восторгались Алушкой, а для Арика она уже стала чем-то обычным. Он просто любил ее.

Приезжали две неразлучные племянницы Якова. Они встретятся с Аароном, когда рухнет железный занавес, когда одна из вдов выедет в Соединенные Штаты, а другая — даже и мысли не допустит о расставании с любимой Москвой, Большим театром и концертным залом консерватории.

Приезжали и другие родственники с обеих родительских сторон, друзья и просто хорошие знакомые. Арик всегда им радовался. Втайне ждал от каждого приезда какого-то чуда.

Но чуда все не было и не было.



Глава седьмая

СОБЫТИЯ ТРАГИЧЕСКИЕ

Финская кампания. В гостях у деда. Выдернутый стул. Спасение утопающего. Муки совести. Стрельба. Неудавшееся самоубийство. Убийство. Выродок и паразит. Рыдания. Бар-мицва.

Финская кампания

Газеты сообщили, что белофинны посмели обстрелять город Ленина, что они не захотели отодвинуть от него границу и получить взамен другую территорию. Это удивляло, возмущало.

Но вот возникли очереди за хлебом. Арик вставал в пять утра, шел, сонный, к магазину и записывался в очередную десятку. Он чернильным карандашом писал на руке свой номер, когда услышал шепот. Две пожилые женщины беспокоились:

— Война с маленькой страной — и такие тяжелые бои, такие очереди в тылу! Что же будет, когда дойдет до войны с Германией?

Арик задумался над услышанным, но не надолго. В очереди было много школьников, и у них были свои темы для бесед.

А в клубе он декламировал выученные из газеты стихи:

... И будет гибель тем, кто вызвал гнев народа —
Строителя, бойца, большевика!

Неожиданно во время декламации увидел себя со стороны и услышал свой голос — так же, со стороны.

И подумал:

— Вот я тут стишки читаю, а там, на снегу, в мороз, гибнут советские люди: строители, бойцы, большевики. Там могут погибнуть дядя Симха и другие родственники-мужчины. Могут и папу взять на фронт, он ведь врач! И мама — врач...

Новая мысль явилась после выступления на сцене:

— Ведь финны тоже есть всякие, есть и рабочие, и крестьяне. У них тоже есть жены, дети. А я кричал, что будет гибель тем, кто вызвал ... Неужели гибель им всем-всем?

Ему захотелось сказать:

— Я за красных и против белых, за своих и против врагов, но всем людям труда желаю мира и хорошей жизни.

И иное подумалось:

— Надо бы правительству попробовать еще раз *договориться* с Финляндией!

Но он гнал от себя *несоветские* мысли.

В гостях у деда

Летом, в каникулы, Арик вместе с отцом приезжал в Киев. Здесь их встречали радостно. Яков каждый день давал бабушке деньги на расходы: он не хотел никаких благодеяний для себя. Младший Гордон понимал Якова, но и не соглашался:

— Мы же в гостях у своих! У родных! Зачем платить? Зачем им брать у нас плату?

В один из таких приездов произошли события неожиданные.

Первое было сначала как бы обычным: Арик нашел свой учебник арифметики для первого класса. Умилился. Но вот он заметил на обложке крупно и коряво написанное карандашом загадочное слово «КЕВОЛЕЧ».

— Это же я сам написал, — догадался. — Это же слово «ЧЕЛОВЕК»! Когда же я накорябал его? Еще до школы? Или в первом классе?

Тайна какая-то вдруг начала высвечиваться в сознании: вот-вот он вспомнит, когда это было, вспомнит и еще что-то, не то сон, не то иную, былую жизнь свою! Вот-вот вернется к нему способность путешествовать в своем времени! Или не только в своем?

Но тут серебристый свет, странно засиявший в комнате, исчез. Возникло грустное ощущение утраты.

Не раз подобное случится еще. Узнает он и о том, что такое бывает с другими людьми тоже, чаще — в детстве. Что немногим удается удержаться и познать свои прежние воплощения. *Ему — не удастся.*

Второе событие было ужасно.

Приехав с отцом к дедушке и бабушке, Арик не увидел любимого дядю. Рассказали, что дядя Симха стал пить еще сильнее после казни Блюхера: он глубоко уважал командарма, проходя службу в Дальневосточной армии, даже оставался на сверхсрочную.

Дядя пришел в парикмахерскую нетрезвым. Какой-то клиент возмутился и оскорбил Симху. Тот выбросил его в окно. Обратился к очереди:

— Ну! Кто еще хочет Петроград?!

И оказался в лагере. В далекой Карелии.

Арик вспоминал, как любил и баловал его дядя. Вспомнил, как сказал Симхе, что его обижают, и как дядя, став посреди двора, зычно закричал:

— Эй, вы! Все! Если кто его еще тронет, из ж... ноги выдерну, вставлю спички — и скажу, что так и было! Слышали?

Воспоминания были прерваны звонком в дверь. Бабушка долго не открывала, вызвала дедушку, Арик тоже подбежал.

У двери стоял шикарно одетый молодой человек. Он спросил стариков, загордивших своими телами вход в квартиру:

— Здесь живет Семен Гликман? Я от него привет принес.

— Не знаем такого, — отказались от сына испуганные чем-то родители.

Арик хотел было вмешаться, но его спинами оттеснили от двери, а человек подмигнул и улыбнулся ему, сверкнув фиксой, пожал плечами и ушел. Больше он не появлялся.

Мальчик впал в истерику. Старики отмалчивались, но вид у них был убитый.

Симха Гликман прибудет на фронт напрямиком из лагеря и погибнет в жестоком бою второго декабря тысяча девятьсот сорок первого года. Отделение пехотинцев, которым он будет командовать в тот день, не отступит ни на шаг.

Выдернутый стул

Гордон-старший дружил с завхозом санатория. Иван Васильевич Шорохов, бывший чапаевец, был вдовец: жена его умерла от туберкулеза. Он не стал искать другую, сам заботился о детях своих. И в Крым тоже ради них приехал: не заболели бы.

Арик сдружился с его младшим сыном Юрой. Тот был моложе, но оказался более практичным, более умелым.

Он научил Гордона-младшего многому: ездить, отталкиваясь ногой, на самокате; гонять «колес» — обруч, снятый с бочки, — проволочным поводком; ходить босиком по почти расплавленному асфальту дорог; делать свистки из гороховых стручков и молодых веточек деревьев.

При этом Юра оказался довольно упрямым. Например, он пел:

*Белая армия, черный барон
Снова готовим нам царский трон...*

— Не «готовим», а «готовят», — смеялся Арик, — ты пойми, Юра, выходит, что мы сами готовим себе *царский трон...*

— *Снова готовим нам царский трон*, — орал Юра.

Много лет спустя Аарон Яковлевич Гордон задумается вдруг, вспоминая те дни:

— Уж не абсолютную ли власть восседающего на троне Сталина имел в виду тот, кто учил Юру петь так?

Старшая сестра Юры, полненькая Эллина, была одноклассница Гордона. Брат, любя, называл ее кабанчиком. Арика это несколько коробило. В Эллине он то видел сестренку, как в Юре — брата, то чувствовал, что еще и как-то иначе она влечет его.

Девочка добродушно презирала щупленького Арика, хотя считала близким другом. Почти братом. Якова дети Шорохова тоже видели братом своего отца. Это останется и у них, и у Гордонов, на всю жизнь.

Мать Ивана Васильевича, маленькая старушка, была доброй, необходимой, но в то же время как бы незаметной в семье. Готовила она очень вкусно. Арику бабусины щи казались чудом кулинарии. Вот и не заметил, садясь за стол в предвкушении тех щей, что Эллина выдернула из-под него стул.

Упав, ударился копчиком об угол плиты. Неделью лежал в постели: ноги не работали. Много бед принесет травма эта.

Горько будет оттого, что именно Эллина так с ним обошлась.

Спасение утопающего

В санатории вместе с его родителями работала медсестра Светлана Сергеевна Сорокина-Реут, добрая, душой распахнутая и милая. Арик для себя прозвал ее по инициалам — «СССР».

Саша Сорокин, мальчик довольно крупный, впоследствии станет здоровенным мужчиной. Бесшабашный и веселый, он в то же время серьезно увлекался ботаникой, прививал черенки к деревьям, выращивал в бутылке огурцы и вообще всячески постигал тайны жизни растений.

Знал много и о животных.

Под влиянием приятеля юный Гордон стал читать Брема, Фабра, по-настоящему заинтересовался было, но унылые школьные уроки биологии отвратили его от нового увлечения.

Саша любил рыбачить — и однажды уговорил Арика пойти с ним рано утром на рыбалку. В половине шестого он уже разбудил его к неудовольствию не выспавшегося Якова.

— Смотрите там, поосторожнее, — мрачно посоветовал он.

Солнце всходило. Гладь моря сияла зеркально.

На скалах уже сидело несколько школьников.

Сквозь прозрачную толщу воды видно было, как рыбы идут на риск. Сочувствовал им Арик, не хотел им зла и втайне презирал себя за то даже, что смотрел на происходящее. Не решился он и живого червячка нацепить: ему же больно!

Он ставил себя невольно на место пойманных ставрид. Его передергивало, когда бьющуюся пленницу снимали с окровавленного крючка, он чувствовал ее боль. Отводил взгляд.

— Ты же не девочка, чего ты нюни распустил? — возмутился Саша. — Давай уди вместе со мной!

Арик помотал головой. Сел в сторонке. Потом решил уйти совсем, поднялся — и соскользнул вниз. Он попал в замкнутый тремя скалами аквариум. Вскарabкаться не смог: поверхность камня покрывали скользкие водоросли.

Страх, охвативший было мальчика, отступил вдруг перед спокойной, холодной мыслью, которая словно откуда-то извне пришла:

— Лучше порезать в кровь руки, чем утонуть.

Он ухватился за леску, приятели вытянули его. И в самом деле прорезал леской одну ладонь. Там останется шрам.

Муки совести

Бродя по берегу моря, они ловили крабов, варили их и, разбив камнем панцирь, наслаждались вкусным мясом. Удивительно: крабы не вызывали той же жалости, что рыбы.

Потом Саша показал, как мясо вареного краба, привязанного к дереву, выедают муравьи. Дочиста.

— Теперь надо продать того краба отдыхающим, — пояснил мальчик важно, — и будут у нас свои деньги: для книг, для удочек.

Бродя с Ариком по берегу, он научил приятеля бросать камешки так, чтобы они прыгали по поверхности воды много-много раз. Арик увлекся — и вскоре добился серьезного успеха. Этот успех странным образом привел его к хулиганскому развлечению: затаившись, он бросал камешки на головы прохожих с четырехметровой стены своего дворика.

Убегал, опасаясь возмездия. И сам себя ругал, и в то же время — продолжал. Не мог остановиться.

Однажды нечаянно попал в маленькую девочку, она заплакала — и Арик страшно огорчился, стал себе мерзок, отказался от этого занятия раз и навсегда.

Ночью просыпался, слезы текли: обидел малышку, обидел! Что она ему плохого сделала?!

Он поэтому все время старался предпринять что-то хорошее для этой девочки, и она прониклась благодарностью, вся светилась, встречая его.

Но чем сильнее проявляла она симпатию, тем свирепее грызла его душу совесть. И даже в зрелые годы будет совестно, будто лишь вчера обидел ту, что вся светилась приятнью.

Этот случай заставил мальчика задуматься:

— Неужели только меня так мучит совесть? Ведь некоторые поступают всегда скверно *нарочно* — и даже радуются при этом. И почему я не веду себя хорошо, как некоторые мальчишки? Почему так боюсь прослыть маменькиным сыночком? Я ведь в самом деле маменькин сынок, пусть бы все так и считали!

Стрельба

Саша Сорокин делал свистки не хуже Юры Шорохова, умел столярничать немного — и вообще был умелец. Арик восхищался, но ему и в голову не приходило поучиться домашнему ремеслу. Возможно, потому что никогда не видел, чтобы мужчины в семье Гордонов или Гликманов что-нибудь мастерили дома.

Саша научил друга делать свистки и стрелять из трубок. Плотные сине-фиолетовые ягоды срывались с кустарника и выдувались изо рта через бамбуковую трубочку, поражая приятеля-противника.

Это было и весело (когда сам попадешь), и довольно болезненно (когда сам получишь удар).

Стрельбой Арик увлекся не на шутку и начал тратить деньги, которые получал от Якова на мороженое, не только на папиросы, но и на стрельбу в тире: стрелял пульками и кисточками, с опорой на руки и даже без опоры, хотя оружие при этом первое время ходуном ходило в его руках.

Стрельба, особенно удачная, так же, как и игра в бильярд в клубе санатория, избавляла его от возникавших то и дело мрачных мыслей о собственной неполноценности.

Настоящее торжество пришло, когда ему разрешили взять на несколько дней домой винтовку воздушного боя. Стрелял в мишень, захотел было выстрелить в птицу, но боль вошла в сердце, холод охватил: показалось, что он сам и есть эта пичуга. Опустил оружие, опустил и голову:

— Я чуть было не лишил жизни пташку, которая пела, радовалась жизни, да и пользу приносила деревьям. Почему же так хотелось выстрелить и попасть?

Но тут же подумал еще горше:

— Я слабый, я не мужественный: не могу, *как все*. Почему я такой? Почему?

Тут подбежал мальчик из соседнего двора, схватил за руку.

— Давай стрелять в отдыхающих, когда они моются в душе голые, — предложил он. — Мы один раз стреляли из рогатки — и попали одному в яйца. Ох и орал же он! Гы-ы!

— Жалко, не в твои яйца попали, — дрогнувшим голосом произнес бледный от гнева Арик. — Сволочь!

— Ты что, взбесился, дурак? Кто он такой тебе — тот дядька?

— Такой же, как мы с тобой, он. Человек.

Арик отнес оружие: от греха подальше. Его коробило от одного вида того одноклассника, вспоминал с отвращением:

— Ох и орал же он! Гы-ы!

С ним несколько дней творилось что-то неладное от размышлений о себе, о друзьях, о людях. Пришел к Саше Сорокину и рассказал о предложении того мальчика, о своем отказе.

— Правильно ты ему ответил, не мучься. Потому что придурок он, — решил Сорокин.

Неудавшееся самоубийство

Так уж вышло, что именно у Сорокиных случился тот припадок. Он не был первым: еще когда Арик ехал с отцом в Крым, подремывая на боковой верхней полке вагона, вдруг его голова закружилась, начало тошнить, схватили судороги.

— Ммы-ы-ммм, — замычал он, так как не мог говорить.

Яков тут же принес воды, дал напиток, успокаивал — и постепенно все прошло.

Мальчик уже успел с тех пор забыть о том, что было в поезде. А тут Яков уехал с ночевкой к Еве, временно работавшей в Ялте, и оставил на ночь Арика у «СССР». Она же ушла на ночное дежурство, препоручив гостя Саше.

Мальчики побегали, поиграли вечером в шахматы, в дурака — и улеглись спать.

Едва гость задремал, начался припадок. Арик истощно замычал. Прибежал из другой комнаты Саша. Он испугался, голос дрожал, когда спросил, в чем дело.

С трудом большой промямлил:

— Пи-и-ить...

— Писать? — не понял Саша и тут же принес ночной горшок.

Смеясь сквозь стон и слезы, гость повторял и повторял. Наконец, Саша понял, принес воды. Арик выпил, стуча зубами о стакан, — и его постепенно отпустило.

Долго не мог уснуть после этого: он, оказывается, не только слабонервный, как девочка, но еще и припадочный. Потому, наверно, и качает его, если идет в темноте и не видит ничего. Поэтому же, когда он нагибается, наливаются тяжелой кровью и едва не лопаются глаза, не дышится

через свинцовый нос. А эта ужасная худоба? Ест он много, а толку? На следующий день решил покончить с собой. Лег на веранде на пол, задрал майку, приложил к животу столовый нож и, всхлипывая, собрался вспороть себе брюхо — как самурай.

Надавил. Оружие оказалось тупым. Надавил сильнее. Однако, едва нож пропорол кожу, маленький самоубийца взвыл от боли, вскочил, нашел йод и прижег рану.

— Трус, даже убить себя не могу, — шептал горько.

Кровь не унималась, пришлось бежать в санаторий, на врат дежурной сестре о причине своего странного ранения. К счастью, все обошлось.

Убийство

Самая трагическая страница его детства последовала за многими радостными днями — и то, и другое было связано с собакой по кличке Джек.

У старика-повара, худого и злого, был пес. Скорее всего, дворняга. Цвет его короткой шерсти был взят от песков далеких пустынь, уши перегибались на половине своей высоты вниз, а хвост всегда стремился ввысь. Джек рядом с овчаркой выглядел щенком, но храбрость и преданность его не знали границ.

Арик как-то покормил, приласкал пса, и тот полюбил его великой любовью. Он перегрызал веревку, когда повар его уводил, и снова прибегал к мальчику. Арик тоже любил друга, делил с ним и обед, и бутерброды устрашающих размеров, которые давали дома для завтрака в школе.

На деревьях жили клещи, иногда они и в людей вцеплялись, а у Джека скоплялись за ушами и висели там гроздьями, раздувшиеся от его крови. Отрывать их надо было умело: так, чтобы головка не осталась в теле собаки. Маль-

чик систематически освобождал своего любимца от гнусных паразитов, и пациент терпеливо ждал конца операции.

Верный пес не желал расстаться с новым хозяином даже на минуту. Он каждый раз бежал за ним в школу, и не всегда удавалось от него вовремя скрыться. А хулиганы ждали — и с радостными воплями забрасывали Джека камнями.

Гордон не мог с ними справиться и плакал от бессилия. На уроках был невнимателен: все думал об этой веселой жестокости школьников, терял радость жизни от тяжелых мыслей.

Однажды родители поехали в Ялту, взяли с собой Арика — и собака бежала за автобусом всю дорогу. Мальчик из окна гнал верного пса рукой, кричал:

— Джек, домой, домой!

Где там?!

Так же, не раздумывая, кинулся Джек плыть за лодкой, отчалившей от берега. Пришлось втащить его.

Позднее старый Аарон решит, что в этом была некая мистическая тайна. И спросит небо: чья же любящая душа была в теле беззаветно преданного друга?

Джек стал во дворе участником веселых игр, его обожала детвора, но взрослые нередко возмущались. Прежде всего, сердились хозяева кур: нравилось псу гонять истерически кудахчущих хохлаток. Казалось, это его смешит. Отцу жаловались, он журил сына. Предупреждал: беда будет. Но тому не верилось.

Стоило показать пальцем на любую собаку и тихо свистнуть, как храбрец на нее кидался и вступал в бой. Его не страшили ни бульдог, ни овчарка. Дети гордились Джеком.

Когда дома никого не было, верный страж располагался на крыльце и не впускал чужих. При этом становился крайне агрессивен и непримирим. В особую ярость приводил его Сергей, комендант санатория: он и Джек друг друга ненавидели.

Возможно, животное чуяло больше, чем могли домыслить люди.

Комендант кричал, что собака — бешеная, что ее надо уничтожить. Видимо, его поддержали, потому что однажды Яков потребовал, чтобы Арик отвел Джека к столовой, где пса *пристрелят*.

Мальчик ужаснулся: ведь не кто иной, как он сам, Арик, был хозяином, дрессировщиком и наставником, был командиром и другом опального животного. Он отказался, он кричал:

— Это же подло, подло, подло! Убить друга ради кого-то! Ради этих сволочей!

— Выбирай: или я, или твой Джек, — вымолвил тихо отец.

Голос Якова дрожал, подбородок и руки — тоже, он был бледен. Мальчик испугался: вот-вот его любимый папа потеряет сознание. Он даже может умереть: он стар, ему уже пятьдесят лет. Но ведь Джек — преданный друг, он доверил Арику жизнь свою, когда прибежал от повара с веревкой на шее.

В те судьбоносные минуты сознание несчастного ребенка терзалось нагрузкой непосильной. Жестокая внутренняя борьба и ужасное столкновение чувств, желаний, мыслей разрушали светлые идеалы, веру в людей, надламывали неокрепшую волю.

Арик стоял перед страшным выбором.

Видимо, то же происходило с теми взрослыми, кто должен был выбрать свой путь в годы необоснованных репрессий.

Арик, казалось, нашел выход. Преодолев внутреннее сопротивление, привел Джека к повару. Обещал всегда тотчас приводить его, если убежит. Повар не согласился:

— Зачем? Он у меня жить не хочет. Ты ему милее. Я махнул рукой. Пусть убьют предателя. Мне не жалко.

Отец снова нервно потребовал отвести собаку на казнь.

— Не могу я, не могу, — лепетал сын.

— Тебе собака дороже отца и матери, — горько вымолвил Яков, сев и опустив голову на стол.

Он и сам жалел пса.

Заплакала Ева, отвернувшись от сына. И тогда что-то хрустнуло, сломалось в маленьком Гордоне. Одолевая дорогу длиною в несостоявшуюся праведную жизнь, он повел бедного пса.

— Предал, предал! — плакал, чувствуя тошноту.

Грянул выстрел. Никогда не услышит он ничего громче: ни под грозой, ни под бомбежкой, ни около реактивного двигателя.

И последовал собачий вой.

Дымился ствол ружья, остолбенело стоял ополоумевший кладовщик-стрелок, убежал вдаль Джек с простреленным ухом. За ним волочился конец оборванной веревки.

И снова раздался вой: это выл мальчик, убегая вслед за спасшейся жертвой.

Несколько дней они жили в Верхнем парке. Их подкармливали друзья. Рана Джека плохо заживала. И шестиклассник укреплялся в своей ненависти к взрослым, к этим страшным двуногим. И презирал себя, и дал себе слово не отдавать больше Джека на казнь. Но не сумел сдержать его.

— Ты понимаешь, что из-за твоей собаки нас выселяют на улицу? Вопрос уже поставлен! За что мне такое наказание?

Яков с трудом сдерживал крик, терял дрожащий голос. На шее его дергалась трагическая жилка.

Отец, любимый отец, опять требовал подчиниться негодям и второй раз предать любимого Джека!

Арик пытался найти выход. И придумал: начал прогонять четвероногого друга. А тот, визжа тоскливо, не уходил, полз к нему, просил за что-то прощения. Плача и ругая всех и все последними словами, мальчик начал бросать в собаку камни и палки. Пес недоумевал, но боль от ударов отгоняла его.

Наконец, обидевшись, ушел. Арик начал надеяться на его спасение. Однако утром Джек снова лежал на крыльце.

И принесло же на ту беду непреклонного коменданта...

Второй выстрел был точен. На этот раз мальчик не отворачивался. Он все видел. Он словно окаменел. Джек упал — и пополз к нему!

— Господи, прости меня, грешного, а я никогда, никогда не смогу простить себя, — прошептал юный пионер неизвестно откуда явившиеся покаянные слова.

Ноги его подкашивались.

Джек полз, махая в агонии хвостом, к нему — любимому, единственному. *К соучастнику убийства.*

Он подполз и замер навсегда рядом с предателем. Мальчик слепо посмотрел на довольных взрослых — и страшно крикнул:

— Будьте вы все прокляты! Прокляты! Гады!

Опустил голову. Его дергало. Он думал мрачно:

— А я уже проклят. Я позорно проиграл первый тайм, дядя Симха. Вся игра проиграна. *Навсегда.* Но с кем же я играл: с Судьбой, с папой — или с проклятым комендантом и этими гадами?

Не поднимая головы, повернулся — и медленно ушел. Шел все быстрее, потом побежал, не зная куда. В Верхнем парке упал на землю и зарыдал, забился в припадке.

Домой явился за полночь. Не разговаривал. Не ел. С трудом уснул.

Проснулся внезапно, словно и не спал. Было полнолуние. В серебристой тьме Арик увидел Джека, повисшего в воздухе невысоко над полом. Пес смотрел на хозяина. Мальчик не удивился и тихо позвал его. Джек медленно растаял, все так же глядя ему в глаза.

Потом Арику долго снился кошмарный сон. Кладовщик-убийца наводит на него ружье. И весь мир вокруг перестает двигаться. Будто превратившись в серую фотографию. Исчезают звуки, тишина наступает ужаснейшая.

Арик не слышит выстрела, не видит ни огня, ни дыма. Но цепенеет, деревянеет, каменеет. Понимает, что уже убит. Что поэтому и не успел ни увидеть огня, вырвавшегося из ствола, ни услышать грома от вылета пули.

Тьма. Мрак. Небытие.

Проснувшись, он долго чувствовал тупую боль в простреленном сердце.

А наяву все вспоминал Джека, его умный, явно не собачий, а человеческий взгляд. Вспоминал, как он умел смеяться, подвернув верхнюю губу сбоку вовнутрь рта. Как он мчался к хозяину, где бы тот ни был, заслышав протяжное:

— Дже-е-ей!

Слезы то и дело едко лились из глаз Арика. Звериный вой рвался из груди. Поведение мальчика резко ухудшилось и в школе, и на улице, и дома.

Выродок и паразит

Яков был уверен в том, что сын прекрасно понимает, какими должны быть его поступки:

— Для пользы семьи — раз, для собственной пользы — два, не во вред другим людям — три. Ты и сам прекрасно знаешь, что такое хорошо и что — плохо.

Он считал свои требования справедливыми и минимальными. Между тем, не требований, а откровенных, доверительных бесед в его трудные годы не хватало подростку.

Он так ждал вопросов Якова о том, что его, Арика, сейчас больше всего волнует, кем он хочет стать! Что он думает об учителях своих, о товарищах, о прочитанных книгах, кто его идеал!

И — поучений, пояснений жаждал он!

Не раз и Яков собирался поговорить с сыном о жизни, о сложности человеческих взаимоотношений, изложить свои взгляды, но как назло случалось что-нибудь: то сам Арик провинится и обозлит, то дежурство внеочередное на работе выплывет, то гости нагрянут, как снег на голову.

Возможно, между ними установилось бы доверие. Родилось бы и росло взаимопонимание. К общей пользе. К радости. Но этого не произошло.

Отношения с отцом, отличавшиеся и раньше сложностью, после гибели Джека еще более обострились. В пылу справедливого гнева Яков сам все более отдалял от себя сына, раздраженно обвиняя его:

— Откуда это? Почему в тебе столько гликмановского?!

Арик понимал, что это значит: столько мещанского, ограниченного, довольного собой, даже бездуховного. Это означало также, что нет в сыне гордоновского: интеллигентски самокритичного, аскетичного; в познании ненасытного; свободолюбивого и справедливого.

— Да я ведь и Гордон, и Гликман! — хотелось кричать Арику. — И много хорошего есть у Гликманов: жизнелюбие, щедрость, доверчивость, артистизм. Мне дороги в равной мере и папа, и мама. Хотя вижу и недостатки обоих. Я так любил Джека — и что же?!...

Он про себя уже не раз произнес и иную речь:

— Я стараюсь делать то, что делают все другие дети. Делать не хуже и даже лучше. Я не хочу никому вредить, но так уж как-то получается, что меня то и дело заносит. Я не против дисциплины, не против контроля жесткого и наказаний суровых. Но я жду и поощрений! И бесед!! *Я хочу понимания!!!*

Больше всего коробило, когда отец обвинял его в отсутствии благодарности. Он и сам знал, что нет в его душе достаточной силы этого чувства, потому что вползала в сознание болезненная, обидой дышащая, мысль:

— Папа и мама! Я ведь не просил родить меня. Сами создали, обрекли на муки — а теперь требуете благодарности?!

Но вслух не произносил этого, ибо любил и жалел их, знал, что такие слова могут их ранить — и очень сильно.

В минуты крайнего гнева, которые всегда были связаны с очередным проступком или особенно упорным непо-

виновением сына, Яков, не желая бить его, бессильно-плачуще кричал:

— Выродок! Паразит!

Какой болью в сердце отдавалось это! Лучше бы уж ударил!

— Неправда, я не паразит! — горячился Арик. — Я отличник. Хулиганят же все, многие — куда хуже, чем я.

— В твои годы я уже зарабатывал на кусок хлеба! — укорял Яков сына.

— Но сейчас те, кто учится в школе, не работают. Никто! А если бы *все* работали, то и я пошел бы работать!

Слово же «выродок» просто убивало: мальчик начинал копать в себе, чтобы опровергнуть его, но при этом с ужасом обнаруживал серьезные аномалии и в своем лице, и в строении своего черепа, и в своей фигуре, и, что куда страшнее, в своих чувствах и мыслях, желаниях и отношениях. *Он не такой, как все!*

Это снижало зыбкую радость мироощущения, которая стала ему присуща в Крыму, это озлобляло. Гибель Джека многократно усилила озлобление.

Но оно не было направлено на родителей, нет! Оно было почти против всех и *почти против всего*. И — не осознавалось, хотя все явственнее проявлялось и в подборе приятелей, и в поступках, порой неожиданных для самого подростка.

Якову не нравилось окружение сына, появившееся после гибели Джека. Особенно раздражал его пронзительный свист за окном, после которого отличник мгновенно бросал домашние задания или начинал быстро, давясь и захлебываясь, доедать обед.

— Друзья его зовут! Он уже на иголках! Эти разбойники ему дороже родителей! Смотри не подавись! — гневно и тяжело бросал отец.

— Нет, папочка, они мне не дороже. Просто это совсем другое, — хотел сказать Арик.

Но не говорил: все равно его не поймет папа, который не имел настоящего детства. Как жаль!

И совершал новые глупости как бы назло себе и уж точно себе во вред. Будто кто-то лишал разума.

На веранде стояла огромная бутылка с дефицитным керосином. Мальчик любил гонять проволочным поводком «колес» — обруч из полосового железа. Ему невероятно нравилось это занятие, он гонял обруч везде, даже дома. Отец потребовал:

— Иди с обручем на улицу: разобьешь бутылку!

— Не разобью, я умею гонять! — возразил сын весело и гордо.

Но через минуту после ухода Якова разбил хрупкий сосуд. Вся квартира, весь дом провонялись. Плача и ругая себя, жалобно воя, схватил Арик половую тряпку. Отжимал керосин в ведро, собрал и выбросил осколки стекла. Вымыл пол водой несколько раз. Побрызгал на него отцовским одеколоном.

Решил покаяться — и всегда слушаться отца.

Яков пришел поздно. Сразу же его ошарашил запах керосина, усиленный добавками. Он увидел, что бутылка исчезла. Все понял. И ударил Арика по лицу.

— Паразит! Выродок! Я же просил тебя прекратить! — простонал отец. — Нет, горбатого только могила исправит.

Всего несколько раз в жизни он бил сына, но каждый раз это была мука для обоих. И помнилось это долго.

В школе Арик с гордостью показывал отпечаток отцовской пятерни на своей щеке. Ему завидовали: такая отметина!

Вскоре сторож согнал Арика с санаторской яблони и с помощью своей злой собаки доставил в кабинет, где Яков вел прием больных.

— Благодарю вас, я его накажу, — сказал отец холодно.

— Накажите сейчас, при мне, — потребовал злобный страж.

— Вон отсюда! — прорычал Гордон сквозь зубы.

Он встал во весь рост, и Арик понял, что до сих пор не знал Якова. Ему почему-то стало радостно на душе, хотя ситуация была не из приятных.

Пес сторожа зарычал. Мальчик засмеялся.

Грязнобородый старик удалился, злобно ворча.

Гордоны не сказали друг другу ни слова о случившемся, но что-то, словами не выразимое, начало сближать их. И появилась в душе подростка новая надежда: может быть, он не такой уж негодяй? Может быть, он не выродок? И они пооткровенничают?

Но размышления вновь привели к горькому и неразрешимому вопросу: почему поступки его, Арика, наносят вред самым близким и любимым?

Рыдания

Хотя в учебе Яков помогал сыну редко, но его краткие объяснения, когда Арик чего-нибудь не мог понять или отставал от одноклассников из-за болезни, были просто неоценимы. Он как бы открывал некую дверь из темноты к свету: учил мыслить. И делал это, как поймет Аарон позже, виртуозно.

В то же время, рассердясь, не раз он говорил:

— Ты в жизни не узнаешь столько, сколько я уже забыл.

— Такого не бывает, — думал, но вслух не произносил Гордон-сын, которому потребуется еще не один десяток лет, чтобы с горечью установить истинность отцовских слов.

— Какой у тебя умный папа, — не раз слышал он от знакомых отца.

Но не понимал причины такого восторга: папа умный, но не настолько, чтобы ахать и восторгаться.

Это придет позже, когда сын тоже будет зрелым человеком. Когда сравнит Якова со многими-многими.

Арик хотел поделиться с отцом своими размышлениями, доказать, что он не так уж примитивен.

Но не смог этого сделать: не надеялся быть понятым. Как решит уже после смерти отца старый Аарон, Яков просто побаивался лишиться своего отпрыска спасительной сталинофильской и просоветской примитивности, ведущей *мимо* тюрьмы и лагерей.

И вот в сознании ребенка уродливо уживались два противоположных мироощущения: мир людей — несправедлив и ужасен, но все наше, советское, сталинское, — прекрасно. Отец — хороший и умный человек, но глубоко заблуждается, не любя дорогого Иосифа Виссарионовича и в то же время подчиняясь мерзавцам, подобным коменданту Сергею.

Однажды перед сном Арик задумался о жизни. Яков еще не лег, чем-то был занят. Ева уже два месяца работала в Ялте и приезжала только на выходные дни.

— Трудится папа с утра до ночи, чтобы прокормить семью и вдобавок помогать родственникам, но мама, кажется, не очень-то его понимает, хоть и обожает, а от меня — одни неприятности, — сочувствовал мальчик, глядя на работающего за столом Якова.

Тут еще вспомнил, что родителей отца зверски убили и потому старший Гордон — одинокий сиротина в этой жизни. И от этой мысли совсем расстроился, загоревал, заплакал тихо.

Слезы, разъедающие глаза, все лились, все тяжелее ему становилось — плач перешел в рыдания. Отец испугался, бросился к нему, начал спрашивать, в чем дело. Не сразу мальчик смог ответить. Наконец, выговорил сквозь судорожные вздохи:

— Мне тебя жалко! У тебя нет папы и мамы...

И тогда мальчику послышалось:

— Мир фа дир...

Возможно, и в самом деле Яков так сказал, возможно, только подумал — и сын прочел это в глазах его. Во вся-

ком случае, растроганный отец, погладив сына по голове, непривычно ласково произнес:

— Успокойся, Арик! Мужчина обязан быть сильным. Обязан! Через десять лет он, находясь при смерти, снова скажет сыну, переживающему измену возлюбленной, эти же слова.

Бар-мицва

— Сынок, скоро тебе исполнится тринадцать. И ты станешь бар-мицва, будешь отвечать за свои поступки. У нас, евреев, так положено. Я после обряда бар-мицва ушел из семьи и сам начал строить свою судьбу. А сейчас ... другие времена.

Мальчик что-то необычное почувствовал. Впервые услышал от отца:

— У нас, евреев ...

Раньше даже то, что ему сделали обрезание на восьмой день жизни, объясняли как некое чисто медицинское, профилактическое, действие.

Теперь и это он расценил иначе. И смутно почувствовал, что в советской действительности что-то не так уж и хорошо по отношению к евреям, если нельзя свободно соблюдать традиции древнего народа.

В день его тринадцатилетия отец сказал, что раньше это был бы праздник семьи, что был бы свершен обряд в синагоге, и после этого много дней говаривал, улыбаясь озорно:

— Ты уже бар-мицва, а?



Глава восьмая ВРАГИ НАРОДА

Сталинская забота. Враги. «Сосо и Кёке». Брат Павлика Морозова. Враги евреев. Грозная карта Европы.

Сталинская забота

Он верил в эту важнейшую из забот товарища Сталина — о них, о детях. Буржуи берут деньги за обучение в школах, а у нас дети учатся бесплатно. Пионерский лагерь — для всех детей!

А утренники?! А подарки?! На праздники детей возят в Севастополь на санаторской полуторке — это ли не забота?!

Сталин? Конечно, он был самый дорогой для Арика человек. Нравилось, как уверенно он произносил речь, которую демонстрировали в киножурнале. Нравился портрет, где вождь — с пионеркой Мамлакат Наханговой, такой добрый и ласковый.

Мальчик поклонялся товарищу Сталину-Отцу, продолжателю дела Дедушки-Ленина, тоже Великого и Простого Человека. Выучил веселое стихотворение, где трое парней спорят о том, на кого смотрел Сталин во время парада. Кончалось оно словами автора:

*Пусть, думаю, спорят, не зная того,
Что Сталин смотрел на меня одного!*

В мозгу застряло всеми способами повторяемое:

- Сталин — это Ленин сегодня.
- Два сокола — Ленин и Сталин.
- Сталинские соколы.
- Вождь всех трудящихся Земли.
- Сталинские пятилетки.

Кто-то рассказывал, что Сталин рассматривал чертежи самолета с таким знанием дела, что даже сам знаменитый конструктор Яковлев был потрясен!

Невольно закрадывалась мысль о том, что Сталин еще более велик, чем его учитель и друг Ленин.

Култ великого и даже, возможно, бессмертного вождя иногда все же подрывал Яков.

Репликой, вскользь брошенной.

Не всегда он мог сдержаться, видя это религиозное поклонение своего будто и неглупого сына человеку страшному и, возможно, не очень грамотному.

Так было, например, когда купил он Арику ботинки. Тот бурно выражал восторг. Вдруг прозвучало саркастическое:

— Конечно. Ура! Спасибо товарищу Сталину! Да?

— Зачем так, папа? Я ведь тебе благодарен, но зачем ты товарища Сталина таким тоном помянул? — едва не выкрикнул Гордон-младший.

Сердце сжало тоскою:

— Бедный папа, он не понимает, что говорит. Это оттого, что я всегда такой неблагодарный.

— Папа, я знаю: ты — не враг, нет! Ты — хороший. Я люблю тебя. Даже больше, чем товарища Сталина. Но просто по-другому. И не надо так о нашем вожде, не надо, — хотел сказать, но не сказал опечаленный и не впервые ужаснувшийся Арик.

Враги

Вчерашние выдающиеся деятели, сподвижники товарищей Ленина и Сталина, оказывались врагами. Их портреты, изрядно намозолившие глаза, снимались со стен, вымарывались в учебниках и тетрадях. Их имена переставали произносить.

Враги.

Коварные, хитрые.

Подлые.

Подлежащие беспощадному уничтожению. Шпионы и диверсанты, предатели и мерзавцы. Они слуги фашизма и империализма. Они говорят наши слова, но черны их дела. Это было ясно видно любому: в кинофильмах, в книгах, в газетных статьях.

Враги хитро вплетали в рисунок на обложке школьной тетради буквы: «Долой Советы». Арик тщетно изучал обложку: он не смог эти буквы обнаружить, фантазии не хватало.

Чувствовал свою неполноценность, когда другие сверстники, более примитивные, как считал он раньше, что-то ясно видели.

В тетрадях и учебниках дети аккуратно вырезали портреты, выкалывали глаза вчерашним кумирам: Бухарину и Рыкову, Тухачевскому и Косиору, Постышеву и Якиру, Гамарнику и Блюхеру. Замазывали портреты обнаруженных врагов чернилами.

Почему-то младшему Гордону все эти действия казались примитивно-нелепыми, неестественными:

— При чем тут тетрадь, бумага? — думал он.

И сам пугался: какая *несоветская* мысль!

В Алупке врагов не было, никого не арестовали. Возможно, алупкинские враги замаскировались лучше, чем московские.

Все же не верилось мальчику, что может быть среди них обожаемая Софья Николаевна Тутолмина, ее милейшая дочь Наташа, славные школьные преподаватели знатного происхождения или дряхлый старик-фотограф, бывший владелец имения и красивой виллы, где ныне отдыхают колхозники.

Двенадцатого декабря были выборы в Верховный Совет. Всенародный праздник. Портреты Сталина, Берию, Мехлиса. И — предвыборные плакаты.

Но еще помнились иные плакаты — «Ежовы рукавицы», прославлявшие борца с врагами, жалкими ничтожествами, зажатыми в тех огромных колючих рукавицах. И что же? Выяснилось, что именно Ежов-то и был ужаснейшим врагом народа.

— Но если Ежов — враг, то кто же те, кого он разоблачил? Ягода тоже разоблачал врагов, еще до Ежова. Но сам оказался врагом — и Ежов разоблачил Ягоду. Значит те, кто сейчас разоблачают врагов, тоже могут оказаться врагами...

Арик любил доказывать теоремы, обожал геометрию — и теперь ему показалось, что перед ним было нечто, подобное сложной теореме, где требуется доказать... Но, к его счастью, множество дел чисто детских отвлекало от опасных размышлений.

Тех, кто ябедничал, называли в школе «сексотами». Такая кличка считалась самой обидной.

Арик думал, что это — греческое слово и пишется оно так, как произносится: «сиксот».

Что это — сокращенное «секретный сотрудник», он узнает лишь в шестидесятые годы. Вспомнит школу — и поразится тому, что они, дети, ненавидя *врагов народа*, в то же время презренных ябед, наушничавших учителям, называли «сексотами» — теми, кто «врагов народа» выискивал, разоблачал.

Неужели только дети бросали обидное слово в лица предполагаемых одноклассников-ябед?

«Сосо и Кéке»

Одно время к Гордонам приходила из Мисхора, где она отдыхала, загадочная молодая женщина с удивительно ясными голубыми глазами.

Как-то, обратившись к Арику, читавшему с восторгом что-то о любимом вожде и его любимой маме, она произнесла вместо «Сосó и Кетó» — «Сóсо» и «Кéке», делая ударение на первом слоге.

Он мягко поправил, но она снова с какой-то веселой яростью повторила по-своему: «Сóсо и Кéке». И — еще раз, и — еще!

Стало ясно, что женщина относится и к великому вождю, и к его замечательной матери с пренебрежением. Но она при этом как бы вся светилась чем-то недоступным, какой-то внутренней свободой, подросток Гордон почувствовал это.

За Сталина и его маму обиделся, но — странно! — гостя по-прежнему вызывала симпатию, она смотрела на мальчика добрыми, смеющимися глазами — и светел был его ответный взгляд.

Он глубоко сожалел о том, что такая приятная женщина так недоброжелательна к великому вождю.

Рассказал Якову. Тот побледнел:

— Арик, ты уже большой мальчик, забудь о том, что слышал, навсегда. Как эта глупышка неосторожна! Я поговорю с ней. Ты прав, она очень хорошая, и именно поэтому — забудь.

Она уехала в Москву, но долго еще в ушах звучало:

— Сосо и Кéке...

Потом, после жуткой разоблачительной речи Хрущева, которая доломает Аарона Яковлевича Гордона как личность, он вспомнит эту женщину. А она еще скажет свое слово позднее.

Чтение запрещенных книг школьники не связывали с врагами народа. Но читали тайно. Сборник рассказов «Без черемухи» всю душу измолотил Арику. Он получил его в школе — на одну ночь. Читал до темноты — и утром, едва рассвело: весь в слезах, потрясенный драматизмом и непостижимостью любовных отношений.

И не мог понять, за что эта прекрасная книга запрещена.

Брат Павлика Морозова

Один из приятелей привел как-то во двор мальчишку их лет и заявил:

— Это младший брат Павлика Морозова.

Кто из них не слышал о подвиге пионера-героя, зверски убитого кулаками?! Однако же Арику было не по себе: казалось омерзительным донести на родного отца. Он бы так не смог. В то же время и Павлика жалко было, в песне так страшно пелось:

*Был убит Морозов кулаками,
Был в тайге зарезан пионер.*

Брат несчастного, стоявший перед ними, был крепкий, довольно костлявый и худой подросток в огромной фуражке, напоминающий своим видом беспризорника из кинофильма «Путевка в жизнь».

Он оказался парнем свойским: курил, бегал по парку и матерился так же, как и они, даже, пожалуй, похлеще. Была у него припевка, их веселившая, но непонятная по смыслу:

*Срала, срала
дегтем, дегтем.
Ковыряла
локтем, локтем.*

О брате своем он не рассказывал; даже когда его спросили прямо, сумел отвертеться. Это было странно, но все решили, что ему просто страшно и неприятно — и отстали.

Познакомились и с матерью Павлика Морозова. Одетая в нечто черное и жалкое, вся — в себе, не похожая на мать *известного героя*, ходила она не в меру скорехонько, но шажками мелкими и виноватыми. Была вся сокрытая, уплывающая, со взором неуловимым.

Ее об убитом сыне они не спрашивали: это было бы раной для нее, понимали дети. Жалели женщину — и поражались нищете этих двоих: родной матери и родного брата самого знаменитого во всем мире пионерагероя.

Враги евреев

Дома у них никогда и никто не говорил плохо о каком-либо народе. Это считалось позорным, недостойным делом. Не говорилось и о каких-либо особенностях еврейского народа. Но еврейство Гордонов чувствовалось само собой. В семье почитали юдофилов Короленко и Горького не меньше, чем Шолом-Алейхема и других писателей-евреев.

Антисемитов, естественно, не любили. Когда о них упоминали, то Яков, вспоминая зарубленных родителей, сквозь стиснутые зубы проклинал погромщиков былых и потенциальных:

— Брэннэн золлн зэй.

Увы, пройдет совсем немного времени — и гореть в печах Освенцима будут не антисемиты-погромщики, а евреи.

В верхней Алупке жили татары. Некоторые школьники говорили, что если туда забрести, то побьют. Арик нарочно побывал там, но его никто не тронул. Заявил об этом в классе.

— Может быть, тебя просто не заметили, — съязвил кто-то. — Ты ведь масюпусенький.

Еще говорили, что татары — злые. Но и в этом он не успел убедиться. Насретдинов, их одноклассник, был мальчик добрый и тихий. Такой же славной была татарка Умерова. А еще он знал, что Крым был ханством татарским когда-то, что это *земля татар*.

Юному Гордону нравился ансамбль песни и пляски крымских татар. В его репертуаре была милая песня, слов которой дети не понимали, запомнили только нечто вроде «алмочая, алмочая». Первоклассники передразнивали беззлбно:

— *Ай моча да ай моча.*

А ему было не по себе. Рассердился, сказал им довольно строго:

— Не понимаете, а смеетесь. Это смех над собой.

В его классе ценность товарища определялась не по национальности ученика, а по его поступкам.

Но вот за партией появился новый мальчик, Ваня Манаенко. Отец его был врач, они приехали с Украины. Ваня сразу же подружился с Гордоном: Арик был близок ему по духу. Но вдруг в пылу обычной детской ссоры он крикнул ему:

— Жид!

Гордон уже давно не слышал этого слова. Сразу вспомнились и киевский двор, и косноязычные антисемиты. Он взвыл и кинулся душиить поваленного в ярости на пол Манаенко.

Мимо проходила завуч Мария Антоновна, стриженная худошавая женщина. Отняв у озверевшего еврея жертву, она строго, но спокойно, спросила, в чем дело. Арик кричал, плакал:

— А чего он обзывает меня жидом? Я думал, он хороший, дружил с ним, а он...

Завуч отправила его на урок, а Ваня ушел с ней в кабинет.

Никому не рассказал Манаенко, о чем там говорили они, но стал по особому хорошо относиться к Арику — и

мальчики подружались еще сильнее. Однако юное сознание Гордона было встревожено. Почему хороший мальчик так плохо сказал, почему? Значит, *оно* сидит в каждом, *в каждом — до поры?!*

— Что с тобой, Арик? — спросила в библиотеке тетя Славы участливо.

Доверился, рассказал. Женщина вздохнула. Ушла к стеллажам, принесла книгу Лиона Фейхтвангера «Иудейская война». Роман ошеломил.

Еще сильнее потряс его «Еврей Зюсс». Арик рыдал, прочитав книгу. Ходил и ходил по комнате, прижав руки к груди, заливаясь слезами.

Он теперь уже сам искал книги Фейхтвангера.

И ощущал с нарастающим ужасом необъяснимость трагической судьбы своего странного народа.

Это ужасное ощущение усилили два советских кинофильма: «Профессор Мамлок» и «Семья Оппенгейм». Он выходил после киносеанса подавленный, ни с кем не хотел разговаривать: поразило сходство фашистов с Пэтэллэ — по мерзкой сути.

Под Верденом, в страшной мясорубке, сражался за Германию этот немецкий еврей, патриот Германии, профессор Мамлок. Но фашисты его ненавидели, он для них был не герой страны, не замечательный врач, а *гадкий еврей*.

— Папа, я понял, что такое юдофобия, — сказал однажды Арик отцу. — Я прочитал в книге, что если прищемить кошке хвост, то она будет грызть то, что положишь перед ней. Можешь меня ругать, но мы проделали опыт. И кошка от боли грызла спичечный коробок — *еврея*. А надо-то было кусать мою *руку*.

Яков взглянул на него так, как будто увидел сына впервые.

Зашагал по комнате.

Останавливаясь.

Ломая пальцы.

— Беда в том, что среди самых страшных врагов наших есть и было немало евреев, — сказал сурово. — Ты, наверно, не знаешь о том, что инквизитор Торквемада был еврей? И в СССР есть *евреи-антисемиты*.

А сколько евреев в разных странах готовы на все, лишь бы ассимилироваться?! Не выйдет: для юдофоба *ты всегда жид*, даже если ты Иван Иванович Иванов, христианин. Кстати, Иван — еврейское имя.

— Иван?

— Да. Иоханан — это Иоанн, Иван. У англичан — Джон, у немцев — Иоганн, у французов — Жан, у итальянцев — Джованни, у испанцев — Хуан. Иисус — тоже еврейское имя: Иехошуа. Вам говорили в школе о том, что Христос был еврей? Или убеждали в том, что его вообще не было? Впрочем, детям можно внушить все, если дать конфетку. Да и взрослым — тоже.

Несколько раз посмотрев антифашистские фильмы, подросток Гордон проникся еще большей любовью к своей замечательной Родине, Советскому Союзу. Но к немцам его отношение было сложным.

— Все немцы — фашисты, — сказал как-то один из одноклассников.

— Нет, не все. Например, советские немцы живут в своей республике на Волге и вместе со всеми народами Советского Союза строят социализм, — газетно возразил Арик.

Ему предстояло узнать, как советских немцев вывезут далеко на восток, а потом не восстановят их республику, *не пустят домой*.

Однажды к соседу Саше пришли в гости музыканты-немцы из оркестра, гастролировавшего в Крыму. Когда они направились в клуб, Арик тоже увязался за ними. По дороге те говорили по-немецки. Поскольку в школе он уже третий год изучал этот язык, Арик многое понимал из их беседы на бытовые темы.

Обрадовался — и сказал:

— А я понимаю почти все, что вы говорите!

Немцы оборотились — и улыбнулись, ласково, удивленно. Похвалили мальчика. Ни на миг не пришла ему в голову мыслишка о том, что эти люди могут быть врагами, фашистами.

Она придет позднее, во время войны. Но он прогонит ее. Даже в те страшные военные годы не сможет он ненавидеть весь народ немецкий, не будет желать ему гибели.

Протачивая мины на заводе, в несколько раз перекрывая норму, он, шестнадцатилетний, голодный, худой, скрывающий свою мучительную болезнь, будет думать лишь о победе над ненавистным фашизмом. И не только над германским.

Позднее среди его друзей самым дорогим будет сибирский немец Вильгельм Яковлевич Шпет, талантливейший преподаватель-скрипач с душой вечного ребенка.

Грозная карта Европы

Незадолго до начала второй мировой войны Яков купил огромную политическую карту Европы, которая заняла всю стену.

Арик подолгу изучал ее, произнося вслух таинственные названия:

— Реджо ди Калабрия, Барселона, Антверпен, Эль-Аламейн...

То и дело смотрел на кружочки столиц: Мадрид, Тирана, Белград, Прага, Будапешт, Лондон, Париж, Берлин, Стокгольм.

Вместе со Славой принялся рассуждать у карты о том, как СССР разгромит Германию. Как освободит народы Европы. Как все же совершится мировая революция. И наступит эпоха справедливости.

Мальчики напряженно следили за событиями в Испании и вначале были уверены в победе республиканцев. Торжество франкистов оказалось недоразумением, следствием лишь огромной помощи им со стороны мирового капитализма. Так писали в газетах.

Однажды в курзал привели группу испанских детей. Арик сел рядом, показал одному из ровесников камень, поднятый с земли, и назвал его:

— Камень. А как по-испански?

— Пэдро.

— Ты — Педро?

Тот засмеялся:

— Нэт, этот камэн есть пэдро. Я есть Хуан.

— Надо изучать испанский язык, — подумал Арик.

Между тем, в Европе творилось что-то непонятное: Германии просто так, без войны, удалось заполучить Чехословакию, а Советский Союз промолчал. Мальчики встретились.

Четвертый раздел Польши вернул было им оптимизм: границы СССР ушли далеко на запад.

Однако же события развивались непредвиденно: невероятно быстро пала сильная Франция, почти во всей Европе хозяйничали фашисты, Британия оказалась блокированной, а в Африке немецкий генерал Роммель одерживал все новые победы.

И страшная мысль пришла к школьникам: война с Германией не будет для Советского Союза ни короткой, ни легкой. Теперь их полководческо-дипломатические рассуждения казались Арику нехорошими. Он даже наедине с собой краснел, вспоминая о них. Ведь он в сущности никогда не любил войну.

Тяжело переносил фильмы о войне, неохотно играл в красных и белых. Жалел раненых и убитых. Их матерей и жен.

— Это страшно и непоправимо, это очень плохо, если погибают люди, — сказал он как-то, нехорошо удивив всех товарищей.

Лишь один раз, когда в пионерском лагере отряды поделились на «красных» и «синих», ему вдруг стало волнующе интересно пробираться по горному лесу, чтобы выполнить разведздание. Дремавший инстинкт проснулся и захватил его.



Глава девятая

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Семиклассники. Не врач, а кузнец! Преодоление. Испытание электротоком. Оттенки смеха. Волшебные зеркала. Кино. Из глубин Вселенной. Репетиторсамозванец. Одинокий волк. Рукотворные чудеса.

Семиклассники

Они почувствовали себя взрослыми в седьмом классе: расстояние до выпускников школы стало не таким уж большим, многие из семиклассников даже обогнали их в росте, а то и в эрудиции.

Преподаватели разговаривали с ними тоже как-то по-иному. Подростки строили планы на будущее, некоторые не хотели кончать десятилетку, думали о техникумах, о работе.

Усилилось стремление к самовыражению, к самоутверждению. Но никто не знал ни близкого, ни отдаленного будущего.

Длинноногая, веселая и хулиганистая любимица класса Маня Гудис писала лирические стихи и не провидела, что ей предстоит стать штурманом дальней бомбардировочной авиации, получить контузию, советские и зарубежные ордена, а затем, после войны, — терпеть выходки злого соседа-антисемита.

Не знала о близости своего страшного конца тихая и маленькая, с кудрявыми косичками, Рива Карпман, не знал о своем предсмертном подвиге будущий партизан Петя Лисовский.

Коле Кузнецову, веселому и азартному, предстояло стать солдатом, а со временем — и генералом.

Пока же его сестра, шестнадцатилетняя крепкая девушка, проверяла выносливость Арика: то ущипнет, то ухо пронзит длинными ногтями. Было больно, но он улыбался. *Назло ей.*

— Зачем ей это нужно? Неужели так ненавидит меня? Или ей приятно делать другому больно? — думал, удивляясь.

Так и не додумался. После войны узнал о том, что она вышла замуж за очень-очень важного чиновника.

Хотя Арик ко всем относился тепло, любил свой класс, но по-прежнему ему ничего не стоило выстрелить из рогатки в кого-нибудь, когда становилось скучно. Через много лет, как бы в наказание за это став преподавателем, он сумеет и понять выходки учеников, и предотвратить их, и простить.

Однажды, раскуривая за углом, Арик из-за пустяка разругался с Базаровым, здоровенным одноклассником, и ринулся на него. Нанес несколько ударов, вопя нечто злое и непонятное.

Вовка Базаров как бы не чувствовал этих ударов и спрашивал:

— Арька, ты чио? Я эслиф хоть раз стукну, ты ж по-мрешь.

Осознав всю разницу в весовых категориях и всю слабость своих ударов, Гордон заплакал.

Базаров стал утешать его.

А дома Арик снова плакал горькими-прегорькими слезами: почему, ну почему он такой худой, маленький, такой слабый?

И тепло думал о добром Базарове, и завидовал его мощи. Потом как бы со стороны увидел и услышал это свое

нападение на Вовку — и засмеялся невесело: вот бы в кино показать!

Но если он, Арик, такой слабый, то обязан стать первым в чем-то другом: в стрельбе, в фехтовании, еще в чем-нибудь.

Прочитал о джиу-джитсу — и стучал везде ребром ладони. Потом надоело: все равно приемов он не знает, а ладонь никак не твердеет. Ударил по шляпке гвоздя — только поранил руку.

Будучи студентом, Аарон вступит в секцию бокса, окажется перспективным бойцом, но, послав друга в тяжелый нокаут, а затем получив сам роковой удар, вспомнит Джека, упадет в депрессию и покинет бокс навсегда.

Не врач, а кузнец

Сдружился Арик с Лисовским. Петя носил тельняшку, в меру шалил, много читал, речь его была безукоризненна. Юный Гордон полагал, что Лисовские принадлежат к интеллигенции.

И вдруг приятель сказал, что его отец — кузнец. Арик не сумел скрыть удивления, а Петя так нехорошо произнес:

— Думал, что он врач, как твой, да-а?

Арик расстроился: ведь они понимали друг друга всегда, и вот в тоне Пети прозвучало нечто не то осуждающее, не то отвергающее родителей Арика.

Они продолжали дружить, но боль от того случая осталась. Боль, причиной которой был не сам Петя: друга он искренне уважал и любил по-прежнему. Боль была смутная, но широкая, вселенская. Как ему хотелось сейчас поговорить об этом с Александром Грином или с Константином Паустовским! Или с Лионом Фейхтвангером!

Вновь явилось желание воззвать:

— Люди! Давайте все пойдем друг друга! Будем хорошими! Будем все вместе!

Преодоление

Хотя Гордон считался отличником, это звание не было полноценным: табель его успеваемости портили «посы» («посредственно») по рисованию и физвоспитанию.

— Я поправлю это дело, — заявил он в седьмом классе. — Я закалю свою волю. Я стану таким, как лучшие, — во всем!

В рисовании помогли занудные задания Эвглены Зеленой: не желая пользоваться, как многие, копировальной бумагой, он *рисовал с натуры*: и в пятом, и в шестом классе перерисовывал иллюстрацию за иллюстрацией из учебника биологии, сидел часами в борьбе с непослушной линией.

Позднее он заставил себя стать собранным на шумных уроках рисования, подолгу дорабатывать дома начатое в классе. И сам любовался сделанным.

Сложнее было с физкультурой. Слабый мальчик вначале быстро выдыхался в беге, боялся снарядов в физзале. Возможно, даже «посы» вместо «плохо» ставил физрук под давлением педсовета. Над Ариком посмеивались одноклассники, и горький стыд стал, наконец, сильнее страха.

Помог стадион. Там под толстой деревянной перекладиной висела кишка каната с узлом на конце.

Мальчик когда-то попытался подтянуться на канате одними руками, без помощи ног. Не вышло. Пришлось подниматься, перехватываясь и руками, и ногами. Научился: добирался до самого верха. Потом спускался тем же манером.

И вот теперь он подошел к канату, чтобы полностью победить его. Трехлетний опыт лазанья по деревьям и ка-

чания на ветках тоже пригодился. Арик-семиклассник подтянулся-перехватился раз, второй — и, хотя больше в тот день не смог, но уверовал в себя:

— Я не сдамся, поднимусь одними руками! — заявил канату.

Стал приходить сюда несколько раз в день, подтягивался и перехватывался: сначала два раза, потом — три, четыре...

Вскоре без помощи ног, одними только руками перехватываясь, взбирался до самого верха.

Полюбил раскачиваться на этом канате. При движении вниз надо было резко присесть, при подъеме — плавно приподниматься, упираясь ступнями в узел. Амплитуда быстро росла.

В душе его вздымалась гордая песнь преодоления страха.

Потом, снова победив оцепенелую робость, он перебрался с каната на бревно верхней перекладины, сел на него верхом и дополз толчками до ближайшего опорного столба. Соскользнул по нему. Отдышался.

С каждым разом проделывал это упражнение смелее, но от противного, обессиливающего страха полностью не избавился.

На стадионе был и турник. Арик вначале мог подтягиваться на нем лишь два-три раза. Но упорство позволило через некоторое время довести счет до семнадцати. Выносил подбородок над перекладиной, как положено. Гордился собою.

И тогда он решил, что настала пора: когда подошла его очередь прыгать через козла в спортивном зале, он не остался на месте, как бывало прежде: пошел-побежал-оттолкнулся...

— Вышло! — закричал удивленно и радостно.

Преподаватель физкультуры поддержал его веру в себя. Теперь Арик, преодолевший страх, прыгал в спортзале и через *козла*, и через *козла* всеми возможными способами, перехватывался на этих снарядах, упражнялся на брусках и на кольцах, как и большинство одноклассников.

Это радовало, но до лучших: Чуркина, Лисовского, Спицина — было еще не близко.

В беге же он добился итогов столь значительных, что физрук даже начал проверять свой секундомер после его забега на шестьдесят метров. Заставил повторить. Тряс головой.

Арик полюбил стадион, проводил там все больше времени. Как-то присоединился к футболистам, гонявшим мяч.

— Пасс! — закричал, ожидая передачи.

Ему передали мяч, но тут же кто-то отнял его — и так было несколько раз.

— Иди гулять, от тебя толку нет, — бросил один из парней, — не умеешь ни мотаться, ни лупить ногой.

Гордон обиделся — и покинул футбол навсегда, так и не познав его радостной и мужественной сути.

Испытание электротоком

Однажды мальчик, любопытствуя, зашел в радиоузел. Попросил молодого радиста объяснить, как работает аппаратура.

— Хочешь фокус? — спросил тот весело. — Ты так сможешь?

И начал как бы двумя пальцами, а по сути — лишь поочередно одним из них, касаться отверстий гнезда, из которого выдернул вилку. Арику же предложил — сразу двумя пальцами.

Тот легко увидел примитивный подвох, но решил проверить себя на выдержку. Приложил оба пальца к гнездам. Когда Гордона ударило током, обманщик-радист был чрезвычайно рад.

— Я знал, что будет больно, но не смертельно. Я пошел на эксперимент сам, — подумал Арик, — не тебе обмануть меня. Я не побоялся!

Вслух же сказал одно только слово:

— Дурак.

И ушел под гнусный хохот парня, который с ума сходил от скуки в своем крохотном помещении.

Второй удар был сильнее. Два приятеля резали тупыми ножницами электрический провод в общественном туалете. Для очередного эксперимента. Стали на плечи друг другу. Были оба босиком.

— Ну и шарахнуло! — ахнул Арик, поднимаясь с пола. — Вот так да, отрезали...

— Убить могло, — выдал Слава, помогая ему встать. — Хорошо, что мы упали.

Тогда юный Гордон решил основательно проверить свою стойкость к электрическому току. На улице стоял старик с ящичком-аппаратом. В руки надо было взять два цилиндрика, соединенных с ящичком проводами.

После этого старик начинал вращать стрелку, усиливая ток, идущий через клиента.

Сначала щекотало, потом становилось больно, выворачивало руки, выламывало их. Надо было дотерпеть до звонка в аппарате, но Арик ни разу не смог. Бросил эксперимент: все равно не вытерпеть...

Оттенки смеха

Как-то Елена Александровна дала задание: пойти к пожилым людям собирать поговорки и пословицы. Одна из девочек принесла нечто странное, написала на доске: «*Я Канах, я Коблах, яко нет ничего*». Гордон сразу понял, что правильно было бы:

— *Яко наг, яко благ, яко нет ничего.*

Елена Александровна развеселилась, а Арик объявил бедной собирательнице фольклора:

— Отныне ты не только Канах, но и Коблах. Ты — анекдот.

Мальчишки любили анекдоты. Даже высококультурный Слава Медведев. Когда он рассказывал высоким литературным стилем нечто, Арика больше, чем смысл анекдота, сместило именно это противоречие формы и содержания.

— Представь: в клозете — человек, страдающий запором, — говорил Слава. — В дверь же нетерпеливо стучит человек, страдающий поносом...

Но однажды Слава принес откуда-то такое:

— Грек и еврей вступили в спор о древности своей культуры. Грек говорит: «При раскопках Трои обнаружили проволочку, а это значит, что в те далекие времена у греков был проволочный телеграф». Еврей возражает: «В Иерусалиме вели раскопки, копали-копали, ничего не обнаружили, и это означает, что в еще более далекие времена у евреев был беспроволочный телеграф, то есть радио». Ха-ха-ха, каково?

Арику анекдот не понравился, потому что уже знал от Пипина Короткого, какие богатства таит для археологии земля священного города. Из-за этого и как бы хитрый ответ смышленного еврея жалким показался. Даже Славу стал чуть меньше уважать.

Следующий анекдот друг начал такой фразой:

— Гитлер е... в ж... еврейскую девушку...

Рассказчик не заметил, как слушателя передернуло, как поджалась дрогнувшие губы — и продолжал весело:

— ... и говорит ей, держа за грудь: «В моих руках вся Палестина». А она отвечает: «В моей ж... вся Германия». Ха-ха-ха! Превосходно, не так ли?

Нет, не засмеялся ошеломленный Гордон. Анекдот, который как бы утверждал преимущество девушки над ненавистным фюрером, был ему омерзителен: мальчик явно представил несчастную соплеменницу и то, что с ней происходит.

Его коробило, тошнило. Он с трудом не впал в истерику. Слава же не подозревал, что натворил. Он оставался другом, но Арик уже не с былою силой радовался встречам с ним: вспоминал сразу анекдот...

Были у школьников и чисто политические анекдоты, они выставляли идиотами Гитлера и Муссолини, их дипломатов и офицеров. Как правило, это было нечто грубое, выраженное языком нецензурным. Вроде анекдота о Гитлере и той еврейке.

Рассказчики анекдотов, особенно артистичные, пользовались у подростков своеобразным авторитетом. Арик стал одним из таких анекдотчиков. Это и льстило ему, и угнетало порой:

— Как тебе не стыдно, друг! — укорял некий другой Арик.

Волшебные зеркала

Книги для него были не только зеркалами жизни. Мир литературы был его *Зазеркальем*: подросток уходил в иное измерение, в котором можно забыть о несуразности мира реального.

Продолжалось в седьмом классе запойное чтение. Увлекали Арика Гоголь и Тургенев, еще сильнее — Алексей Толстой. Но запоем читал он западноевропейских авторов. Ему нравились Мериме и Бальзак, Гюго и Золя. Волновали Стендаль и Цвейг. Захватывал Драйзер. Близкими стали Чарльз Диккенс, Джек Лондон и Марк Твен. Каждый по-своему.

Но были авторы иные, лишавшие оптимизма. Душу ранил Анатолий Франс. Его пингвины были не столько смешны, сколько мерзки и жутки. Обижал юного читателя Джонатан Свифт: отвратительными виделись йэху в стране гуингнмов. Да и прочее...

— То ли дело Бернад Шюу! — говорил Арик Славе. — Смеется над нами, людьми, и он. Но все же Шюу любит своих героев! А после Франса и Свифта противно на людей смотреть.

Когда же читал Александра Грина, Ганса Христиана Андерсена или Константина Паустовского, ему казалось, что и сам он писал вместе с автором. Обожал всех троих и хотел стать таким же писателем, помогать людям понять и полюбить друг друга. Уходила озлобленность, будто и не было ее.

Удивительных этих кумиров перечитывал раз за разом, замирая от восторга. Верность в любви к ним, как и верность любимым Пушкину и Лермонтову, он не нарушит никогда.

Достоевский поражал, как бы растворял в Космосе. Салтыков-Щедрин не только смешил.

— Ужас, ужас, — шептал Арик, воспринимая «Историю одного города» как кошмар, внутри которого он сам оказался.

«Вий» Гоголя лишил его нормального сна на много дней.

Эти противоречивые воздействия мучили его, разум подростка беспомощно барахтался в мощном потоке возникающих мыслей, желаний и чувств. Но Арик читал, читал и читал!

Увлекаясь по-прежнему фантастикой и приключениями, мчась нетерпеливо по линии развития событий, читатель уже пытался нередко постичь глубину и красоту мысли, фразы. Реже пропускал описания природы, прежде вызывавшие только скуку.

И в этом была, конечно, заслуга Елены Александровны, любимой его «русачки».

Благодаря ее урокам он научился, читая, лучше слышать диалоги: с интонациями, с тембром голоса и акцентом каждого героя. И слышал самого автора книги. Видел подчас его мимику. Поражался.

Рядом с баском Жюль Верна звучал баритон Майн Рида, рядом с глубоким подвыванием Проспера Мериме —

тихое уговаривание Ромена Роллана; потрескивал Брет-Гарт и почти напевал Чарльз Диккенс. Как дикторы, говорили Беляев и Казанцев, густо окал Горький и акал по-московски Чехов.

Прочитав собрание русских сказок, собранных Афанасьевым, Арик пристрастился к народному творчеству, отыскивал сборники сказок разных народов. Погружался в волшебную круговерть чудес. Был то колдуном, то царем, то Иваном-дураком.

Хоть и увлекся научной фантастикой, но сильнее привлекли жуткие фантазмагии Гофмана. Имя его произносил, как заклинание:

— *Эрнст-Теодор-Амадей Гофман.*

Сказки «Тысячи и одной ночи» смущали обнаженной эротикой. Хотелось поговорить с кем-то из взрослых об этом, но все еще стеснялся: либо просмеют, либо отругают. Такие они, эти взрослые.

— Одна женщина встретила ночью белого козла по дороге на Алупку-Сару, — сказала Маня Гудис. — Он проблеял, что скоро будет война. Она потом три дня не могла и слова вымолвить.

Арик поверил: это явно было из мира Гофмана, мира Эдгара По.

«Одноэтажная Америка» стала настольной книгой Славы, и Арик с радостью присоединился к нему. Оба восторгались ее теплым и бодрым юмором, четкой Адамс — даже сильнее, чем похождениями Остапа Бендера. Цитировали книгу друг другу.

Кино

— Сегодня в курзале мировая картина! — кричал кто-то в центре их двора.

— Сколько частей? — интересовался голос с высокой ветки дерева.

— Двенадцать! — несло откуда-то.

— Нет, десять! — не соглашался еще один мальчик, поднявшийся по лестнице к террасе.

— Как называется? — вопрошал басок с крыши их дома.

— «Большой вальс», — пицало из окна.

— Ерунда какая-нибудь, — отозвался Арик с крыльца.

Все же пошел в курзал. И попал в плен: пленил дивный голос Милицы Корьюс, пленила вальсовая музыка Штрауса, вносящая в душу радость мироощущения. Полюбил ее навсегда.

Фильмы в курзале шли почти ежедневно. Киноустановка была одноаппаратная, поэтому по окончании каждой части фильма возникал перерыв. Мальчишки бегали между скамьями, курили потихоньку, обмениваясь подслушанными у взрослых анекдотами.

Распевали потом пиратскую песню из «Острова сокровищ»:

*По морям и океанам
Злая водит нас судьба.
Бродим мы по разным странам
И нигде не вьем гнезда...
Приятель,
веселей разворачивай парус,
Йо-хо-хо,
веселись, как чорт...*

Цитировали из «Волги-Волги»:

— *Ты «кричи теперь» не кричи теперь, а кричи теперь: «совершенно секретно».*

— *Хлеб с солью — психоз у этого мерина.*

Арик почти равнодушен был к такому цитированию. И никому не говорил о том, как жалеет в «Бесприданнице» и Ларису Дмитриевну, и Карандышева, как презирает их

обоих. Как восторгается Кторовым-Паратовым — и как ненавидит его.

Что́ его никогда не утомляло, так это, конечно, «Праздник святого Йоргена»: фильм смотрел много раз — и всегда с интересом. Как, впрочем, и все его товарищи.

— Когда я был еще грудным младенцем, моя бедная, бедная мама уронила меня с четырнадцатого этажа ... — то и дело вспоминал кто-нибудь из мальчиков, вызывая взрыв хохота.

Юный Гордон был благодарен Игорю Ильинскому. Вместе со всеми. Никогда этот мастер не разочарует его и позднее. Великий мастер сцены.

Прекрасные актеры снимались в кино в то время, было их на экране целое созвездие. Но больше всех его восхищала Раневская. Именно она, такая некрасивая, но чудная, неповторимая, полюбившаяся на всю жизнь, вызвала детский вопрос:

— Что же это такое — тайна таланта, секрет обаяния?

Из глубин Вселенной

Арика удивляло и радовало то, что он мог рассмешить, развеселить, исправить плохое настроение почти любому. Подчас он произносил как будто бы совершенно простую и даже пустую фразу, но почему-то она смешила окружающих.

И будто кто-то требовал от него найти такой путь в жизни, чтобы всем вокруг него было радостно, весело, хорошо.

— Для этого надо стать или актером, или писателем. Конечно, лучше — писателем. Книжки читают все, а в театр ходят очень даже не все. В кино же надо писать сценарий, а я не умею. Для начала я напишу фантастический роман, — заявил Арик, когда родители пришли с работы.

К его удивлению, они не рассмеялись.

Еще шестиклассником он согласился с теми писателями-фантастами, которые считали, что предки людей пришли из глубин Вселенной. Но он хотел сказать новое слово: призвать всех-всех быть такими же хорошими, как те далекие люди.

Уселся за стол, раскрыл тетрадь и написал заголовок: «Белые птицы». Поставил имя автора, вывел строки: «Наши предки пришли из глубин Вселенной. Они летали в белых, прилегающих к телу, одеждах и казались животным большими белыми птицами, — сказал внуку старый Эрл Урув».

Задумался. Почувствовал, что оскудел духом. Ни одной строки более не появлялось. Вдохновение испарилось.

А тут еще, будто специально подобрала время, одна из одноклассниц, отличница-соперница, дала почитать начало своего романа о жизни американских рабочих. Оно показалось ему талантливым — и он вдруг осознал собственную бездарность.

Выпало из руки созидающее перо.

Лишь через десять лет он его поднимет: опусы Гордона будут печататься в районных газетках, но неверие в свои силы не оставит его, в большую литературу он не войдет.

Репетитор-самозванец

Отец рассказывал, что подрабатывал много лет как репетитор. Поэтому и Арик решил приходить в школу за полчаса до начала занятий: заниматься с одним из отстающих учеников.

— Это лучше, чем списать у меня, не понимая ничего, — убеждал товарища. — Зачем тебе самообман?

Нравилось растолковывать. Когда *его ученик* тоже мог толково ему, а затем и преподавателю в классе, объяснить осознанное, репетитор расцветал.

Вскоре учеников стало четверо. Помня, как сам одолевал трудности, он им без утайки сообщал найденные способы понять, запомнить. И познавал высшую радость, радость самоотдачи, которую впервые открыл, оценил в «Витязе в тигровой шкуре» великого Руставели:

«Что раздашь — твое...»

Благодаря репетиторству, он сам стал глубже осмысливать учебный материал, но о своей деятельности не хотел говорить никому из взрослых, даже отцу, тем более — преподавателям.

Отцу докладывал только о полученных оценках, ничего не скрывая.

— Папа, я сегодня получил три «отлично», — кричал Арик радостно, придя из школы.

— Так и должно быть, — невозмутимо замечал Яков.

Ему, одолевшему самостоятельно курс классической гимназии, действительно, казалось, что сын должен приносить только «отлично». Радость сына удивляла: дело-то обычное!

— Папа, сегодня у меня два кола: я не хотел отвечать на «пос» и отказался, — докладывал сын почти гордо.

— Надо побыстрее исправить эти оценки, — почти равнодушно советовал Яков.

Арик в обоих случаях обижался: он ожидал похвалы или порицания, но никак не равнодушия.

Любил юный Гордон отвечать у доски, почти всегда был готов к уроку — и с удовольствием рассуждал вслух. Не только перед уроком, но и перед экзаменом, готовясь, предвкушал:

— Как здорово, как славно я буду им всем рассказывать!

Даже репетировал, обращая внимание на интонации, паузы, задавая риторические вопросы. Словно к спектаклю готовился. И на экзамене волновался, как на сцене. Это поймет позже, исполняя роли, ставя спектакли. Декламируя.

ОДИНОКИЙ ВОЛК

Иногда он вдруг, как бы кем-то подтолкнутый, начинал перевоплощаться: соорудив из полотенца подобие чалмы, напялив домашний халат Якова, подрисовав себе черной акварелью усы и бородку, становился халифом багдадским.

В зеркале видел себя именно тем, изображаемым, из иных веков пришедшим человеком.

Даже какие-то жесты и позы особые появлялись. Выходил во двор и начинал некое подобие пантомимы. Детворе нравилось. Актер награждался аплодисментами.

Он снова гримировался, перевязывал пионерским галстуком один глаз, одевался пиратом. Являлся в новом образе народу.

— Тэбе у цырку показуваты, — съязвил Павлюк, увидев Арика в «ролях».

Он явно ревновал к успеху нового лицедея.

Напрасно: Арик вскоре забросил пантомиму. Зато в декламации он шел и шел вперед. Основой служили, естественно, стихи, которые заучивали в школе. Все они ему нравились.

Трудно было поначалу с руками: не знал, куда их девать. Потом начал искать подходящие жесты. Иногда удавалось самому найти, иногда — использовать чужие, со сцены украденные, давно наблюдаемые.

Его наставниками по-прежнему были, не зная того, чтецы, которых он видел и слышал в курзале и в клубе санатория. Но он хотел выразить что-то свое: то, чего требовало его глубокое, тайное «Я». Вернее, его иное, не детское «Я».

В моменты обращения к залу в его душе и во всем его теле пела радость немислимая. Он совершал *таинство!*

Его любимыми поэтами для выступлений на сцене оставались возвышенно-прекрасный Пушкин и мятежнодемоничный Лермонтов, к ним примыкали гражданственно-

печальный Некрасов и могуче-нежный Маяковский. Он пытался понять и верно передать каждого из них. Радовался удачам. И тут же горевал, чувствуя свое несовершенство.

Елена Александровна вызывала его на уроках для чтения наизусть чаще других, и ему казалось, что ей нравится, как он декламирует:

*Тучки небесные, вечные странники!
 Степью лазурною, цепью жемчужною
 Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
 С милого севера в сторону южную.*

О как сочувствовал он любимому поэту! Как понимал его!

*Что же вас гонит: судьбы ли решение,
 Зависть ли тайная, злоба ль открытая?*

По-особому, почти шепотом, со скрытой болью, спрашивал:

Или друзей клевета ядовитая?

При этом слово «друзей» произносилось иронически — и следовала тяжелая пауза. Ноги подрагивали, сильно билось сердце. Он уже верил в то, что сейчас он не Арик Гордон, что стал он Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.

Сквозь показное холодное равнодушие прорывалась боль:

*Прощай, немая Россия,
 Страна рабов, страна господ!
 И вы, мундиры голубые...*

И тут он вдруг с укоризной и презрением бросал в класс:

И ты, послушный им народ.

Он глубинно чувствовал, не осознавая, некую связь с его собственным временем. И причиной тому была любимая Елена Александровна: прорастали в душе зерна, талантливо брошенные ею.

Она ставила ему «отлично», объявляла оценку, не добавив ни слова, не комментируя, как обычно.

Читая Некрасова, Арик использовал интонации знакомых бабуль, напевно жаловался:

*Да недо-олги были радости:
 Воротился сын больне-охонек...*

Он чувствовал, как перевоплощается то в охотников, то в мать солдатскую, то в ее больного сына. Но нередко терял найденное состояние души, видел себя со стороны, слышал свой голос — и досадовал на фальшь. Сильнее всего это проявлялось в строках:

*Мало слов, а горя — реченька,
 Горя — реченька бездонная.*

Хотя любил Некрасова, но нервировало чрезмерное, по ощущению декламатора, число уменьшительно-ласкательных суффиксов. Что-то неискреннее в этом чудилось. Из подсознания прорывалось отцовское: «телячьи нежности», «сладенькие».

В седьмом классе в его репертуаре было до полусотни стихов. В их числе были и басни Крылова.

— Ах, ты, обжора! Ах, злодей! — кричал чтец укоризненно.

И вдруг задыхался от хохота, представив и разглагольствующего чудака-повара, и пиршествующего кота, не подозревающего, что именно к нему обращена укоризненная проповедь.

Декламируя Маяковского, Арик вспоминал то, что знал от Елены Александровны о его жизни, поражался мощи образов:

*В сто сорок солнц закат пылал...
 Я волком бы выгрыз бюрократизм...*

Но лишь много лет спустя стихи «О хорошем отношении к лошадям», прочитанные товарищем, вдруг откроют ему такую нежную, такую ранимую глубину удивительной души Владимира Владимировича.

Иногда начинающий чтец находил в газете или журнале стихи, которые его волновали, трогали чем-то, и вносил их в свой репертуар. Нравились ему Виктор Гусев, Лебедев-Кумач.

Выходя на сцену, каждый раз он сильно волновался. Весь дрожал, заливался горячим румянцем. Люди в зале сливались для него в одного большого зрителя, которого надо было покорить, вынудить прочувствовать то же, что чувствует он сам.

Ему аплодировали, но он иногда вдруг спрашивал себя:

— Не из жалости ли ко мне хлопают в ладоши?

И был по-петушину обрадован, когда в клубе после его чтения «Смерти поэта» Лермонтова одна из десятиклассниц, до того не замечавшая его, подошла, взяла чтеца за плечи, вошла взглядом в его глаза — и промолвила:

— Ты потряс меня. До сих пор мороз по спине бежит. Спасибо, соплячок. Возможно, у тебя талант.

Всего через шесть лет Вацлав Дворжецкий, в театральном коллективе которого он будет учиться мастерству актера, скажет Гордону:

— Нет, Арик, все же ты не актер, ты — декламатор: ты одинокий волк, друг мой. В тебе *слишком много себя*.

Рукотворные чудеса

В седьмом классе Арик заболел корью. Окна были завешаны, потому что свет резал ему глаза. Когда же больной начал поправляться, то ему

не разрешали еще вставать с постели. В качестве выкупа за послушание узник потребовал книжку, которую недавно прочел, тетрадь и карандаш. И начал в полутьме перерисовывать иллюстрации.

Получалось весьма неплохо, родители были удивлены, да и сам художник — не меньше. Куст, лошадь, человек — все выглядело даже живее, чем в книге, хотя видны были и погрешности в рисунке. Обрадованный мальчик попросил отца попозировать — и нарисовал два миниатюрных портрета, где поражало не только сходство с оригиналом, но и ухваченная суть характера.

Тут Арик окончательно выздоровел — и забросил свои упражнения.

— Сынок, почему ты больше не рисуешь? — спросила Ева. — У тебя так хорошо получается! Вот и кувшин твой в шестом классе на выставку пошел, и тетрадь по биологии — тоже.

— Мама, мне нужна публика, аплодисменты. А рисунки...

Через два десятилетия, скучая на собраниях и совещаниях, он вернется к жанру портрета.

Затем ему станут позировать знакомые, удивляясь, а то и сердясь:

— Неужели я в самом деле такой человек? Похоже, но...

И вдруг Аарон оставит это, начав писать серенькие пьесы.



Глава десятая

ИЗГНАНИЕ

Ошибка Евы. Вредные привычки. Опозорившийся партнер. Хихикающая отличница. Любвеобильная Алина. Падение Танечки. Любимая Тамара. Исключение из школы. Прощание навсегда. Пуца-Водица. Война. Суламифь в бункере. Бегство.

Ошибка Евы

Кипевшая после гибели Джека неосознанная злоба содействовала тому, что свои возможности декламатора подросток начал использовать совершенно омерзительным образом.

— Я достаю из широких штанин...

Едва заметным, но явным жестом семиклассник цинично изменял смысл стиха. В то же время видел себя со стороны:

— Что я делаю?! А Елена Александровна и не подозревает!

И после урока все еще недоумевал, негодовал. И даже руки к груди прижимал тоскливо: до того был себе противен.

Общую озлобленность Арика усилила заботливая Ева. После одного из столкновений с Яковом, вновь назвавшим сына *выродком*, мальчик вдруг обратился к ней:

— Мама, я больше так не могу ... Кто я? Объясни.

И рассказал о мыслях, о тревогах, о не известных родителям делах своих.

Но вместо того, чтобы сохранить подаренную судьбой вспышку откровенности, ошеломленная женщина пошла в школу и выложила то тайное, что было сообщено сыном в знак величайшего доверия.

Хуже того: Ева призвала преподавателей оградить Аарончика от тлетворного влияния товарищей. Ей, как и большинству наивных матерей, казалось, что сам по себе ее сын — хороший ребенок. Что на плохое его кто-то другой, нехороший, может подбить.

Преданность подвела: узнав о поступке матери, Арик надолго замкнулся в себе. Многих бед мог бы он избежать в близком и далеком будущем, если бы не опасное внутреннее одиночество, на которое он с той поры себя обрек. Оно станет его глубинной горестной сутью, о которой лишь немногие будут догадываться.

Эта противоречивая глубинность будет швырять его от проявлений чистого бескорыстия и человечности — к эгоистическому равнодушию, от высот поиска связи со Всевышним — к прорыву низменных желаний, пошлости и даже цинизма.

От одномоментной поразительной смелости — к трусливому соглашательству. От привычного горестного самоедства — к туповатому самодовольству.

Он, сорокалетний, в компании, сильно подвыпив, вдруг приоткроется. И тогда выскажутся полупьяные приятели.

— Такое со многими случается. Из-за полярных влияний окружающей среды, — пояснит марксист-философ. — Она, среда, — всему причина.

— Чуть! Причина — противоречия в генетическом наборе, в наследственности, — возразит генетик. — Это не поправимо. Пока наука еще слаба.

— Извечная борьба Добра и Зла в душе человеческой, — мягко вмешается теолог-проповедник. — Борьба низмен-

ных позывов тела с возвышающим зовом духа и есть суть всего! Служи Добру, Аарон!

— А вдруг это — некая игра неведомых сил? — таинственным шепотом спросит художница, увлекающаяся мистицизмом.

— Проще: виновна родовая травма! — объявит врач-хирург. — Щипцы! Плюс катастрофа, в которую попала твоя беременная мать.

Второй врач, женщина-психоаналитик, ласково прожурчит:

— Арь! Давай изучим твои комплексы: они идут от подсознания. Приходи, тебе нужна *моя* помощь. Секс — и еще раз секс, вот где скрыта причина. У тебя все в порядке с этим? М-м?

Вредные привычки

В перемену многие мальчики убегали за школу — и там курили. Трудно было выкурить целую папиросу за несколько минут, проще — одну на двоих, а то и на троих. Арик затягивался глубоко, хотел быть наравне со всеми, но нередко на уроке ему становилось плохо, тошнило так, будто вот-вот вырвет. Бросало в жар, сердце билось укоризненно и горько.

— Разрешите выйти, — просил он и бежал к туалету.

Были педагоги-изверги, не выпускавшие из класса. И тогда он попадал в ад. Но ни разу его не вырвало на уроке.

Он постоянно слышал о вреде курения, однако же не имел силы воли, не мог бросить дурную привычку. Яков отчаянно ругал его, обнаружив спрятанные папиросы, кричал о том, что сын — сам себе враг. Пару раз даже стукнул в бессилии.

Как и прежде — напрасно: Арик лишь лучше прятал курево. Более того, он вновь потянулся к алкоголю: едва в

квартире появилась огромная бутылка со спиртом, мальчик начал понемножку оттуда черпать и пить, сильно разбавив дозу. А уровень жидкости в сосуде восстанавливал кипяченой водой.

Через два дня сомнительное удовольствие прекратилось: казенная бутылка исчезла.

Это однако не остановило опасного втягивания, начало которого восходило еще к дедушкиным наливкам на шкафу: Арик вместе с другими мальчиками начал покупать пиво, которое поначалу казалось слишком горьким, но давало приятное опьянение. Постепенно привыкал к нему.

Конечно, происходило это не каждый день: школьникам надо было сначала тайно накопить определенный денежный минимум. Надо было подойти в гастрономе к бывшему однокласснику-продавцу, понимавшему их. При этом постараться, чтобы другие продавцы не заметили их запретной покупки.

Опозорившийся партнер

Голос Арика погрубел, но все еще оставался теноровым по тембру. Ломка его прошла довольно быстро. Это утешало: не хотелось говорить, пищать, кашлять и лаять одновременно.

Если раньше он по утрам делал боковой пробор и легкомысленный «фестончик», то теперь с помощью воды и расчески преодолевал сопротивление волос и зачесывал их назад, открывая высокий лоб. Стал выглядеть старше. Умнее.

Но все еще оставался самым маленьким в классе. Это смущало.

Однажды группа семиклассников собралась на день рождения у одной из девочек. Взрослых не было. Выпили водки, закусили.

Арик, довольствовавшийся прежде крошечными дозами разведенного алкоголя и несколькими глотками пива, почувствовал вскоре тошноту, едва не выдал все обратно, но налег на лук, соленые огурцы, селедку — и тошнота постепенно ушла. Закурил. Улыбнулся жалко.

Голова его кружилась, он прилег на диван — и под общий галдеж, как бы все более удаляющийся, незаметно задремал.

Когда он открыл глаза, то увидел, что перед ним стоит полураздетая именинница и пристально на него смотрит.

— А где все? — удивленно спросил он.

— Ушли.

— Ладно, и я пойду.

— Нет, подожди. Подвинься. Я полежу рядом.

Сердце его застучало, он задрожал, ноги похолодели. Но — подвинулся. Она легла рядом. Приказала:

— Поцелуй меня.

Он покраснел, робко подчинился. Это было впервые: никогда ни родители, ни родственники не целовали его в губы.

— Э, да ты же нецелованный, — засмеялась шестнадцатилетняя второгодница. — А говорят, что ты бывалый.

Она поцеловала его: умело, опьяняюще сладко. Придвинулась вплотную, легла на него и снова целовала, терлась о него тазом, доводя до исступления. Потом легла на спину, сняла трусики, продолжая двигать тазом, и прошептала:

— Да раздевайся же, раздевайся скорее ... а-ах...

Охваченный желанием, он сбросил брюки, трусы — и плюхнулся на нее. Она охнула, но снова тело ее задвигалось.

— Возьми в рот мой сосок, — шептала девушка, сбросив лифчик, — и языком ... так ... да ... милый...

Она раздвинула ноги, но уже наступило семяизвержение. Он облил ей живот, тяжело дыша.

— Идиот, — заорала возмущенная партнерша, — что ты наделал?! Пошел вон, говнюк!

Он оделся, сгорая от стыда, и ушел. Долго бродил по улицам, по парку. Как ему теперь смотреть в глаза ребятам? Она его везде опозорит. Но какова, какова?! Эх, если бы смог ... Что же будет теперь?

Однако страхи его оказались напрасны: о случившемся никто не узнал, а девушка здоровалась и беседовала с ним по-прежнему. Будто и не было никогда ничего между ними. Он понял это как прощение в обмен на его молчание.

— Да ведь и в самом деле ничего не было: я не сумел, — огорченно признавал не забывший своего позора неудачник.

Хихикающая отличница

Прошло около месяца. И снова над ним издевательски посмеялся ход событий. Отличница из восьмого «А», которой он принес взятую накануне книгу, оказалась в постели.

Она с матерью не раз бывала у них в гостях, и пока родители беседовали, он смешил ее, оставаясь в рамках приличия: знал, что она ставится в пример своим поведением.

— Болеешь? — участливо спросил Арик.

— Нет, я читала Мопассана. Это приятнее делать в постели, — потянулась она сладко.

Он заволновался, подошел ближе. Но не решался ни на какое дополнительное движение. Застыл.

— О чем ты думаешь? — спросила она, странно глядя.

Он покраснел. Не ответил.

— Хочешь лечь ко мне? — догадалась, захихикала.

Он кивнул.

— Ну так ложись, — продолжала она хихикать. — Раздевайся, не бойся. Только дверь запри сначала.

Арик непослушной рукой запер дверь на ключ, разделся, прикрывая стыдное место, и лег к ней. Он дрожал, тяжело дышал, желание гулко взывало ударами сердца.

Девочка все хихикала, плотно сомкнув ноги, и все более сильные и яростные попытки неопытного партнера войти в нее были безуспешны.

— Ну, хватит, — сказала она наконец. — Там из-за тебя синяк будет. Ты хорошо меня насмешил, спасибо. Уходи. А то мама скоро придет.

Он не на шутку встревожился, начал быстро напяливать на себя одежду: он заболел, ему и без того было нехорошо, он не желал встречи с матерью отличницы.

Едва он оделся, раздался стук в дверь.

— Что здесь происходит? — насторожилась женщина, войдя.

Гость залился багровым стыдом — и усилил подозрение. Дочь начала объясняться с матерью, а он сбежал. И с того дня стал огибать их дом.

А когда они приходили к Гордонам в гости, отыскивал предлог, чтобы сразу же удалиться.

Любвеобильная Алина

В общей массе классного коллектива выделялись группы друзей или подруг, обычно по три-четыре человека. В группе великовозрастных была Алина, девушка с прекрасной фигурой и милым личиком. Много слышал Арик о ее похождениях.

Однажды, оказавшись рядом с ним за партой, шестнадцатилетняя красавица-семиклассница вполголоса сообщила:

— Я с двенадцати лет бегаю за мальчишками.

Он был потрясен, не знал, как реагировать.

— У тебя красивые губы, — сказала Алина еще тише.

Арик покраснел, растерялся.

— А вообще-то ты похож на девочку, — шепнула она. — Правда!

Дома он посмотрел в зеркало и будто впервые увидел себя: на щеках играл румянец, алые губы, действительно, были красиво очерчены, глаза сияли почти синей голубиной. Но он не рад был.

— Я не девочка, нет! — крикнул Арик. — Неправда!

Ах, как он завидовал тем, у кого уже пробились усы, бакенбарды — пусть и не очень густые, не очень жесткие!

А через несколько дней, возвращаясь с моря, он вдруг увидел, как Алина, сидя на скамье между двумя десятиклассниками, целует враскос то одного из них, то — другого. И те мирно сидят, не ревнуя, не ссорясь, ожидая очереди.

— Вот дела! — оторопел он. — Что же будет дальше?

В тот же миг его окликнул и подошел отец, и они отправились домой. Арик углубился в свои мысли, отвечал невпопад. И рассердил Якова. И продолжал думать о том, как много странного и непонятного вокруг. Не только Алина его смущала.

Падение Танечки

Отличница Танечка, умница, у которой он уже дважды побывал в гостях и очарованно слушал ее игру на фортепьяно, вдруг начала получать неудовлетворительные оценки.

— Курортник-летчик ее обманул, — шептали ученицы, — пообещал часы *за это дело*, но обманул. Вот гад! А она орала от боли! Да!

Арик был потрясен: летчик, герой, сталинский сокол — и такая мерзость! Негодяй должен быть наказан! Но кем? Как? Родители Танечки были люди уважаемые, интеллигентные. И робкие.

— Неужели ничего не знают? — спрашивал себя. — Или знают, но делают вид, что не знают? А если девчонки врут?

Он хотел подойти к Танечке и сказать ей, что надо снова учиться лучше всех, что нельзя падать духом, но пред-

ставил, как она презрительно пошлет его подальше, и передумал. Он так жалел девочку, так переживал за нее, что не сразу задумался о том, *почему* она отдалась летчику.

Он не верил в легенду об обещанных часах: Танечка была из состоятельной семьи — и часы вряд ли ее прельстили бы. Тогда почему?

Любимая Тамара

В тот памятный день бродили, довольные собой, по Нижнему парку три семиклассника: Петя Лисовский, Арик Гордон и их новый приятель Жора Немоляев, великовозрастный хулиган по кличке Моль.

Шутя и смеясь, вышли они на Пятачок, знаменитую площадку перед радиоузлом санатория, — и тут увидели совершенно незнакомых девочек своего возраста.

Их тоже было трое.

Приятели немедленно активизировались: начали обливать друг друга набранной в рот из фонтанчика водой, убежали, подбегали, кричали, хохотали. Арик погнался за Петей, совсем уже готов был облить его, но из-за неумемного приступа смеха выпустил воду через нос вместе с его обычным содержанием — и остановился, кашляя.

— Ага, опозорился! — злорадно завопил Петя.

Арик страшно смутился. Да еще обнаружилось, что при нем нет носового платка.

Однако же постепенно все само собой устроилось: смех стих, ребята подошли к девочкам, спросили, кто они, откуда — и познакомились. Тут же решили, что будут с ними дружить.

— Нас трое, и их — тоже. Судьба, — сказал Моль. — Я беру себе длинную, делите остальных.

Самая маленькая и незаметная девочка была с какой-то коростой на верхней губе. Опозорившемуся Арику, ес-

тественно, досталась именно она. Он не расстроился: девочка так мило смотрела на него, такая была скромная и тихая!

— И вообще мне все равно, — сказал он, — это ведь все несерьезно.

Но с того дня подружки стали ежедневно приходиться к ним из своего Симеиза, расположенного в пяти километрах от Алупки.

— Почему не мы ходим в Симеиз, а они — к нам?

Такой вопрос возник было, но из лени отшвырнули его:

— Значит, им так удобнее.

Вскоре у Тамары, как звали подружку Арика, сошла с губы короста, она с каждым днем все больше хорошела. Она превращалась в милую девушку. Арик восторженно смотрел на ласковое, доброе лицо, восхищался уютной фигуркой. Он все время теперь думал о новом свидании с Тамарой.

Удивляло то, что она казалась словно нематериальной: он не наливался желанием. В то же время подружка становилась все ближе, роднее: он обретал ту половину своей души, отсутствие которой смутно ощущал до того. Рождалась любовь.

Хотелось удалиться с ней от всего мира, смотреть в глаза ее — и не расставаться. Но он не решался сказать об этом — и, гуляя с ней по парку, все старался ее рассмешить.

Она улыбалась, слушая не то, что говорит Арик, а нечто иное — то, что прорвалось сквозь слова: то возвышенное, что он должен был бы сказать, но не умел, не смел, не решался. Да и не осознал еще сам.

Конечно, он не только болтал: показывал Тамаре, как много раз может подтянуться на ветке, взбирался на деревья, чтобы добыть ей свежие фрукты.

Но однажды появился на их пути сверстник Арика, курчавый нахал.

— Девочка, у тебя есть тити? — мерзко хихикая, обратился он к Тамаре, повторил вопрос — и тут же отбежал.

Первым желанием Арика было ударить мерзавца, но вдруг он заколебался, вспомнив его брата Фемистокла, который приходил в последнее время к соседу по дому, десятикласснику. Вернее, к сестре его.

Этот сосед был худощав, мускулист и так силен, что даже втроем Арик и его друзья не могли побороть его. Уставали, хохотали — и сдавались. Фемистокл же оказался еще сильнее. Он занимался боксом, был храбр и беспощадно жесток. Его-то и попросил как-то Арик:

— Научи меня боксировать. Я плохо дерусь.

— Сначала надо научиться переносить боль, — пояснил тот.

И начал учить: бил по рукам, пока не онемеют.

На этом наука кончилась: боксер перестал приходиться к соседу, точнее — к сестре соседа. Все же Арик остался благодарен Фемистоклу.

Воспоминание это длилось мгновение, но и его было достаточно для того, чтобы Моль, шедший со своей подругой сзади и обрадованный предоставившейся возможностью *набить кому-то морду*, ринулся на ехидничающего. Не догнал: тот бежал быстрее преследователя.

Арик расстроился: ведь он же *сам* обязан был схватиться с поганцем сразу же, не колеблясь! От него не убежал бы.

— Что же остановило меня? — грыз вопрос.

Только вчера он подрался с худеньким девятиклассником. У того были длинные руки, Арик ни разу не достал противника, наполучал от него — и *сопаткой умылся*, жалок был в бессильной своей ярости. Над ним смеялись. И это еще не забылось.

— Из-за вчерашнего? — безжалостно не поверил сам себе. — Нет. Я просто струсил: курчавец — брат и ученик свирепого боксера, и я вдруг представил, как он победит меня или как Фемистокл потом измолотит меня до полу-смерти или даже сильнее. Гадкий трус!

— Я испугался презрения Тамары: если бы я умылся сопаткой и был побит, она бы меня бросила, осмеяла, —

промямлил в сознании некий голосок его противоречивого «Я».

— Ну, нет! — зазвучал новый голос, похожий на голос отца. — Это у зверей самка прогоняет побежденного. Девушка же бросает не побитого, а того, кто не стал сражаться за честь ее оскорбленную. Дон Кихот так не поступил бы.

Яков побудил когда-то сына-четвероклассника прочитать роман Сервантеса; тот понял не все, но рыцарь печального образа вызвал искреннюю симпатию. И вот — вспомнился...

Ярость, безвыходность или отсутствие времени на колебания толкнул Аарона Гордона на бег по крышам вагонов мчащегося поезда, на схватку с готовым выстрелить в упор пьяным офицером, на иные решительные и опасные действия.

Но промедлив миг, дав волю своему инстинкту самосохранения и воображению, *представив страшное*, он не поступит по-мужски. И любой из этих случаев станет такой же незаживающей раной в душе, как этот: *первый, решающий, и потому — недопустимый*.

— Жора, — сказал Гордон товарищу на следующий день, — я хочу вызвать эту гниду на драку, при всех. И не стану думать про Фемистокла: я ведь его боюсь. Потренируй меня, не жалея. А то спать не смогу.

Моль с удовольствием согласился:

— Будь спок. Только после праздника. Завтра же Первое мая, *бухать* будем. Потом дня три я поучу тебя — и ... Иго-го и бутылка рома! Ха-ха! А Фемистокла возьму на себя, он давно мне и моим корешам должен.

— За что?

— Не твое дело, сядь! — угрюмо глянув исподлобья, промолвил ставший на миг как бы чужим *друг* Моль.

Однако после Первой мая события развивались неожиданно. Стало не до дуэли с *паршивцем*.

Исключение из школы

Первого мая тысяча девятьсот сорок первого года Жора, Петя и Арик купили бутылку «Английской горькой» и распили ее в парке из горла, закусив луковицей. Арик не только опьянел: он был тяжело отравлен. Едва доплелся с друзьями до стадиона. Его мутило, шатало, он курил в открытую и сквернословил.

Вообще-то курили и сквернословили все трое, но милиционер, молодой парень, улыбаясь нехорошо, сказал одному только Арику:

— Вот я пойду в школу и расскажу про тебя вашему директору.

Так же улыбался и сторож, снимая младшего Гордона с дерева. Такая же шкодливая улыбка встретится Аарону Яковлевичу Гордону на физиономиях патологических антисемитов: сослуживца-доносчика и инструктора обкома КПСС.

Увидит он ее не раз и на других лицах.

И причиной такой улыбки будет лишь радостная возможность причинить зло еврею. За что? *Да за то, что он еврей.* Что тут непонятно?!

— Милиционер прав, — думал Арик, — я виноват. Но ведь не только я! Почему же он на меня одного?

В кабинет директора школы вызвали Арика и Еву. Милиционер с тем же удовольствием и той же улыбкой узнал подростка и снова повторил то, о чем уже, видно, доложил здесь.

— Я же был не один. Почему ты выбрал только меня? — спросил срывающимся голосом обвиняемый.

— Остальные вели себя хорошо. И не тычь мне, — осклалился лжец в мундире.

— Благодарю вас, вы свободны, — сказал директор.

Милиционер удалился.

И тогда директор школы начал сердито пояснять Еве, какой у нее плохой сын. Она заплакала, умоляя простить мальчика. Плачущая мать вызвала в душе Арика глубочайшее волнение. Он еще яснее осознал свою вину, но в то же время почувствовал некую по отношению к Еве несправедливость.

Он и раньше не любил, а теперь яростно возненавидел директора. Не смог вынести, тоже заплакал и заорал истерически:

— Мамочка, не унижайся перед ним!

Выбежал из кабинета и, уже жалея о своем нелепом вопле и потому плача еще горше, умчался в парк.

Сел на землю, зарыдал.

Естественно, вопрос о его исключении из школы назрел. Он еще пару дней ходил на занятия, обреченно ждал педсовета. Чувствовал себя то героем, то — жертвой, то — просто мелким мерзавцем.

И был злобен. И написал поэтому на одном из уроков, шмыгая угрюмым носом, омерзительнейшую «Оду», направленную против директора.

Начиналась она так:

О рыжий плут! Сгубил меня ты.

Но знай: приду в твои палаты...

Далее следовало описание мести. Это было рифмованное нецензурное убожество, но в стиле Державина, подмешанного к Пушкину, — и потому еще более мерзкое.

Тебя от смерти не спасет

Ни друг, ни врач и ни сиксот, — писал автор.

Он не подозревал того, что последнее слово, хотя и написано с ошибкой, тем не менее может попасть в некое досье и даже вызвать со временем репрессию похуже исключения.

По рассеянности поэт забыл свой опус в школе. Отличница, которая в свое время дала ему читать начало созда-

ваемого ею, но так и не созданного романа, нашла лист со стихами в его парте — и с радостным возмущением отнесла в учительскую.

Это решило проблему: Гордон был исключен.

Он сидел под открытым окном. Вслушивался в голоса, доносящиеся из класса. Во время перемен курил с одноклассниками, изображал оптимизм. Видел, что его жалеют, однако считают исключение хоть и жестоким, но справедливым.

Думал:

— Тамара вот-вот придет. Как ей объяснить мое исключение?

Он еще не осознавал полностью трагизма сложившейся ситуации, был как бы во сне, который вотвот прервется — и окажется, что на самом деле все хорошо.

Пути Вс-вышнего неисповедимы: тридцать пять лет Аарон Гордон *«простоит у учительского столика»*, испуская свою вину. Он будет пытаться воспитывать учителей и учеников, самого себя.

Честно будет стараться понять каждого и помочь ему, вспоминая и свое былое.

Немало поразительных успехов и одновременно тяжелых срывов будет у него на том трудном пути, ибо противоречивая, болезненная суть этого человека и его патологическая внушаемость не изменятся, а полярные влияния на него в ближнем и дальнем окружении не исчезнут.

Прощание навсегда

Считанные дни оставались до экзаменов. Арик попытался готовиться, но не смог. Чтобы сын не потерял год, помрачневший Яков решил уволиться с работы и возвратиться в Киев.

Ранним утром оба Гордона подошли к автобусу. Жора, Петя и три милые девушки попрощались с Ариком. Несчастный изгой обалдело уверял их в том, что уезжает ненадолго, даже что-то бодрое добавил, но отец прервал его. Они заняли свои места.

Тамара вдруг отошла в сторону, положила голову на грудь другой, довольно высокой одноклассницы. К ним подбежал Петя и, мгновенно вернувшись к автобусу, знаками показал другу, что девушка плачет. Он был самоизумление.

Спазм перехватил горло Арику: Тамара любит его, разлука ей горька, а он почти рад! Потому что может сдать экзамены за седьмой класс в другой школе. Потому что покидает ненавистного директора и подлую доносчицу.

Выскочить из автобуса, обнять Тамару! Прижать к сердцу, тихо сказать, нет, крикнуть громче грома:

— Я люблю тебя! Люблю!

Но он колебался: засмеют взрослые, да и отец рассердится...

Автобус, сердито рыча, одолевал крутые подъемы, а пассажир-мальчишка, не сдерживая запоздалых слез, уверял самого себя в том, что скоро вернется — и все будет прекрасно.

Он станет инженером или писателем, а его жена Тамара — учителем или врачом. Они весело будут ездить в Симеиз на четырех велосипедах: Арик, Тамара и их дети, мальчик и девочка. Поразительно: мечтая в автобусе о будущем, да и до того, он ни разу не подумал о том, что и у Тамары есть родители, что они могут как-то *по-своему* относиться к их дружбе или любви. Подростки ни разу ни слова не сказали друг другу о тех, кто их кормит и воспитывает.

Вдруг мечтающий Гордон услышал голос мужчины, сидящего впереди:

— «Динамо» в первом тайме проигрывало всухую, а во втором, если бы не пенальти...

Автобус яростно взвыл, как бы негодуя, и уже в самое ухо соседу кричал тот мужчина что-то.

Но что именно, встревоженный ассоциацией Арик не слушал.

— Неужели я уже проиграл *свой первый тайм*, как дядя Симха? — похолодел он. — Или хуже: проиграл Судьбе *всю игру*? Всухую? Или дано мне еще ударить пенальти?

Пуца-Водица

Приехав в Киев, Яков сразу же устроился на работу в пригороде, в Пуце-Водице. Здесь была только украинская школа, и на первой же консультации к экзамену Арик обнаружил, что не понимает многого в украинских объяснениях преподавателя.

— Как же я буду здесь учиться? — ужаснулся он.

Однако же к нему в школе отнеслись хорошо, подбадривали, разрешили сдать экзамены за седьмой класс на русском языке.

Он сдал все весьма прилично.

Об исключении из Алупкинской школы никому не рассказывал: Яков запретил.

Со сверстниками-мальчиками сразу же сблизился. Сдав экзамены, попрощался до осени, но смутно предчувствовал, что не учиться ему в этой гостеприимной школе. Вообще он пребывал как бы в зыбком мареве предутреннего полусна.

В Пуце-Водице почва — песчаная, даже после сильного дождя грязь на обувь не налипает. Сосны — огромные, красивые. Воздух — чистый, вкусный. Кругом полно ягод. Квартира — такая же почти, как в Алупке, только веранда, увитая диким виноградом, не остеклена, да потолок в комнатке пониже.

Кормят же в здешнем санатории куда лучше: бефстроганов, люля-кебаб, всякие бизе, брюлле и прочие блюда, о которых и не слыхивал раньше.

Если хочешь в гости к дедушке с бабушкой, садись в трамвай — и через некоторое время ты оказываешься на Бессарабке.

А ему хотелось обратно, в Алупку! Она снилась ему по ночам, он грезил ею наяву.

— Тамара, я соскучился! — шептал он, бродя между соннами. — Где ты сейчас, что делаешь? Я ведь не знаю ни адреса твоего, ни фамилии. Почему я такой бестолковый? Почему раньше не подумал?

Написал Пете Лисовскому бодрое письмо. Просил прислать адрес Тамары. Подумывал, как бы съездить в Алупку, пока мама еще не уволилась с работы. Увидеть Тамару, друзей. Елену Александровну! Объяснить ей все-все, открыться полностью!

До трагедии Бабьего Яра оставалось несколько месяцев...

Война

Яков сказал, что война с Германией приближается. Дед Даниил возразил:

— А можэ й нэ будэ? Лига Наций нэ дасть...

Июньским днем по Крещатику ехал легковой автомобиль с нацистским флажком. Арику стало не по себе: вспомнил антифашистские фильмы. Не понимал, почему никто не протестует.

Сказал отцу. Тот поджал губы, молвил саркастически:

— *Дэр рэбэ ин Москэвэ мэйнт аз эр из а хухэм...*

Арик понял, кого имеет в виду отец: опять Сталина. И подумал впервые:

— Неужели великий вождь ошибается? Неужели Гитлер обманет его?

Вспомнил, как яростно отшвырнул Яков газету, где на фотографии Риббентроп, обмениваясь рукопожатием с Молотовым, отвернулся, чтобы скрыть от партнера довольную и хитрую улыбку. Как дедушка Даниил сказал тогда горько о фашисте:

— Вин думает: «Добре я тобі насрав».

Ранним утром 22 июня 1941 года Арика разбудили выстрелы, гремевшие на фоне тяжелого гула моторов. Он выбежал на улицу. В чистом небе медленно летели аэропланы. Около них распускались белыми цветками разрывы. В бору ухали зенитки.

— Папа, папа, маневры! — возликовал он.

— Нет, это война, — упавшим голосом произнес Яков.

Происходило в те дни нечто непонятное: в воздухе не было ни одного краснозвездного истребителя. Ни одного! Над Киевом печально повисли аэростаты заграждения.

— Где же наши ястребки? — удивлялись при бомбежках люди.

Не раз Арик мог видеть, как от германского самолета отделяется и летит к земле бомба-смерть. Он знал, что если она падает близко, то следует опередить ее: упасть на землю, лучше всего за каким-нибудь укрытием.

Ему было страшно, но в то же время как бы и интересно: где же упадет бомба?

Рассказывали, что не все бомбы взрываются. А в не разорвавшихся — записки: «Чем можем, тем поможем». Это как-то утешало: пролетарии всех стран должны спасти свой оплот, прекрасную страну Советов!

А в санатории Арика мобилизовали на рытье спасительных траншей-укрытий, которые называли щелями. Там он перепачкал и порвал новые белые брюки. Изранил непривычные ладони.

Суламифь в бункере

Младший Гордон заходил иногда в бункер, расположенный под одним из зданий санатория. Там находился радиопункт с мощной аппаратурой. Арик надеялся услышать известие о широком контрнаступлении Красной Армии.

Вместо этого однажды радист поймал радостную речь Геббельса. Потом немецкую сводку о боях:

— Захвачено много танков, орудий, взято много пленных, занято много населенных пунктов...

— Не надо слушать эту сволочь, — сказала юная медицинская сестра, красавица-еврейка, — давайте лучше почитаем Куприна.

Она читала вслух под аккомпанемент гудящей и вздрагивающей земли, и в ней самой видел Арик ту библейскую красавицу Суламифь, поражался красоте слова рисующего, красоте отношений человеческих. И верилось в близкое торжество правого дела.

— Нет, не может быть, чтобы наши долго отступали, — сказал он вслух.

Люди, слушавшие радио, а затем — чтицу (они были в офицерской форме: в санатории расположилась воинская часть), сурово промолчали.

Вскоре стало известно, что эвакуируются заводы, учреждения, а с ними — семьи знакомых.

Шурик ушел на фронт добровольцем. С ним — Давид и все парни их большой, дружной компании. Попросился и Лейб, но его забрала медицинская комиссия.

Родной брат Даниила, Урин, не успеет эвакуироваться, погибнет вместе с женой, детьми и внуками. Девятнадцать загубленных душ! Горстка из шести, а по некоторым предположениям, даже семи миллионов...

Бегство

Сводки становились все более удручающими, флажки на огромной карте в санатории стремительно меняли места, передвигаясь на восток. Арик вспоминал карту Европы, висящую в Алушке.

Становилось даже оптимистам ясно, что страна к войне не готова, что предстоят огромные жертвы.

В Киеве ловили шпионов. Однажды Якова задержали, фамилия Гордон вызвала уверенность: немец, шпион. Потом разобрались.

Ева с трудом выехала из Крыма. По дороге поезд разбомбили — багаж пропал навсегда. Все же добралась до Киева. Ее встретили и радостно, и тревожно.

— Слава Б-гу, мы теперь все вместе, — радовалась она. — Я едва не потеряла надежду.

А времени почти не оставалось, надо было срочно покинуть город.

Даниил не хотел эвакуироваться. Уперся.

— Я старый, жинка стара, нас нэ будуть чипаты.

— Очень даже будут, — сердился зять. — Убьют.

Приехал грузовик, в нем уже довольно плотно сидели растерянные люди.

— Вам пятнадцать минут на все сборы, — объявил сопровождающий. — Брат по чемодану на человека.

Начали выхватывать из собранного то одно, то другое. Тетя Маня поехала с ними, но лишь проводить: ее в список семьи отказались внести. Она все плакала. Арик жалел ее, предложил тихонько:

— Там мы пройдем все вместе. Может быть, проскочишь. Давай попробуем.

Она отказалась, и это поможет всем: ей удастся эвакуироваться с друзьями в Омск, и она примет к себе в комнатушку, где вместе с ней будут жить эвакуированные

женщины, сначала овдовевшую Эстер, потом — Арика, а после войны, когда москвички уже уедут, — военных врачей Еву и Якова.

По дороге на пристань они видели, как несут куда-то аэроостаты, как идет усталая пехота, видели других эвакуируемых. Услышали о прорвавшемся и разгромленном вражеском десанте, поражались.

Арику казалось, что все происходящее — странный сон, что все вокруг него нереально, абсурдно.

На пристани ждали несколько часов. Только в полночь подошел пароход «Владимир Ленин». В это время появились вражеские бомбардировщики. Прожекторы их ловили, скреживаясь, зенитки били непрерывно, но самолеты, словно заколдованные, спокойно делали свое дело.

Посадка шла под аккомпанемент взрывов и гула земли. Под рупорные крики команд.

Суматоха. Давка. Вопли. Плачущая тетя на берегу. Шлепанье плиц по воде.

Сидящие на палубе рядом со скарбом ошарашенные люди...

Вдруг — остановка. Что случилось? Не пропускают, потому что сводят понтонный мост. Ругань, крики, угрозы с обеих сторон. Капитан дает команду:

— Самый полный!

Прорываются — и плывут вниз по реке.

Впереди — три ночи под бомбами в чужом городе, контузия Арика.

Впереди — станция на Кубани, городишко на Волге, голод.

Впереди — сибирский город, в котором Аарон станет взрослым и совершит почти все главные ошибки своей жизни.

Город, в котором он будет человеком довольно известным, но не сумеет стать счастливым. Город, где уйдут в вечность Даниил и Эстер, Яков и Ева, Маня и ее муж. Город, где останутся друзья, которых он сумеет понять и оце-

нить, лишь оказавшись вдалеке. Где и враги останутся: те, которых знал и не знал в лицо, те, которых подчас считал друзьями.

Впереди — шумная Москва и тихий городок в Израиле.

Кончалось его неповторимое и странное детство. Завершалась пора становления его характера. Пора сладких снов — и страшных кошмаров. Наивных восторгов — и горьких разочарований.

Но еще продолжался первый тайм той игры, в которой никакой выигрыш не предотвратит ее скорбного завершения, но где каждому дан шанс быть счастливым. Шанс быть достойным имени *Человек*.

Первый тайм игры, где сила воли и коварная случайность играют друг против друга, где возможность выбора пути то безгранична, то сужается до судьбоносного ответа лишь на один четкий вопрос:

— «Да» или «нет»?

Наперекор всему в душе Арика жила наивная уверенность в том, что жизнь будет все лучше и лучше, что самое главное и самое прекрасное — не позади, а впереди. Что он, Аарон Гордон, выиграет первый, определяющий тайм, который еще не окончен.

Что затем выполнит свое пока еще не разгаданное жизненное предназначение.

Рамат-ашарон, 12 декабря 1997 года.



СПРАВКА

Александр Герзон — автор около трехсот стихотворений, ряда повестей, более полусотни рассказов и сказок, нескольких пьес.

В Советском Союзе и в Израиле некоторые стихи и рассказы публиковались в русскоязычных газетах как под псевдонимами, так и под фамилией автора — Герзон.

Несколько рассказов звучало на Омском радио (редактор — Т.А. Муренец), песня из мюзикла «Сорвите маски» (соавтор — Александр Зыков, музыка Иосифа Тамарина) трижды прозвучала на ЦТВ Москвы. Текст мюзикла утрачен, сохранились лишь конспект либретто и три текста песен, музыка — у композитора.

Большая часть изготовленных автором книг подарена частным лицам и организациям в России, Канаде, Израиле и США.

Повесть «Первый тайм», представляющая собой первую книгу автобиографической трилогии «Двадцать лет Аарона Гордона», куда входят также «Блудный сын» и «Мышонок», написана в 1976-1997 годах. Рисунки к тексту выполнены автором повести.

Данное, пятое издание, как и третье, и четвертое, является результатом весьма незначительных авторских поправок для пересылки его через *Интернет* читателям с применением архиваторов *Rar* и *Zip*.

Кроме того, в данном издании была произведена правка нижнего колонтитула, изменена нумерация страниц с соответствующими переносами текста в файлах и коррекцией абзацев, выполнена подрисовка части иллюстраций и уточнена справка об авторе.

Автором написана и многократно отредактирована фантазмагория «Возвращение Аарона» («Аарон и его странные кошки»), которая как бы примыкает к трилогии о Гордоне.

Сохранившееся:

✓ **повести** «Аннигиляция», «Блудный сын», «Ведьма», «Еврейчик», «Мышонок», «Одиннадцать ночных рассказов», «Первый тайм», «Судьба», «Возвращение Аарона («Кошки Аарона», «Аарон и его странные кошки»);

✓ **сборники рассказов** «Черный лебедь», «Астра и Дружок», «Самый главный поклонник», «Кошечка», «Глаза любви», «Без любви», «На крутом спуске»;

✓ **сборники фантастики** «Кот в сапогах», «Сигнал», «Сиреневое поле», «Его звали Боб»;

✓ **сборник сказок** «Три сказки для взрослых»;

✓ **пьесы** «Статуя на берегу», «Осенний дождливый день», «Хапипуги, или кольцо царя Соломона».

В **сборники стихов** «Избранные стихотворения», «Монолог», «Зов», «Признание» и другие сборники включена большая часть написанных автором стихотворений.

В приложениях к русскоязычной израильской газете «Новости недели» опубликовано около сорока стихотворений и семь рассказов А. Герзона. Все они включены в авторский сборник «Песня», который переведен также и на иврит.



РАССКАЗЫ

ВЕДЬМА

Новелла-детектив

«И постиг я, безутешный, сколь безумно все земное»

Шота Руставели. «Витязь в тигровой шкуре»

Война застала меня в Москве, где я после окончания девятого класса гостил у дяди, известного журналиста.

Я хотел стать актером, в школьном драмкружке считался корифеем и мечтал о Малом театре. Дядя, к моей радости, поверил в меня, одобрил мои планы и даже более того: решил оставить меня у себя для учебы в одной из московских школ. Попутно я должен был ознакомиться как можно лучше с театральной жизнью столицы.

В то памятное воскресенье, двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, первая моя мысль была о старшем брате. Я позвонил домой, в Челябинск, но никто не отвечал. Он сам позвонил вечером, сказал, что уволится с завода и пойдет на фронт добровольцем. Пожелал мне учиться лучше всех, стать выдающимся артистом.

— Мы этих гадов разгромим быстро, — слышал я родной голос, — и я первым делом заявлюсь проверять тебя, Соломон.

Мы с братом осиротели недавно: родители-врачи выехали на борьбу с опасной эпидемией — и сами оказались ее жертвами. Только дядя остался у нас после этого. Да еще его дочь, красавица Гинда, которая жила в Киеве с мужем и дочерью.

Я пожелал брату успеха, всем нам — быстрой победы, повесил трубку — и сник. Мрачные предчувствия овладели мною.

Дядя больше месяца созванивался с Гиндой, требовал немедленно переехать в Москву, нервничал. Она почему-то замешкалась, и он сам едва не отправился в Киев.

Но тут его вызвали в военкомат, и он через день вылетел на самолете к линии фронта.

Не знаю, почему, но я почувствовал, что никогда его больше не увижу. Так и случилось: он вместе со всей дивизией попал в окружение, затем — в лагерь, где его выдал как еврея и командира один из предателей. Об этом, как и о гибели моей кузины-красавицы в Бабьем Яре, я узнал лишь после войны.

Дядина жена ушла на фронт военврачом, и я после этого больше учиться не мог: вместе с другими одноклассниками записался добровольцем и надеялся сразу же попасть на передовую, где уже сражался брат.

Был я рослым, крепким и ловким, как и он. Мечтал попасть в ту же артиллерийскую часть, где сражался Лева, и бить фашистов прямой наводкой.

Вышло иначе: меня направили на курсы, несколько месяцев я проходил вместе с такими же добрыми молодцами усиленную подготовку. Затем в составе диверсионной группы был заброшен на оккупированную территорию.

Мы выполнили задание, но вернулась лишь половина группы. Я был ранен довольно легко, но прочувствовал и понял, что такое страх и что такое ярость, не по наслышке, а на деле и в полной мере.

Еще не раз меня забрасывали в тыл врага. Я, как и товарищи, стал почти буднично справляться со своим делом: привык.

Вместе с другими я получал награды, но не было радости в моей душе: сначала я узнал о Бабьем яре, потом — что дядя числится среди без вести пропавших; вскоре был опубликован очерк о подвиге брата, награжденного орденом посмертно; главное же — я понял, что фашисты хотят *уничтожить всех евреев*.

И не только они, а и прихвостни, пособники их.

Поэтому я стал беспощаден и порой жесток при выполнении заданий командования: я мстил. Даже товарищи, выдавшие виды, поражались изменению моего характера.

Видимо, об этом доложили командованию, потому что в августе тысяча девятьсот сорок второго года меня, к тому времени старшего лейтенанта, направили в пехотный полк, который был изрядно потрепан и пополнен наспех. Перед этим, конечно, взяли подписку о неразглашении обстоятельств предыдущей службы.

Тепло проводили меня мои боевые товарищи. На следующий день я прибыл на передовую.

В первом же бою, пытаясь остановить отступление своего взвода, растерявшихся необстрелянных мальчишек, я был тяжело ранен. Однако хирурги постарались, и я после двух тяжелых операций и довольно долгого санаторного лечения вернулся в часть. Принял взвод ветеранов пехоты.

То было иное время: май сорок третьего, после разгрома вражеских войск под Сталинградом наши наступали.

Однажды поздно вечером я был вызван в политотдел армии. Здесь меня направили к полковнику Федорову. Он крепко пожал мне руку. Предложил сесть.

Мы разглядывали друг друга.

— В сорок втором ты положил полвзвода, — сказал он, наконец.

— Был приказ: стоять насмерть, ни шагу назад.

— Если бы ты сам не был тяжело ранен, то ответил бы по всей строгости. Так?

Я молчал.

Федоров все так же внимательно меня рассматривал. Лицо его было серьезно и даже печально.

— Вот что, Соломон. Я знаю о тебе все — и даже больше. Знаю больше, чем ты сам о себе знаешь. Понятно?

Я понял, откуда этот полковник. Холодок пробежал по спине, хотя в кабинете было жарко.

— Понятно.

— Вот и ладненько. У меня к тебе, старший лейтенант, просьбишка. Приказывать не могу, только попросить. Но дело серьезное. И очень опасное.

— Я бывал в переделках, — пожал я плечами.

— Вот-вот. Но можешь попасть в такую, что и не снилась тебе в самом страшном сне. Мы знаем, ты не трус. Но здесь понадобится не только мужество, но и хладнокровие, и твои актерские способности тоже.

— Я готов. Лишь бы мстить, и мстить посильнее.

— Тебе надо будет отправиться на Дальний Восток.

— Нет, я хочу воевать с немцем! У меня еще большой счет!

— Знаю. Но мне нужен человек для выполнения задания особого, важного для нашей Родины. И — там, а не здесь.

И действовать придется в потемках, почти всегда в одиночку. Шансов погибнуть у тебя появится куда больше, чем на передовой. Можешь подумать. До утра. И — никому ни слова.

Что-то неведомое, смутное подтолкнуло меня сразу же.

— Я готов, я уже сказал. Что я должен сделать?

— Для начала ты должен пройти инструктаж, затем напроць до поры до времени забыть о нашем разговоре, о своем задании — и выехать в часть. А до этого — пережить разжалование в младшие лейтенанты за то, что положил столько людей в сорок втором.

Я опустил голову: мне было до боли жаль тех мальчишков, но ведь и сам я лишь чудом остался жив: вытащила такая же молоденькая, новенькая. И ранена была при этом. Я уже знал, что более половины полка полегло тогда, пытаясь остановить прорывающуюся к Сталинграду лавину. Но своя вина жгла.

— Не расстраивайся: это разжалование — не наказание, а необходимость. Нам надо, чтобы ты стал привлекательным объектом для врага по твоим данным, главное — крепко и несправедливо обиженным. Короче, тебя должны за-

вербовать! Будешь играть с ними в кошки-мышки. Но знай: провал — это смерть. И, возможно, очень страшная.

Он опустил голову, казалось, некое горе придавило его.
— Неужели это из-за меня? — подумал я удивленно.

Инструктаж оказался тяжелейшей школой, где на меня, единственного ученика, насело несколько учителей-мастеров шпионажа. Через три недели было объявлено, что я готов к выполнению задания. Моя легенда почти полностью совпадала с подлинной биографией, она была тщательно выверена.

Затем состоялось позорное понижение до младшего лейтенанта, за ним — псевдопопытка самоубийства, госпиталь — и медицинская комиссия, которая рекомендовала временно, на полгода, направить меня с фронта в какой-нибудь гарнизон.

Город, где была расположена моя новая часть, был далеко от фронта, однако война и здесь чувствовалась. Инвалиды без руки, на костылях, иногда совсем без ног, на тележках, то и дело встречались на улицах. С песнями маршировали новобранцы. Почти все люди были плохо одеты.

В магазинах продукты отпускались по карточкам, а на рынке были очень дороги.

Впрочем, нам, офицерам, жилось не так уж плохо: кормили нас отменно, обмундирование было первосортное, сама служба после всего пережитого не казалась трудной. Было, конечно, и свободное время. Можно было использовать его, повеселиться. Но я был угрюм и одинок: человек от Федорова не объявлялся.

Я ждал его с нарастающим беспокойством, но старался вести себя так, как и остальные.

Поначалу мне показалось, что мои товарищи не знали фронта, не теряли близких. Их жизнелюбивость и оптимизм раздражали меня. Но постепенно я узнавал, что многие офицеры еще до меня побывали в бою: на Финской, на

Хасане и Халхин-Голе. Капитан Мурашов, замполит батальона, сражался в Испании.

У некоторых были родные на оккупированной территории.

Нам, возможно, предстояло еще повоевать вместе: здесь или на западе. Поэтому я даже обрадовался, когда в день моего рождения, двадцать девятого июня, ко мне подошел Мурашов и с видом заговорщика пригласил в офицерскую столовую.

— Будет сабантуй, — сказал он.

Я задержался на плацу, опоздал. Войдя, услышал дружное:

— Привет новорожденному!

Увидел накрытый стол, веселые улыбки. Мурашов взял со стола две граненые стопки, наполненные почти до края, одну из них подал мне:

— Дорогой Соломон! Сегодня тебе исполняется всего двадцать один год, а ты уже хлебнул горького до слез. Мы знаем, что ты потерял брата, тревожишься о близких — и понимаем твою горе. Мы знаем, что ты славно повоевал, — и уважаем тебя. Знаем о твоём разжаловании. И сожалеем об этом. Короче: мы — твои друзья. Твое здоровье! Здоровье именинника!

Мы чокнулись, и все выпили залпом. Закусили. Я ослабился, оттаял. Капитан Мурашов взял гитару и запел, перебирая струны. Все притихли: пел он задумчиво, пел о любви. Потом вдруг предложил мне:

— Ну-ка, давай ответный тост! А мы наполним посуду.

Когда стопки вновь наполнились, я громко отчеканил:

— За гибель Гитлера, за нашу победу и здоровье всех.

— Три тоста в одном. Ай да Соломон, — засмеялся Мурашов.

С того вечера он стал моим другом, а затем и соседом по комнатке. Он тоже был холост, и мы навещали к местным красавицам. Гитара Юрия и его голос помога-

ли нам одерживать победы. Да, стыдно признаться, но мы были далеко не ангелы.

Между тем, на фронте шли жестокие бои, наши разгромили фашистов под Орлом и Курском. Наступление продолжалось. Мне все труднее было вести сытую спокойную жизнь. Правда, кое-кто поговаривал о том, что Япония тоже может сейчас выступить против нас, но в это трудно было поверить.

Во всяком случае, бдительность в нашей части резко повысилась. О ней постоянно напоминали друг другу.

Однажды Мурашов, который несколько дней был мрачен, вдруг предложил для разнообразия пойти в городской сад. Мы переоделись в гражданскую одежду и отправились. По дороге Юрий предупредил меня:

— Смотри, Соломон, горсад — не Дом офицера: наври о работе, не называй настоящего имени. Ты — Федя, Митя, Сергей.

— А мой нос?

— Ну, скажи: Аарон, Исаак. Главное, наври. Я — Гоша, работаю преподавателем в Елизаветинке, приехал в гости к тебе.

— Стыдись: сам коммунист, а комсомольца учишь врать.

— Не врать, а быть бдительным. Вот что. Будешь ты Вася. Савченко. Хохол. Многие хохлы на евреев похожи. Почему-то.

Мы посмеялись — и отправились в горсад. Там пригласили на фокстрот зазывно улыбавшихся нам подружек. Протанцевали с ними несколько танцев. Но тут пришли их кавалеры, парни уголовного вида, дело едва не дошло до драки, но Мурашов уладил конфликт шутками.

— Надо было набить им морды, — громко и зло говорил я, когда мы вышли с танцверанды и прогуливались по аллее.

— Можно было, но — не нужно, — возразил Юрий, — этих бить надо насмерть, иначе — самим хана. У них —

ножи, возможно даже — пистолеты. Зачем нам такое? Тем более, что танцевали мы с их девицами, а не они — с нашими.

— Скажи уж лучше, что ты струсил, — я все еще злился.

— Что? Что ты сказал?! — вдруг рассвирепел Мурашов.

— Молодые люди, можно вас обогнать? Вы вдвоем всю аллею заняли, — послышался сзади женский голос.

Я оглянулся: две симпатичные молодые женщины шли за нами, улыбаясь.

— Зачем же обгонять? Мы сузимся, и можно будет гулять четвером, — заулыбался в ответ мой приятель.

— Да ладно, не лезь к ним, дай обогнать, — все еще сердито возразил я.

Мурашов взвился:

— Что это на тебя нашло сегодня, *Вася*? Посмотри, какие милые девушки! Или тебе мало света фонаря? Девушки, не обращайтесь внимания, он отличный парень, просто сегодня утром встал случайно не с той ноги, но это уже завтра пройдет.

Что-то в голосе Юрия было необычно. Я насторожился. То была какая-то нервная тревога. Но он, видно, сумел ее обуздать, так как, продолжая шутить, взял под руку одну из незнакомок.

Я тут же последовал его примеру, взял под руку ее подругу.

Болтая, мы подошли к танцевальной площадке, но наши новые знакомые, Валя и Лина, сказали, что любят танцевать только дома или в хорошем зале. Прогулялись — и домой пора.

Мы напросились провожать их. Вскоре подошли к большому кирпичному одноэтажному дому.

— Вот здесь живу я, — сказала Лина, которая, казалось, заинтересовалась мною.

— Может быть, зайдём, чайку попьём, — предложил Юрий.

— Нет, извините, у меня сегодня беспорядок.

— Тогда, может быть, завтра, — настаивал Мурашов.
 — К сожалению, завтра...
 — Ну что ты к ним пристал? Не видишь, что ли, что тебя никто не приглашает ... *Гоша*, — снова взорвался я.
 — Какой вы нервный, молодой человек! — укоризненно произнесла Лина. — Как раз наоборот: я хочу пригласить вас обоих так, чтобы это было нам всем приятно. Приходите послезавтра, часиков в восемь вечера. Потанцуем, поболтаем.
 Голос Лины, необыкновенно мягкий, нежный, ласкал слух.
 — Мне стыдно, Лина, за мою невыдержанность, — сказал я с искренним огорчением. — Просто он сегодня еще до нашей с вами встречи разозлил меня, и я...
 — Давно не дрался, очень уж хотелось, представился случай, а я не дал, — засмеялся Мурашов.
 И снова в голосе его мне почудилось какое-то незнакомое напряжение.
 — Это правда? — неодобрительно спросила Лина. — Вы в самом деле драчун?
 — Нет, я не драчун. Просто хотел проучить хулиганов.
 — Тогда я за вас, терпеть не могу хулиганов. И вообще всяких уголовников.
 Мы попрощались с молодыми женщинами и пошли в часть.
 — Какой-то ты сегодня не такой, — сказал я приятелю, — какой-то напряженный весь. Я не верю в то, что ты испугался тех парней и побоялся их проучить. Просто тебе почему-то нельзя.
 — Молодец, учуял, — непонятно чему обрадовался Юрий.
 Через день мы заявили к Лине. Чего только не было на столе: икра красная и черная, крабы, апельсины, лимоны, виноград, торт «Наполеон» и еще много всякой всячины. Украшали сервировку бутылки с коньяком, ликером и шампанским.

— Ого! — не удержался Мурашов. — Откуда?
 Хозяйка квартиры улыбулась гордо:
 — Я работаю на продуктовой базе. А Валя — экономист горторга. Так-то, мальчики. А где вы работаете?
 — Мы шахтеры-любители, — ответил Юрий, — вот, из-под земли добыли.
 И он жестом фокусника поставил на стол спрятанный за спиной сосуд со спиртом, который вымолил у фельдшера.
 Изрядно захмелев, мы перешли от тостов и романсов к главной части вечера: Мурашов с Валею удалились в спальню, мы с Линой остались сидеть на диване. Вскоре из-за двери послышались недвусмысленные звуки, и Лина завела патефон.
 На первую же мою попытку поцеловать ее она ответила резко:
 — Прекрати!
 — Почему? — обиделся я.
 — Так.
 — Ну и ладно! — я надел фуражку и потянулся за пальто.
 — Не дури, *Вася Савченко*, — полупрезрительно сказала женщина. — Выпьем лучше за твое военное будущее. Какое, какое? — притворился я не понимающим.
 — Я видела вас обоих на танцах в Доме офицеров. Правда, ты меня не замечал почему-то. Не понравилась? А сейчас — взобраться на пьяную бабу собрался, да? Другой рядом нет?
 — Ты меня с кем-то путаешь, Лина...
 — Не путаю я. Ты — лейтенант, он — старший лейтенант.
 — Да нет же!
 — Обидно, что врешь. Обидно. И потому у нас не выйдет.
 — А у них уже вышло. Почему?
 — Валька уже давно без мужика, похоронную в сорок первом получила, ждала ... А твой друг ей понравился очень.

- Может быть, и тебе понравился он, а я — нет?
- Перестань. Просто я не люблю, когда меня обманывают.
- Хорошо. Скажу правду. Только ты ошиблась в звездочках: я всего лишь младший лейтенант, а он уже капитан.
- Это неважно. — Она улыбнулась. — Почему вы оба врете?
- Бдительность, милая. Мы же военные, офицеры. Идет война...
- Мальчишка ты, а не офицер. Пороху не нюхал еще! Так ведь?
- Я?! Много ты знаешь обо мне! — взвился я, но тут же как бы спохватившись, улыбнулся. — Но ... я бдителен! *Гоша, пора домой. А то мама ругаться будет!*
- Хохочущий, довольный, вывалился из спаленки Мурашов. За ним, чуть позднее, появилась красная, помятая, но с блаженно сияющими глазами, Валя. Она улыбалась полусонно.
- Приходите завтра снова, мальчики, — сказала нам томно.
- Завтра у нас на базе учет, — хмуро возразила Лина.
- Тогда послезавтра.
- Хорошо, послезавтра, — сказал Мурашов.
- Когда мы выходили, Лина неожиданно жарко прошептала мне в коридорчике:
- Приходи завтра в восемь вечера. Один. Ему — ни слова.
- И поцеловала меня. Это был поцелуй мастера: я загорелся.
- Дома мы выпили крепкого чаю, легли в кровати. Закурили.
- Докладывай, — произнес Мурашов, улыбаясь.
- Не дала, — ответил я спокойно.
- Подробнее, — потребовал Юрий.
- Да пошел ты ... Я же тебя не спрашиваю.

- Ой, парень, парень, как бы нашей дружбе конец не пришел. Я ведь слышал, как она тебя пригласила. На восемь?
- Мне стало стыдно. Я рассказал другу обо всем. По мере моего рассказа Мурашов мрачнел. Задумался. Посмотрел на меня внимательно.
- Будем считать, что я ничего не слышал. Но она может оказаться шпионкой, которая хочет завербовать тебя.
- Я снова подумал о своем задании, о котором знал здесь только генерал Никитин. Подумал — и едва не выронил неосторожное:
- Именно это и требуется: пусть вербует!
- Вербовать — так генерала, а не г... — отшутился вслух.
- Здравствуй, Лина! — прошептал я, постучав ровно в восемь, и, едва открылась дверь, обнял молодую женщину.
- Проходи, проходи, *лейтенант Вася*.
- Соломон. Младший лейтенант. Бывший старший лейтенант.
- Какая разница, мне это все равно, был бы только ты *мой*.
- Лина была совсем другая: глаза светились, голос вибрировал, то и дело она волнуяще касалась меня. Мы выпили по маленькой рюмке коньяка, перекусили — и она заговорила:
- Я слышала в Доме офицеров, как тебя называли Соломоном, но если тебе так нравится, пусть будешь Вася. Скажу больше: ты мне давно понравился, и — больше, чем твой приятель-гусак. Но я не из тех, кто ищет приключений сейчас, когда еще идет война и льется кровь. И вообще я хотела бы быть женой достойного человека, а не чьей-то подстилкой.
- Я тоже хотел бы иметь верную жену. Но сначала нужно победить проклятых фашистов. Ты думаешь, мне приятно отсиживаться здесь?
- Ты был на фронте? Расскажи, если это не военная тайна.

— Какая гайна? У меня вообще еще не было в жизни тайн.

— Ну уж!

— Представь себе. Если, конечно, не считать подписки о неразглашении.

— Нет уж, не разглашай ничего, пожалуйста. Ни к чему.

— Не волнуйся за меня, я расскажу тебе только то, что можно. Все, кроме моих приключений в диверсионной группе.

— Где, где? Ушам своим не верю. Ты был диверсантом?

Тогда, глотая понемногу коньяк, я рассказал Лине все о себе: как учился в школе, как первый раз влюбился, как погибли родители, как я был разжалован. Как узнал о подвиге брата, как мучат мысли о судьбе дяди и Гинды. И с трудом утаил лишь то, что было связано с моим особым заданием.

Лина слушала меня внимательно, на глазах ее выступили слезы. Когда я рассказал, как меня поздравили с днем рождения и как я при-

вязался к Мурашову после этого, она привлекла меня к себе, обняла, прижалась — и замерла.

— Ты хороший, — прошептала. — Ты очень хороший. Я не такая. Я окончила десять классов и училась в Москве, в МЭИ. Знаешь, это энергетический. Потом познакомилась с одним художником — и стала его любовницей. Институт бросила. Потом художник меня бросил. Я вернулась домой, в Иркутск. Родители ужаснулись: пятый месяц беременности?

— Ты родила? У тебя ребенок? — Мальчику шестой годик, он и сейчас живет с ними. Я окончила курсы бухгалтеров, вышла за хорошего человека ... Это его дом. О сыне я мужу не сказала, побоялась. Он так и не узнал: год назад пришла похоронная.

— Я не считаю, что ты нехорошая. Просто так вышло.

— На танцы в дом офицера меня выгнала неделю назад Валя. Там я увидела тебя. Ты похож на ... того худож-

ника. И вот — встреча в городском саду ... Как жаль, что я старше тебя на целых четыре года!

Она вдруг заплакала, плач перешел в рыдания. Я никак не мог ее успокоить. Гладил, уговаривал, потом начал целовать. Она, наконец, горячо стала отвечать на мои поцелуи.

В постели Лина оказалась настолько желанной, настолько удивительной и умелой, что я сам себя не узнавал: никак не мог насытиться ею, страсть не покидала меня.

Провожая меня, обессиленного, на рассвете, она шепнула:

— Только никому не рассказывай, прошу тебя, умоляю.

Я нежно поцеловал ее и поклялся хранить тайну. Но когда вернулся, оказалось, что час назад часть ушла на учения и меня ожидают крупные неприятности. Я все же ухитрился догнать своих на попутной машине. Получил для начала добрую выволочку от Мурашова, строгое предупреждение от командира батальона и обещание разобрататься со мной, как следует.

— Ты был у Лины? — спросил в упор Мурашов.

Я молчал, расстроенный предупреждением комбата.

— Смотри, не влюбись: ты ее совсем не знаешь.

Я продолжал молчать. Мурашов начал меня раздражать.

Узнав о том, что произошло со мной, Лина огорчилась.

— Это я виновата, только я. Прости меня, милый.

— Если бы я был женат на тебе, меня бы вызвали из дому на службу — и все. Знаешь, что: давай поженимся — и я никогда не опоздаю на службу, — предложил я как бы шутя.

— Если бы я была моложе или ты — старше, — просто-на-просто Лина, — все бы было хорошо. А так ... Иди ко мне, милый.

На этот раз мы сумели расстаться вовремя, хотя это было так трудно!

Ко мне пришла любовь, сила которой пугала меня.

— Юрий, я хочу жениться на Лине, — сказал я Мурашову через несколько дней. — Как ты думаешь, мне позволят?

— Это ее инициатива?
 — Нет, моя. Собственно, я еще только намекнул. Но...
 — Что ж ... Благословляю ... Экая ведьма-баба ... Все же об одном помни: бдительность с женой нужна тоже, многие офицеры пробалтывались в постели. А потом их жены...

— Не учи ученого, — возразил я.

Он был все дни мрачен. Скучно напоминал мне о бдительности. Начальство же не было против моей женитьбы.

Я был счастлив: начался медовый месяц. Каждый вечер мы сидели допоздна и болтали, пили и закусывали, потом — шли в постель.

Пару раз заходили Юрий с Валею. Она явно надеялась на то, что Юрий последует моему примеру, но он не торопился. Или вообще не хотел терять свободу. Однако увлекся и он не на шутку.

Прошла неделя. Я чувствовал, что с каждым днем жена становится все более любимой и желанной. И как бы родной. Я думал о ней все время, жил мыслями о ней. И сказал об этом Мурашову. Теперь в комнатухе вместе с ним жил другой офицер, но его дома не было, и мы с Юрием говорили свободно.

— Любовь твоя мне понятна, но долг все же выше любви, — поучал Мурашов. — И если когда-нибудь придется выбирать между ними ... Ладно, давай лучше прогуляемся, разомнемся.

Лицо его было угрюмо и жестко, я никогда еще не видел Юрия таким. Мне стало не по себе. Выйдя, я сказал, закурив:

— Я знаю, что такое долг. Я офицер. Но надеюсь, что выбирать мне не придется. Лина — настоящая подруга.

— Ведьма, ведьма! Как она тебя окрутила!

— Капитан Мурашов! Я попросил бы...

— *Что-то у меня левое колено ломит, к непогоде, видно.*

Я вздрогнул от неожиданности, остановился, но ответил:

— *Неверно. Я точно знаю. Барометр показывает сушь.*

— *Увидим завтра, кто из нас барометр.*

Я продолжал отвечать, все сильнее волнуясь:

— *Поспорим на триста тридцать три рубля.*

— *Многовато. На триста ровно, идет?* Привет от Федорова. С этой минуты будешь в моем подчинении. Твоя жена...

— Не понял. Ты хочешь сказать...

— Да, есть основания предполагать, что именно *та* рыбка клюнула, все идет пока по-нашему. Предупреждаю: никакой самодеятельности до поры. Лина опаснее, чем ты полагаешь, Соломон. Сын полковника Федорова, капитан, опытный разведчик, был убит здесь: он допустил какую-то ма-аленькую ошибочку, и его расшифровали. Это было за неделю до того, как полковник вызвал тебя в штаб. Представляешь его состояние?

— Да, я заметил тогда ... Но ты понимаешь, что будет со мной?! Я должен не проболтаться жене, зная, кто она, — и в то же время спать с ней! И ждать, когда же она изволит приступить к вербовке. Я даже не знаю, чья она шпионка. Если только шпионка вообще, я в этом что-то сомневаюсь.

— Капитан Федоров не сомневался.

— Он погиб из-за нее? Он был ... ее ... другом?

— Нет, не ее. Но она из *тех же* ... Судьба операции зависит от тебя. Тебя наверху выбрали не случайно, там все учили. Надеюсь, не ошиблись. Лина может взять тебя за жабры в любой момент, не расслабляйся. Помни, чему учили тебя!

Не прошло и трех дней, как *это* случилось.

— Васенька, Соломончик, у меня к тебе серьезный разговор, — сказала Лина грустно. — Сядь рядышком. Вот, посмотри: это карта вашей воинской части. А это — список офицеров, их домашние адреса. Это — план штабного помещения. Это — краткие характеристики некоторых твоих товарищей, перечень их слабостей.

Это — описание состояния боевой техники. Ну, что скажешь?

— Где ты взяла это? Надо немедленно сообщить нашим! Тот, кто это сделал, должен ответить за предательство!

— Верно, дружок, но я не хочу, чтобы его судил трибунал, потому что *он* — мой муж!

— Что-о-о?!

— Да, Василек, да, Соломончик, все это — твоя работа, твоя безответственная болтовня!

— Лина, ты в своем уме?! Я нигде ничего не говорил!

— Все это ты выбалтывал мне, а я собирала, собирала — и вот, как видишь...

— Порви сейчас же! Это не шутки!

— Я не шучу. Это копии, их порвать можно, но...

— Копии? Ты что же, решила меня разыграть? Брось, а то ведь...

— Соломон, я люблю тебя. Люблю нежно, страстно, навсегда. Но я...

Лина зарыдала, забилась в истерике.

— И зачем я только на свет родилась, Г-споди?! Меня завербовали давно ... а теперь я ... или завербую тебя, или потеряю навсегда: тебя убьют! Нет, ты должен жить, милый!

Она бросилась ко мне, обнимала, целовала, говорила быстро, горячо, почти гипнотически:

— Слушай меня, слушай: если ты согласишься работать на нас, то мы с тобой сможем еще много лет быть счастливы, а старость проведем богатыми людьми в свободной стране. Если же ты откажешься, то и меня, и тебя уничтожат: либо наши, либо твои.

Она встала, вытерла слезы. Схватила меня за руки:

— Еще немного — и мы отсюда уедем. Нас никогда не найдут. Надо будет только выполнить одну совсем небольшую работку. И мы будем счастливы.

— Ты хочешь, чтобы я служил фашистам? Никогда! Слышишь? Пусть лучше меня за болтовню судит трибунал!

— Каким фашистам? Мы будем служить Британии, прекрасной стране, стране Шекспира и Диккенса, Ньютона и ... Они же наши союзники, они тоже против фашистов. Они хотят только знать, будем ли мы вместе с ними воевать против Японии.

— Хрен редьки не слаще. Я не могу предать свою страну. Дай мне эти бумаги. Пойдем со мной — и ты все расскажешь.

— Хочешь моей смерти? Думаешь, твои тебя пожалеют? Или сразу расстреляют? Бах — и готово? Нет, они будут тебя пытаться, не поверят ничему, ты сам себя оговоришь, дурачок.

— Если я приду с повинной, то попрошусь в штрафную роту.

— Попросишься ... С повинной ... Ты знаешь, кто они? Они сволочи, они антисемиты! Тебя разжаловали за то, за что другим звание Ге-роя присваивают: ты же не отступил ни на шаг. Не верь им, не верь! Гитлер — мерзость, но и эти не лучше. А там, в свободном мире...

— Замолчи! Я не должен ничего этого слушать!

Я тяжело зашагал по комнате. Они знали обо мне все...

Но Лина задела самое болезненное. Не просто отмахнуться от страшной правды, не просто. В чем-то и она была права...

И тут, видно, сказало напряжение последних дней, сказало все пережитое за дни войны, сказало и столкновение моей страсти к этой женщине с чувством долга: пронзительная боль загуляла по моей голове, в глазах потемнело, я рухнул на диван рядом с женой и упер кулаки в горячий лоб. Попросил осипшим голосом:

— Налей мне сто грамм! Нет, сто пятьдесят!

Она кинулась к столу, налила водки, поднесла молча. Я выпил, не закусывая. Невольный стон вырвался из груди.

— Ты любишь меня? Это правда? — спросил я напряженно.

— Да. Клянусь жизнью, я никогда до тебя не знала, что такое настоящая любовь, настоящее счастье! А ты?

— Слова — ничто, ветер. Но я скажу: ты у меня одна на всем белом свете. Ты — моя жизнь. Понимаешь? Жизнь моя! Вот ты оказалась ... предательницей, а я все равно люблю тебя. И не смогу предать. Но я офицер, и я не могу изменить присяге. Где же выход? Он должен быть, должен! Или ... его нет? Налей мне еще сто!

— Может быть, не надо?

— Налей!

— Хорошо, хорошо. Только закуси, пожалуйста.

После второй стопки я снова заходил по комнате. Теперь сквозь хмель я мучился: не переигрываю ли? И вообще — играю ли я? Ужаснулся: в какую страшную, опасную игру ввязался!

— Поцелуй меня, Лина!

Она поцеловала меня умело и страстно. Я проникся жгучим желанием, мы оказались в постели. Это было еще удивительнее, чем обычно. Когда я устал, то сказал:

— Ты победила, предательница. Потому что я люблю тебя, потому что мне дорог каждый миг с тобой. Ты мне всего дороже в жизни. А двум смертям — не бывать. И если удастся ... Британия ... Может, это и к лучшему. Что я должен сделать?

— Перепиши и подпиши эту бумагу.

Она подала мне лист. Я прочел. Я обязывался оказывать содействие Интеллидженс сервис в целях общей победы над фашистской Германией и Японией.

— Ну что ж, это не так уж и плохо, смягчающий текст, — ухмыльнулся я. — А нельзя ли без подписи, под честное слово советского офицера? Все ж спокойнее. А?

Теперь ухмыльнулась Лина:

— С именем — Иван, а без имени — болван. Слова к делу не пришьешь.

— Черт с ним. Семь бед — один ответ.

Я написал текст и расписался.

— А теперь — спать, — сказал я устало. — Налей мне еще сто грамм.

Выпив, я лег, но долго не мог уснуть. Что, если я ошибся, переиграл, перестарался? А если наоборот? Проснусь ли я? Не убьют ли меня по пути на службу?

Нет, не убили. Я пришел живым в часть. В полдень меня и еще двух офицеров вызвали в политотдел округа. Там я и встретил в одном из кабинетов Мурашова, который был сюда вызван за день до нас. Хозяин кабинета вышел.

— Не пропускай ни одной мелочи, рассказывай, как кинофильм, — сказал Юрий, как только мы оказались одни. — Не торопись. И — не утаивай ничего.

Когда я кончил рассказывать, он попросил:

— Расскажи еще раз.

— Зачем? Ты мне не веришь? Проверяешь?

— Я еще никому не верил так, как тебе.

Я повторил свой рассказ, неожиданно вспомнив несколько мелочей. Мурашов попросил еще раз рассказать то же самое, и я уже не возмущался.

— Присушила она тебя, друг? — спросил капитан внезапно.

— Да. Это ужасно. Я в самом деле не смогу жить без нее.

— Сочувствую. Подобная история была и у меня. До сих пор сердце болит. А меня считают железным. Впрочем, я в самом деле *ожелезил* после того ... Есть такой глагол?

Он внимательно посмотрел на меня. Нахмурился.

— К сожалению, не могу никого вместо тебя подключить к операции, да и сам я уже полгода здесь только ради чего-то вроде этого. Ты во сне не разговариваешь?

— Нет. Меня уже проверяли. И ты мог убедиться.

— Остается ждать, когда они тебе что-то поручат. Честно говоря, я беспокоюсь за тебя: она работает *на японцев*.

Через два дня Лина сказала мне:

— Васенька, надо сфотографировать новый секретный приказ, который неделю назад пришел в твой штаб.

— У меня нет доступа к сейфу.

— Ерунда, поможем. Сделаем так...

По мере того, как она говорила, мне становилось ясно, что есть еще не менее двух чело-век, которые помогут мне пройти к сейфу и открыть его: один — тот, кто узнал секретный код и снял слепок с ключа от сейфа, второй — тот, кто обеспечит мое проникновение в кабинет генерала Никитина.

Мурашов, который на ходу долго прикуривал у меня, мрачно согласился:

— Да, не менее двух. И они могут также наблюдать за нами, что совсем скверно. Могли уже и подслушать. Нет, вряд ли, мы были осторожны. Настал решительный момент, теперь все зависит от того, согласится ли генерал и ... выше ... выпустить приказ из секретности. Пойду к нему. Будь начеку.

Через два дня я уже выполнял ее задание. Все шло, как по маслу. Часовых и дежурного офицера отвлекли, я открыл и кабинет, и сейф, сфотографировал три листа секретного приказа и вышел так же, как вошел: незаметно для охраны штаба, отвлеченной двумя развеселыми полупьяными красавицами.

Лина встретила меня радостно.

— Я так волновалась за тебя, чуть не умерла от страха. Все в порядке. Осталось только проявить пленку и переправить ее вместе с другими документами.

— И уедем?

— Да, уедем отсюда, наконец. В любую страну, в какую ты захочешь, милый. Посиди пока, я проявлю в погребке.

Она подняла ковер, и я увидел квадратный вырез в полу. Лина вставила палец в щель и легко отбросила крышку люка.

— Можно, я с тобой?

— Нет, миленький, ты должен меня охранять.

Через час она выбралась, сияя. Закрыла люк ковром.

— Снимки отличные, я повесила пленку сушиться. Теперь слушай: нужны всего три кадра, к ним я добавлю еще

три. С другой пленки. Все шесть ты вставишь в каблук ботинка...

— Я не сапожник, не сумею резать каблук и тому подобное.

— Есть кому сделать это. Ты только вставишь — и все.

— Третий предатель, — подумал я, — или тринадцатый? Или ... тридцатый?

Вслух же сказал, что хочу выпить.

— Не увлекайся, — вымолвила Лина недовольно. — Алкоголь никого еще до добра не доводил. Тебе предстоит завершить это задание: доставить пленки, куда следует.

— Что, больше некому? Ты же сказала...

— Есть и другие кандидаты, но ты должен лично встретиться с руководством. Это в наших с тобой интересах.

— Хорошо, куда мне *хромать этим каблуком?*

Она не засмеялась, даже не улыбнулась.

— Пленка будет зашита у тебя в белье, вставишь ее в левый каблук ботинок перед тем, как перейдешь границу.

— Ты в своем уме? Как я это сделаю?

— Не волнуйся, тебе помогут во всем. Там тебя встретит полковник Сигемицу, он из влиятельного семейства и связан с Интеллидженс сервис. Это мой шеф, а теперь — и твой.

— Я не понимаю по-японски.

— Он владеет русским. Значит, так. Тебе придет телеграмма: тетя в Омске умерла, надо помочь старому мужу похоронить ее. Тебя на неделю отпустят. Доедешь до первой станции, сойдешь. Тебя встретят, проводят до границы и переправят.

Обратно вернешься так же: тот человек встретит, передаст тебе оформленные в Омске проездные документы и посадит на ночной поезд из Омска. И я тебя обниму, мой родненький!

— Проводник не удивится, почему не видел меня до того? Да и пассажиры-офицеры ... и как я докажу, что хо-

ронил ту тетю-самозванку, если даже на Омском вокзале не побываю?

— Поедешь в обычном вагоне, а не в воинском. Наш человек все сделает вместо тебя, проводник тоже наш, не нервничай.

Я был поражен: у них такая сеть ... Что же наши делают? За обедом Мурашов сказал:

— *Ты бледен.*

— *Не выспался,* — буркнул я. — *Снились крысы.*

Это был сигнал: я требовал срочно встретиться. Он кивнул: понял. Через час меня вызвали в штаб, надо было встретить и хорошенько проверить эшелон, послали несколько офицеров, в том числе и нас обоих. Там мы работали парами, и я имел возможность коротко доложить Юрию обстановку и получить инструктаж, не привлекая ничьего внимания.

К вечеру пришла телеграмма, я оформил кратковременный отпуск. Лина взяла отгул на весь день, с утра не отходила от меня, но вдруг позвонили с ее базы, сообщили, что произошла кража и что срочно необходимо ее присутствие.

— Сиди дома, не выходи и не открывай никому, — сказала побледневшая жена и умчалась.

Я знал, в чем дело: это устроил Мурашов. Вынуть негативы из тайника в белье, отпечатать с них в погребе снимки и спрятать их в надежное место, не выходя из дому, мне удалось. Я знал, что как только мы с Линой поедем на вокзал, снимки будут там, где надо, и их изучат. Однако же пришлось понервничать, особенно в фото-лаборатории, в погребе.

Лина вернулась злая, молчаливая. Потом постепенно успокоилась, даже пошутила пару раз. Спросила:

— Трусись?

— Есть немного.

— Не бойся, я с тобой. Все будет хорошо.

Она обняла меня и поцеловала необычно нежно, по-матерински. Я почувствовал тупую боль в сердце.

Все шло гладко. Я доехал до первой же станции, переделся, обмундирование сложил в мешок. Вернулся, вышел из вагона — тут же подошел человек, произнес пароль. Я ответил. Мы двинулись к границе.

Глухой ночью начался переход.

— Будет нелепо, если меня уложат наши пограничники, — подумал я.

Но нет, мы все двигались и двигались — и вдруг проводник, рыжебородый старик, сказал мне с тихим смешком:

— Маньчжоу-Го!¹ Мы на территории господ япошек.

— Ни те, ни другие нас не заметили. Ну и пограничники!

— Просто наши люди и тут, и там. Вот и пропустили нас. Японская разведка — лучшая в мире. Я ушел, ждите здесь.

Он исчез.

А у меня в ушах звучало: «японская разведка — лучшая в мире, японская разведка, японская» ... Да, Мурашов прав: моя жена работает на Японию.

Внезапно меня ослепил яркий свет нескольких электрических фонариков, мужской голос произнес пароль. Я ответил. Тот же голос сказал что-то по-японски, фонарики погасли, и мы с говорившим двинулись в путь вдвоем. Через полчаса мой провожатый остановился перед небольшим одноэтажным кирпичным домом, рядом с которым стоял легковой автомобиль.

— Вы водите машину, Соломон?

— Если нужно.

— Разумный ответ. Хорошо, поведу я.

Ехали долго. Остановились перед виллой, окруженной высокой каменной стеной. За ней грозно залаяли собаки.

— Пройдемте, — сказал мой гид.

¹ Маньчжоу-Го — марионеточное государство (Манчжурия, северный Китай), фактически принадлежавшее японцам, оккупировавшим эту часть Китая.

Теперь я мог рассмотреть его. На вид человеку было лет за пятьдесят, на нем был мундир японского офицера, но сам он явно был европеец. Даже, судя по его речи, — русский.

О нас, видимо, знали, потому что мой спутник коротко кивнул двум молодцам в штатском, стоявшим у входа. Лай тут же смолк. Мы вошли в вестибюль виллы, а затем — в кабинет.

Седовласый полковник в очках вышел из-за стола и подал мне руку. Пожатие ее было крепким и коротким.

— Добро пожаловать, капитан, — сказал он.

— Ошибаетесь, я младший лейтенант.

— Нет, ошибаетесь вы. Со вчерашнего дня вы капитан. Вам присвоено это звание, и я первый вас поздравляю. Ямпольский, помогите капитану переодеться. Я подожду.

Через пять минут я уже стоял перед полковником Сигемицу в мундире капитана японской армии.

— Сейчас меня разденут и начнут пытать, — мелькнула трусливая мысль, но я тут же ее прогнал.

— Как здоровье Лины? — вежливо осведомился полковник.

— Благодарю вас, все хорошо. Вот только перед самым моим отъездом обокрали базу, где она работает.

— Знаю, — нахмурился Сигемицу. — Надеюсь, обойдется. — Я тоже надеюсь, Лина — везучая. Можно вопрос, господин полковник?

— Можно. И даже не один.

— Вопрос таков: я работаю на...

— Господин капитан, все, что вам сказала Лина, — правда. И больше не надо об этом. Вы работаете на Японию. Во имя счастья своей страны. Ясно?

— Так точно. Я все понял.

— Странно. Я ожидал вопроса об оплате ваших героических усилий во имя дружбы наших стран. Ну?

— Вы правы. Но звание капитана меня так взволновало...

— На вашем счете в Лондонском банке, действительно, будет расти вклад, который обеспечит вам с женой безбедную жизнь и спокойную старость.

— Благодарю, — я встал и поклонился с достоинством.

— Садитесь, капитан. Перейдем к делу.

Вошел Ямпольский с фильмоскопом. На экране внезапно затемнившейся комнаты возник текст секретного приказа. Мы все трое читали его в напряженной тишине. Второй кадр, третий, четвертый, пятый, шестой ... Что это? Седьмой? Кадр с каким-то списком. Я напряженно впился в него: запомнить!

— Дальше, — резко приказал Сигемицу.

Следующий кадр продолжал список.

— Дальше.

Последний кадр был планом мероприятий.

Закрыв глаза, я впечатывал в память то, что мог. Но смог не так уж много: не больше десяти фамилий, четыре пункта плана. Впрочем, и этого было бы достаточно, чтобы узнать, какие наши документы оказались рассекреченными. Но если это *их* документы?

— Превосходно, — сказал полковник, — то, что надо. Ямпольский, помогите там с переводом. И свяжитесь с Эдвардом.

Когда Ямпольский вышел, Сигемицу обратился ко мне:

— Времени мало, вам придется крепко потрудиться. Вы должны научиться пользоваться шифрами, тайнописью и приемами конспиративной связи. Или вам знакомо все это?

— Честно говоря, я никогда этим не занимался и не уверен, что за несколько дней преуспею. Но я буду стараться, това... простите, господин полковник.

Сигемицу чуть улыбнулся.

— Привычка — вторая натура. Не смущайтесь, бывает. Можете меня вообще называть «товарищ полковник». Это даже пикантно. А теперь прослушайте небольшую лекцию.

И он объяснил мне, что Япония надеется на нейтралитет Советского Союза, но некоторые силы не желают это-

го. И потому разведка должна помочь не допустить войны с СССР. Это — в интересах руководства Британии тоже.

— Ваш труд благороден, капитан. Я говорю искренно. Не нужна лишняя кровь, загубленные солдатские жизни. Но ваша деятельность опасна, и требуется осторожность. Скоро, очень скоро вы окажетесь в Японии или в любой стране по вашему выбору. Прощайте. У меня еще много дел. Ямпольский поможет вам перейти границу. Большой привет майору Лине.

Он нажал кнопку. Вошел японец в гражданской одежде. Сигемицу что-то сказал ему, и мы удалились.

Я сказал, что не выспался и хотел бы часок вздремнуть. Японец понял, привел меня в комнату, указал на диван — и вскоре я лежал с закрытыми глазами, напрягая всю мощь своей памяти, чтобы навсегда запечатлеть увиденное на экране.

Через час начался недельный курс моей интенсивной подготовки, по завершении которой я оставил свой мундир японского капитана на сохранение, получил фотопленку — новую инструкцию для майора Лины, спрятал кадрики в каблук — и вскоре был у границы.

Что я пережил за эти дни, трудно описать: каждую секунду японцы могли меня разоблачить, и такие проверки происходили, но мне везло — и я переиграл противника.

Заволновался я по-настоящему, когда до наших остались последние метры. Ямпольский и я сидели в машине у кирпичного дома и кого-то ждали. Наконец, подошел японец-солдат и что-то сказал. Мой провожатый был обеспокоен.

— В чем дело? — не выдержал я.

— Этот болван что-то сожрал, и у него дизентерия.

— У этого японца?

— У советского пограничника, который должен был пропустить вас.

— Что же делать?

— Свяжусь с полковником, хотя это мне может дорого стоить: вдруг засекут Советы...

Он включил рацию, вмонтированную в автомобиль, переговорил по-японски и сказал мне:

— Я беру группу, имитирую прорыв, а вы переходите границу в том же месте, что и раньше, и следуете далее по плану. Честно говоря, я не завидую вам, как и вы мне, наверно: у вас много шансов погибнуть даже при удачном переходе. Но приказ есть приказ. Да ... Я в вашем возрасте был всего лишь поручиком...

Если выживете, поцелуйте матушку-землю Российскую за меня. Я видел плохой сон...

Я проклял в душе дизентерийного предателя: наша операция была рассчитана на мое благополучное возвращение и дальнейшую игру. Болело сердце за тех ребят, которые могут погибнуть в надвигающейся жестокой схватке. Странно, о себе я не думал: был уверен в том, что останусь невредим.

Бой завязался около полуночи.

Я шел знакомой тропкой, спеша, почти не пригибаясь, стараясь не сбиться с пути. И, когда уже перешел границу, был ранен шальной пулей в руку. Трудно сказать, как пошло бы дело дальше, если бы не рыжебородый проводник.

— Что случилось? — спросил он, возникнув внезапно.

— Идиот обосрался, пришлось прорываться. Я ранен.

— Пойдемте ко мне, — предложил он, поколебавшись.

В его избе жил только кот, еще более старый, чем хозяин, но такой же рыжий. Он злобно зашипел на меня и ушел в угол.

Хозяин осмотрел руку, развязав ремень, которым при нашей встрече стянул ее. Ранение было сквозное.

— Это хорошо, — сказал рыжебородый. — Я ведь фельдшер, правда, ветеринарный. Но и людей подлечиваю. Так что я тебя, милый, сейчас почию. Главное, кости и сосуды целы. Везучий ты, парень.

Он промыл оба отверстия спиртом, густо смазал йодом, наложил два куска марли, перевязал руку бинтом. Потом обернул ее ватой, покрыл пергаментом и заклеил.

— Чтоб не протекал ты, парень. Понял? А теперь вот что: выходить тебе пока нельзя. На этот случай я должен предупредить. Держи руку вверх, пока не напаяливай форму военную. Жди меня, свет не зажигай.

Не отзывайся, если постучат. Вот тебе сало и хлеб, вот самогон, в термосе — чай.

Рука болела все сильнее, я не хотел есть, зато самогон глотнул. Полегчало. И вдруг меня обожгло: что, если пограничники пошли с собакой по следу? Это же провал. Я заходил по избе. Кот зашипел. Я сел на стул, положил раненую руку на голову и незаметно задремал.

Разбудил меня хозяин.

— Пошли, скоро поезд. Тебя встретят. Как рука?

— Болит. А что, если за мной пошли с собаками?

— Я кое-чего насыпал на дорогу, не бойсь. Не тукает?

— Рана? Нет.

Лина встретила меня тревожно. Обняла, прижалась. Дома сняла перевязку, обработала рану с обеих сторон, заново перевязала. Задумалась. Потом решительно заявила:

— Ты заболел гриппом! Тебе нужен больничный лист! Я вызову врача!

— Ты сошла с ума: он сразу заметит рану.

— Из кабинета не заметит, — криво усмехнулась жена.

— И ладненько, — поняв, так же усмехнулся и я.

— Докладывайте, капитан. Подробно и по порядку, — потребовала майор Лина..

Врач, разумеется, так и не появился, но больничный лист лег на стул около кровати, где валялся я. Утром Лина ушла на работу, а вскоре появился Юрий.

— Похоронил тетку? Все в порядке?

— Да, в порядке. Но вот гриппом заболел. Не заразись.

Он кивнул: в доме могла быть подслушивающая аппаратура Я передал ему тетрадь, где уже написал коротко о

встрече с Сигемицу и все то, что смог запомнить из текста дополнительных кадров, мелькнувших на экране в его кабинете.

Пленки в каблуке не оказалось. Значит, Лина ночью успела ее оттуда вынуть.

«В погреб?» — написал Мурашов в тетради.

Он осторожно отвернул ковер, убрал контрольные нитки. «Она тебе не доверяет: наследил, когда печатал с негативов. Нитка — признак. Подстрахуйся», — написал он, болтая о том и о сем, после чего спустился в погреб.

Он обнаружил сушившиеся отпечатки и сфотографировал их. Выбрался, водворил нитки на место, выровнял ковер.

— Поправляйся, работы много, — сказал на прощанье.

В тетради написал: «Приступаем к ликвидации всей их сети. Сегодня ночью приедут еще наши. Будь осторожен.»

Лина мрачнела, но в постели оставалась такой же. Несмотря на ранение, я желал ее непрерывно, как только мы оказывались вместе. Ведьма? Или гейша? Я бодрствовал ночью, опасаясь ее мести, спал наскоро днем. Ждал Мурашова...

Через несколько дней жена пришла домой в обед, бледная. Я лежал в постели, проснулся, услышав, как открывается дверь. Лина заходила по комнате тигриной походкой, потом приблизилась. Впилась мрачным взглядом. Прошипела:

— Предатель! Сволочь! Жидовская морда! Ненавижу!

— Ты с ума сошла, Лина! — изобразил я удивление и гнев.

— Да, сошла с ума, когда поверила тебе, Иуда Искариот! наших берут одного за другим, только я да ты целехоньки. Я не дура, я майор японской разведки, но ты, жид, переиграл меня. А я ведь почти полюбила тебя, дерьмо.

Она вынула из сумочки браунинг.

— Прежде, чем убью, я скажу: моих родителей убили проклятые Советы; воспитывали меня, сиротинку, тетя с мужем. Они мне и признались во всем, когда я в фотоаль-

боме увидела себя, малышку, с папой и мамой. Я мстила большевикам, я связала судьбу свою с Японией. Потом понадеялась, что мы с тобой построим семью. А ты оказался дерьмом, предателем. На колени, сволочь, не хочу стрелять в лежачего.

— Я тоже полюбил тебя, и не почти, а всей душой. И если бы ты согласилась работать на нас ... Еще не поздно, только одно твое слово ... Лина ... — простонал я. — Прощу даже все обидные слова твои.

— Работать на бандитов-большевиков? Никогда! Вставай! На колени, труп! — истерически закричала она, плача.

Я вынул из-под подушки пистолет.

— Прошу поднять руки вверх, мадам. Патроны в вашем браунинге — холостые. Можете нажать на спусковой крючок.

Она побледнела еще сильнее. Нажала на курок. Хлопнул холостой выстрел.

— Руки, — прорычал я. — Живо! Спиной ко мне!

Слезы полились по ее щекам.

— Зачем, зачем ты не захотел любить меня? — прошептала Лина. — Глупенький, несчастный мой. Песня моя лебединая.

О как прекрасна была она в тот миг! Бледная, печальная, с расширившимися зрачками, она смотрела на меня ... с любовью, да-да, с любовью!

— Прощай, Соломон Мудрый, прощай, мой единственный.

Она прикусила воротник кофты — и упала замертво.

Я бросился к ней, не выпуская из руки пистолета: еще не верил. Поднял веко: она была мертва. От воротника слегка пахло горьким миндалем.

— Цианистый калий, — сказал вошедший Мурашов. — Исход мгновенный. Отмучилась твоя жена. Я опоздал. Жаль, она знала больше всех. Раньше бы взять ее! Ошибочка ... Как ты?

Я не мог говорить: непобедимый спазм перехватил горло, мне не хватало дыхания. Я смотрел с ужасом на посиневшее лицо той, что только что была моей возлюбленной.

Наконец, прорвались рыдания. Я упал на колени рядом с ней и закричал сквозь судорожные всхлипывания:

— Ну вот, вот я на коленях, Лина! Как ты хотела! Лина, зачем, зачем ты так, Лина?! Зачем?! Заче-ем?!

Я целовал ее лицо, ее руки, я был волком. Юрий поднял меня, тряс и говорил, говорил:

— Опомнись, Соломон, ты офицер. Ты снова старший лейтенант, слышишь? Даже представлен к четвертой звездочке и ордену. Соломон, наша армия подошла к Днепру. Ты срочно отзываешься на запад, в свой полк. Соломон, здесь тебе оставаться опасно: они все поняли, начнется охота за тобой, они не простят. Соломон, друг, ты слышишь меня?

Январь-февраль 1997 года, Рамат-ашарон.

*Корректурa: 17–19 ноября 2004 года,
17 декабря 2005 года. 18–20 мая 2006 года.*



*Из сборника
«Черный лебедь»*

ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ

Подслушанная история

Он плыл медленно и торжественно.

Двигался по зеркальной водной глади как бы одной силой своего желания. Красота изгиба лебединой шеи завораживала.

Забывалось о том, что рядом, за оградой зоопарка, шумит двадцатый век.

Лебедь был черный.

— Бабушка, почему одни лебеди — белые, а другие — черные? — спросила девочка лет восьми со строгими глазами.

Модно одетая пожилая женщина устало улыбнулась:

— Я не биолог...

Но вдруг глаза ее оживились:

— Знаешь, что? Сейчас дедушка принесет нам мороженое, и мы его попросим сочинить об этом сказку. Или, может быть, даже я сама попробую. Хочешь?

Девочка молча кивнула.

— Это было очень-очень давно, — медленно, плавно, с паузами начала бабушка. — В те далекие времена лебеди были ... м-м ... серые, как гуси. И жили тогда на тихом озе-

ре среди леса лебедь и лебедушка. Они крепко любили друг друга ... и всегда были вместе.

— Как вы с дедушкой?!

— Будешь слушать сказку или задавать вопросы? Пролетели многие годы. Лебединая пара старела, и эти две птицы уже не могли летать быстро. Когда стая зимой двигалась в более теплые края, они задерживали ее ... М-да ... И однажды перед перелетом главный лебедь прямо спросил их:

— Полетите? Не трудно? Или останетесь?

— Останемся, — ответили они. — Не хотим больше быть вам в тягость.

Зимой озеро замерзло ... Да ... Но ни охотники, ни волки, ни лисы не могли застать врасплох опытных и осторожных старых лебедей. Все же силы одинокой пары таяли. Только любовь друг к другу помогала им еще. Да-а...

— Как вам с дедушкой? Тебе грустно?

— Мы с дедушкой не одиноки: у нас трое детей и много внуков, в нашем доме — наша славная, наша добрая старшая дочь...

— Это — моя мамочка!

— Конечно, мы не одиноки. С нами и ты, и твой братик. Наконец, твой красавец-папа. Нет, мы не одиноки, мое сокровище!

— Я не про то, бабушка. Я — про вашу с дедушкой любовь. Мне уже восемь лет, я ведь все понимаю, бабуленька. Я знаю, как ты любишь деда! И он — тебя! И папа — маму. И как все вы любите меня и шалунишку-братика.

Глаза девочки стали глубинно сиять, она крепко обняла женщину — и они прижались друг к другу, замерли. Бабушка вскоре продолжила взволнованно:

— Однажды долгой зимней ночью супруги ... м-м ... лебеди признались друг другу, что боятся одного и того же — пережить любимого и остаться в тяжком одиночестве. Тогда они решили...

Сочинительница как бы опомнилась и перебила сама себя:

— Не то, не то! Я не учла твой возраст! И вообще пусть дедушка закончит сочинение!

— Рассказывай! — потребовала внучка — Кто начал, тот и должен кончить.

Лицо ее стало не только строгим, но и требовательно суровым.

Вздыхнув, бабушка продолжала:

— Тогда лебеди решили не ждать больше, а взлететь так высоко, как смогут поднять их крылья, потом сложить их и ... Нет, это — не для ребенка! Это слишком ... Я сделаю иначе...

— И погибнуть вместе, — прошептала маленькая слушательница, еще крепче прижавшись к бабушке. — Мне страшно за них, бабуся!

— Да ... И они погибли вместе, — так же, шепотом, решилась подтвердить рассказчица.

Несколько мгновений она помолчала, погрузившись в свои тайные мысли, и, как бы очнувшись, продолжала:

— А весной, когда лебединая стая вернулась, болтливая сорока рассказала о том, что случилось зимой.

И лебеди склонили головы перед такой великой любовью.

— Вся сказка? А почему лебедь черный?

— Нет, моя милая, сказка еще не вся. Еще мысли пришли ... Да ... Возник спор между молодыми лебедями.

— О чем?

Видишь ли, одни ... э-э ... лебеди считали тот поступок светлым, прекрасным, даже радостным. Потому что такая любовь светит всем другим любящим, как ночной маяк далеким кораблям в море. И в память о том эти лебеди стали белыми. И их дети — тоже. И внуки. И так до сих пор.

— Это очень правильно, они молодцы, — прошептала внучка, глядя куда-то в даль небес.

— Другие же лебеди горевали: они все время думали о последних днях и последних минутах той дивной пары.

Им было так тяжело от этого, что они оттуда улетели.

А в память о том, что случилось на озере, все они стали навсегда черными.

Женщина облегченно вздохнула:

— Вот теперь сказка кончилась. Все.

Тем временем черный лебедь подплыл совсем близко к берегу.

Он казался строг и печален.

Девочка смотрела на него, не отрываясь. Лицо ее отражало трудные размышления.

Она не заметила даже, как подошел к скамейке седовласый могучий мужчина с тремя порциями их любимого мороженого.

Омск, 1977. Рамат-ашарон, 2000. ПРАВКА — 2004.



ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ

— А сейчас, — продолжает экскурсовод, коротко подстриженная девушка в синих джинсах, — мы с вами видим портрет неизвестной. Эту картину, как и многие другие, фашисты собирались при отступлении вывезти из нашего города.

* * *

Георгий Хрисанфович появился здесь шесть лет назад.

Человек с чужим паспортом, с чужой биографией, в которую сам начинал уже как бы верить, он после ужаснувшей его пролетарской революции нигде не жил более года.

Менял города, профессии.

Был слесарем-сантехником, садовником, дворником, бухгалтером, преподавателем немецкого языка, исколесил и восток, и запад, и юг страны Советов. Прожил зиму и на севере.

Боялся обзаводиться семьей.

Давыдов (именно такова была его подлинная фамилия, а вовсе не та, что значилась в паспорте) являлся одним из тех растерявшихся, кто не сумел ни понять, ни принять происшедшее в России в октябре семнадцатого года. Не успев вовремя эмигрировать, он жил в постоянном страхе: репрессивность и беспощадность режима стали кошмаром, который не прекращался даже во сне.

Если бы кто-то узнал и донес о его дворянском происхождении и его офицерском чине, о том, что он окончил университет в Германии, вряд ли можно было бы рассчитывать на снисхождение.

Однако в этом не очень крупном, не очень зеленом, но довольно пыльном городке он задержался.

Причиной тому было посещение местного краеведческого музея.

Его заинтересовало необычное богатство двух не очень больших залов, отведенных произведениям изобразительного искусства.

Удивило присутствие в глухой провинции полотен Каналетто и Ротари, Левицкого и Врубеля, гравюр Харунобу и изделий Фаберже.

Вдруг он замер, почувствовал, что пол вот-вот уйдет из-под его ног: он стоял перед портретом прапрабабки своей, столбовой дворянки Софьи Давыдовой.

«Неизвестный художник XVIII века. Портрет неизвестной», — прочитал Георгий Хрисанфович.

Глаза ожгло наворачнувшейся слезой: его счастливое детство в родной Давыдовке было связано с этим произведением волшебной кисти Федора Рокотова.

Мальчика завораживали дивные, такие неповториморокотовские, миндалевидные глаза красавицы: подолгу простаивал он перед портретом в молчаливом общении с их всепонимающим вечным взглядом.

Ему тогда казалось, что и он понимает нечто словами не выразимое, струящееся прямо в душу его, излучаемое и взглядом этим, и таинственной улыбкой женщины. Он жадно, никогда не пресыщаясь, впитывал это *всепрощающее всепонимание*, это чудо, пронесенное творением художника через долгие годы.

Колдовская затуманенность приглушенного мягкого колорита картины вновь и вновь приманивала Жоржа, уже ставшего гимназистом-старшеклассником.

А позднее, когда он покинул Россию надолго, чтобы получить высшее гуманитарное образование в европейских столицах, нередко вспоминался ему портрет прекрасной женщины, ставший необычайно близким его душе.

В тот день вновь стоял он перед ним в незнакомом городишке — и вспоминал былое. Потому и не заметил, что за ним умиленно наблюдает высокий худой старик.

— Прекрасная работа, — сказал старик, подойдя к посетителю. — Вы, очевидно, заметили ценность коллекции картин в нашей экспозиции?

Давыдов удивился: старик обратился к нему так, будто они давным-давно знакомы и продолжают начатый чуть раньше разговор.

Но удивления своего никак не проявил, лишь насторожился по привычке.

Все же принял приглашение продолжить беседу в кабинете директора.

Эта беседа, начавшаяся весьма спокойно, шла все более горячо: собеседники часто соглашались, но еще чаще спорили, обсуждая роль искусства, сущность таланта, сравнивая мастеров кисти.

Георгий Хрисанфович потерял всякую осторожность, вот и услышал от директора:

— Уехал работник, курировавший залы искусства, а полноценной замены нет. Хотите поработать у нас в музее? Места здесь преотличные: озеро, в лесках — грибы, ягода.

Конечно, можно было отказаться и уйти, покинуть городок. Но нечто мистическое, некий перст судьбы вдруг увидел Давыдов — и принял предложение старого интеллигента.

Свои познания в живописи объяснил так:

— Еще до революции я был несколько лет репетитором у богатого помещика, тот ко мне благоволил и привил любовь к искусству, а однажды взял с собой в Европу, ходил со мной в музеи Парижа, Лондона, Рима.

— А дальше? Ваши познания весьма и весьма внушительны.

— Самообразование. Да. Книги. Альбомы. Посещение наших музеев и выставок.

Директор поверил.

Работал Давыдов старательно.

Обедал вместе со всеми, чтобы не нарушать сложившейся в этом музее традиции, и изредка вставлял словцо во время шумной застольной дискуссии о проблемах музея.

С каждым был приветлив в меру, но ни с кем не сближался. Прослыл трезвенником, скучным и странным, но типичным бобылем.

Над ним беззлобно посмеивались, особенно над его привязанностью к «Портрету неизвестной», перед которым он нередко задерживался как бы в забытьи:

— Влюбились бы вы, Георгий Хрисанфович, хоть и не в такую красивую, но в живую, — советовали Давыдову.

Комнатку снял по рекомендации одной из сотрудниц на самой окраине города, зато дешевую. С хозяйкой, молчаливой и суровой вдовой, наладил отношения почти дружественные, ибо и сам молчал, себя обслуживал самостоятельно и платил за жилье аккуратно.

Иногда неумный страх перед возможным разоблачением и ужасами советских лагерей заставлял его купить бутылку водки, чтобы хоть как-то забыться.

После этого несколько дней он болел, зато страх ослабевал.

В один из таких вечеров, вспоминая свое детство и молодость, от чувства безысходности неожиданно для себя он горько разрыдался после очередной стопки — и вдруг хозяйка прониклась жалостью, запричитала, руками всплескивая, обняла квартиранта жарко.

Сблизились.

Но тайну свою он ей так и не выдал.

Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года все изменилось для Георгия Хрисанфовича. Радость переполняла его душу, и он с трудом скрывал это.

Он был убежден в том, что германские войска быстро победят и Россия станет процветающей конституционной монархией.

Разумеется, придется отдать освободителям какую-то часть территории. Но зато...

О фашизме он знал немного, потому что ложью считал советские газетные сообщения и размышления — и не читал их.

Жарким июльским днем оккупанты вошли в город. Среди приветствовавших был и работник музея Давыдов.

Он произнес высокопарную и в то же время достаточно краткую речь на немецком языке. Благодарил за освобождение от большевистского режима, восхвалял культуру Германии и выразил надежду на процветание новой России.

Именно он поднес хлеб-соль немецкому офицеру. Тот принял дар и выдал такую же напыщенную речь на русском языке.

Георгия Хрисанфовича назначили директором музея. Старый директор уволился.

Сотрудники от Давыдова отшатнулись. Зато ротенфюрер СС Вольдемар Вольф частенько стал заходить в кабинет к нему. Они оказались выпускниками одного и того же университета. Правда, Вольф окончил его на двенадцать лет позже.

Некоторые профессора, которых помнил Давыдов, уже умерли. Многие были уволены. Причину их увольнения ротенфюрер объяснил с огромным удовлетворением:

— Университет очищен от этой заразы. Вся планета должна быть очищена от евреев.

Его собеседник похолодел: он восхищался когда-то лекциями многих из уволенных.

Насыщенные неожиданными идеями, искренними эмоциями, они нередко завершались бурными аплодисментами аудитории.

Вольф внимательно посмотрел на него, будто читая мысли. И Давыдов поспешил перевести разговор на другую тему.

Воспитанный на лучших традициях русской культуры, он любил все русское, гордился деяниями своего народа, мужеством и талантами предков, но понимал также и мог ценить зарубежное искусство, европейскую цивилизацию, ему был чужд шовинизм.

Совсем другое — ненавистные имена Троцкого, Зиновьева, Урицкого, других евреев-лидеров большевистской партии.

Да и вся эта масса евреев, вырвавшихся после революции из-за черты оседлости для активной большевистской жизни, рождала не-добрые чувства в его душе.

Тем не менее, когда в городе было создано гетто, душа эта болела от бессильного сочувствия.

Он отказался переселиться в квартиру врача-еврея, удачно придумав какую-то причину.

Ясным солнечным днем нестройная колонна людей из гетто прошла под охраной солдат с собаками мимо дома, где он жил, а через некоторое время со стороны старой рощи послышалась стрельба, и впервые за многие годы Давыдов перекрестился дрожащей рукой; последовала ему и хозяйка.

Разгром немецких войск под Москвой не ошеломил, казалось, Вольфа: беседы о культуре продолжались все в той же манере.

В одной из бесед ротенфюрер будто между прочим заметил, что самые ценные живописные полотна и фарфоровые изделия из местного музея будут вскоре вывезены в Германию:

— Они явно пришли оттуда — и должны быть там снова, не так ли? — сказал фашист, глядя в глаза директору страшно-ожидаяще.

— Врешь, подлая тварь. Произведения искусства, подаренные некогда этому музею советской властью, не должны покинуть его залов и запасника, — подумал Давыдов.

Но вслух не произнес этих слов. И с трудом подавил в себе желание стукнуть Вольфа по голове тяжелым чернильным прибором, стоявшим на столе. И еще бить! Бить!

Через несколько дней на площади повесили шестерых партизан. Неведомая сила заставила Георгия Хрисанфовича, проходившего мимо, взглянуть на лица.

В третьем слева, худом старике, узнал он бывшего директора музея. Замер тоскливо. Дома напился до одури.

Давыдов после этого потерял сон: его мучили кошмары. Угнетали тяжелые раздумья, нарастающее чувство собственной вины.

На стенах домов начали появляться листовки со сводками Совинформбюро, сообщавшими о том, что фашисты окружены под Сталинградом. На железной дороге все чаще подрывались немецкие поезда.

Люди шепотом рассказывали о казни предателей, о создании огромной партизанской армии в тылу немцев.

Но фашисты продолжали вешать на площади, Вольф по-прежнему был невозмутим, все в те же часы велись их беседы о культуре, ставшие пыткой для Давыдова.

Однажды ротенфюрер не появился — и не было его около месяца.

Из разговора двух любовавшихся музейными картинами офицеров Георгий Хрисанфович узнал, что тот был захвачен и взят с собой как пропуск двумя солдатами-антифашистами, бежавшими к партизанам.

Он почувствовал радость, весь вечер шутил дома и спал в ту ночь долго и крепко.

Листовки сообщали о завершении Сталинградской битвы и об успешном наступлении советских войск. Они приближались.

Той ночью загромыхало на востоке, грохот разбудил Давыдова.

Он не сразу понял, в чем дело: почему зимой гроза?

Но тут же зашумели автомобильные моторы, надрывались в командах глотки, и он, наспех одевшись, побежал в музей.

Как он и предполагал, запасник был вскрыт, солдаты тащили оттуда экспонаты, срывали картины со стен в залах, все это наспех грузилось в автомашину.

Незнакомый офицер небрежно и в то же время довольно нервно объяснил, что музейные ценности спасают от большевистских варваров в связи с временным выравниванием линии фронта.

Георгий Хрисанфович подумал: «Господи, хоть бы *наши* подоспели!»

Слово «наши» поразило его.

Стоял, кусая губы в бессильном гневе, вспоминал, как хлебом-солью встречал псевдо-освободителей, как верил им.

Солдат уронил картину, стал на нее сапогом. Грязным сапогом — на портрет его пра-прабабки!

— Свинья! — закричал Давыдов по-русски.

— Свинья! — повторил по-немецки.

Нагнулся, схватил портрет — и тут же свирепый удар подкованного сапога обрушился на его голову.

Теряя сознание, попытался разогнуться, но новый удар опрокинул его навзничь.

Падая, он ударился затылком об угол железного ящика с песком, стоявшего здесь на случай пожара.

Нарастающий грохот ворвавшихся в город советских танков заставил солдата бросить картины и побежать, испуганно озираясь.

Георгий Хрисанфович Давыдов лежал, прижимая к груди бесценное полотно, на котором кощунственно запечат-

лелся след грязного сапога. Из ушей и рта умирающего текла кровь.

* * *

— Искусствоведы, — продолжает свой рассказ девушка в джинсах, — считают, что этот портрет принадлежит кисти Рокотова.

К сожалению, все еще остается загадкой личность изображенной художником красавицы.

*Омск, 1975 — Красногорск, 1980 — Рамат-ашарон, 1999.
Правка — 2004, май 2006.*



АННА ЕГОРОВНА

Они были знакомы давно, еще с первого класса школы. Но в техникуме как бы заново открыли друг друга. Правда, об этом еще не было сказано между ними ни слова.

Вот и сейчас они шли рядом, беседуя о чем угодно, только не о самих себе.

— Почему она не снимает платка? — спросила вдруг Лена, прервав рассуждения Андрея о строении Галактики.

— Кто?

— Анна Егоровна, наш библиотекарь. Говорят, что она лысая. Правда, правда. Бывают такие лысые женщины.

На следующий день они вошли в библиотеку не только менять взятые книги: они еще и вглядывались тайно в Анну Егоровну.

Высокая худая женщина с большими темными глазами, напомнившая им древнюю икону, была как всегда, в тугом платке, хотя даже вентилятор не давал здесь прохлады.

Они многозначительно поглядели друг на друга, а когда вышли, Лена спросила:

— Ну? Видел?

— Да, — согласился Андрей, — здесь тайна.

Впрочем, они могли бы забыть о таинственном платке, если бы не новое открытие.

— Андрей, она вовсе не лысая, — страшным шепотом возвестила Лена на уроке черчения, — наша бабуля парилась в бане, а я ждала ее. Вдруг она выходит вместе с Ан-

ной Егоровной и говорит мне, когда они попрощались: «Дивные волосы у этой женщины!» Вот это да-а!

— Длинные, до пола, каштановые волосы, и фигура тоже красивая! Андрюша, ты у меня умница, придумай, как нам разгадать ее тайну!

От этого «ты у меня» оба замерли, а сердце юноши забилось так сильно, что Лена, возможно, услышала его стук.

— Она снимает платок в бане ... так ... Надо узнать, где еще она снимает его ... — начал было Андрей.

— Следить за ней? Нет, это не хорошо.

— Тогда ... тогда ... А почему просто не спросить? Да, подойти, когда никого нет рядом — и спросить ... Но каким способом спросить?..

Целый месяц они искали, какую форму придать своему вопросу, а тем временем менялись и отношения между ними: он носил оба портфеля, она то и дело поправляла ему галстук, в столовой они обедали вместе.

А главное, подолгу *как бы просто так* смотрели в глаза друг другу, и сияние этих глаз не могла ни на миг погасить даже «тройка» по черчению у обоих.

— Ну, когда же мы спросим? — напомнила в очередной раз Лена, чьи руки ласково держал в своих ладонях юноша.

— А может, не надо, Лен? Может, она сектантка какая-нибудь. Пусть хранит тайну.

— Нет, *я чувствую, что надо*. Надо!

И они решились. Андрей по дороге домой чужим хриплым голосом задал вопрос.

Несколько шагов все трое шли молча. Анна Егоровна, вместо того, чтобы ответить ему, спросила его подругу:

— Ты ведь любишь его? Очень?

Девушка растерялась: самой себе она давно ответила на вопрос, но при Андрее...

— Я люблю ее, — сурово произнес несущий портфели и страшно покраснел.

Черты лица женщины чуть заметно смягчились. Она кивнула.

Видимо, не им, а себе самой.

— Ты, Мезенцев, похож на одного человека, — тихо, как всегда, произнесла она. Помолчала.

— Наблюдали за мной? Я заметила. И все поняла. Я тоже приглядывалась к вам.

Еще некоторое время рдеющие краской смущения молодые люди и бледная женщина шли молча.

Около старого двухэтажного дома Анна Егоровна остановилась.

Пригласила своих попутчиков (вообще-то они жили не в этой стороне ...) зайти на чашку чая. Они смущенно и заинтригованно согласились.

Квартира была на первом этаже. Собственно говоря, даже не квартира, а комната, но просторная. Обстановка — более, чем скромная: стол, диван, гардероб, три разных стула, небольшой книжный шкаф.

На стене — портрет юноши, чем-то неуловимым напоминающего Андрея.

Анна Егоровна налила всем по стакану чая из большого синего термоса, положила в розетки вишневого варенья. Вздохнула.

— В январе сорок пятого ему, как и мне, исполнилось семнадцать. Я так любила его ... Он рвался на фронт добровольцем, готовился: окончил курсы радистов, имел значок ворошиловского стрелка, прыгал с парашютом.

А я удерживала его: отец воюет, старший брат погиб, война вот-вот закончится...

В тот январский день он показал мне похоронную на отца своего. Они с братом уж очень любили отца: тот их один поднимал, мать рано умерла. «Мстить! За обоих!» — до сих пор помню, как он это говорил...

С фронта я получила только одно письмо. Он писал, что у него все в порядке, что до Берлина осталось два шага. Что любит меня ... Больше жизни ... Что снятся ему мои волосы...

Анна Егоровна замолчала. Чай остывал в трех стаканах.

— Я ждала его ... Долго ждала ... После похоронной. После подтверждений. Все надеялась на чудо. Дала клятву, что ни один мужчина не увидит моих волос, пока не вернется живым мой Андрей ... или пока сама я не умру.

Лена уже не могла сдержать слез, друг ее странно покашливал, хмурия брови.

— Вот и вся моя тайна. Сорок лет молчала, а вам вот взяла да и рассказала — видно, потому что старею.

Она встала со стула, в медленной задумчивости подошла к портрету на стене — и замерла молча, как бы забыв о гостях своих. Им же, взволнованным, показалось, что лицо женщины стало совсем юным, а тот, кто жил не старея, на портрете, вдруг обменялся с подругой улыбкой — таинственной, только им двоим понятной улыбкой.

Омск, 1978 — Рамат-ашарон, 2000.



*Из сборника
«Астра и Дружок»*

ПЕСНЯ

Давным-давно не то в соседнем городе, не то в дальней деревушке жили двое соседей.

Один из них был человеком сильным, веселым и мастеровитым, другой же был слабым и тщедушным.

Сильный сосед сам себе дом построил, мебель смастерил, во дворе деревья посадил.

Жена тоже была мастерица: ковры выткала, кружевных вещиц навязала.

Даже посуда у них была самодельная: муж сформовал и обжег, а жена разрисовала.

Слабый сосед был не только тщедушен, но и неумел: возьмется, бывало, мастерить, и до того некрасиво и ненадежно получится, что и пользоваться нельзя.

Жил он в хибарке, что покойные родители ему оставили. Конечно, замуж за него ни одна девушка не пошла, так один и прозябал.

Пел, правда, хорошо, да только песни его очень уж были печальны. Потому редко приглашали его в гости, где мог он подкормиться или одежкой одариться.

Сильный сосед помогал слабому, много доброго для него сделал. И не знал тот, как отблагодарить, изболелась

от этого у него душа. Но нашел, наконец, способ: песню сочинил — до того хорошую, что сам себе удивился.

В глубинах благодарной души она родилась, потому и была прекрасна.

И надо же случиться: заболел мастеровитый сосед сильно, не помогали ему лекарства, а подаренная песня окрылила, подняла на ноги, была в ней сила великая — сила душевности.

Обнял благодарный мастер поэта и сказал такие слова:

— Сколько бы еще ни сделал я для тебя, не расплатиться мне за эту песню, а потому нет у меня права только при себе держать ее.

И отдал этот славный человек песню новую всем людям. И стали петь ее, и нравилась она, потому что помогала забыть о заботах сегодняшних, об ошибках вчерашних, о непредвиденных трудностях завтрашних. Сил прибавляла.

И славили обоих соседей: и того, кто сочинил песню-волшебницу, и того, кто щедро отдал ее всем.

1995, *Рамат-ашарон.*



НА КРУТОМ СПУСКЕ

Я быстро спускался к морю по крутой извилистой крымской дороге.

Слева тянулась скучная каменная стена, ограждавшая санаторий, справа — карабкались на гору домики с крошечными двориками.

В одном из двориков я заметил молодую женщину в пестром халате, энергично стиравшую белье в огромнейшем коричневом тазу.

Таз стоял на белом старом табурете...

Возвращаясь с моря, я шел в гору медленно. Теперь домики были слева от меня.

Внутри двориков никого не было.

Впрочем, в одном из них, в том же самом, по-прежнему стирала белье женщина в пестром халате.

В том же самом коричневом тазу, стоявшем на том же белом табурете.

Но что это? Женщина — старая. Стирает медленно, с трудом ... Когда она успела так состариться? Не сплю ли я?

А, может быть, пока я был на пляже, время там остановилось, а здесь все шло и шло по-прежнему?

Да нет же, конечно. Просто другая, совсем другая женщина стирает. Возможно, мать той, что стирала раньше.

Вот и разгадка...

Я все поднимался по крутой дороге, а в сознании моем рождался грустный образ женщины без возраста, стирающей белье...

1975—1987

ПОЛЕТ

Он любил свой муравейник, знал в нем каждый ход. Любил лесные тропы, поляны. Он был большой и сильный. Работал весело, от зари до зари. Иногда он слышал пение тех, кто летает над лесом, но не смотрел на них: ему было некогда, он работал.

Однажды рядом с его муравейником упала Пчела.

— Неужели мне не летать больше? — прошептала она, разглядывая свои израненные крылья. — Зачем тогда жить?

— Будут у тебя новые крылья, — сказал Муравей, оказавшийся рядом и пожалевший ее.

Пчела поверила.

Много ночей собирали они вместе волшебные травинки, затем выжали и смешали сок из них. Пчела выпила волшебного сока — и новые крылья подняли ее выше деревьев.

Она запела, но вдруг ей стало грустно — и она вернулась.

— Улетим вместе, — предложила Пчела Муравью, — выпей и ты волшебного сока: осталось достаточно. Полет — это счастье!

Он решился. И хотя тревожило его неведомое, но крылья не задержались: мгновенно выросли, затрепетали, подняли его в небо...

Рядом летела Пчела. Она пела.

Он тоже запел. От счастья!

Прекрасен был полет, прекрасна была Пчела в полете, но еще прекраснее оказалась видимая с высоты Земля с ее лесами и реками, горами и долинами, озерами и морями!

И вот они очутились, наконец, над пчелиными ульями.

— Посмотри, как они красивы! Какие чистые цвета! Какие ровные линии! Какие строгие плоскости! Вон тот, у самого забора, — мой! — шептала Пчела.

Ни один из ульев не понравился Муравью. Он вспомнил лес, родной муравейник — и тоска охватила его.

— Я не смогу здесь жить, — тяжело вздохнул он, — но, все равно, спасибо тебе: я познал счастье полета. Прощай...

— И тебе спасибо, я не забуду тебя: ты вернул мне крылья, а в них — моя жизнь. Прощай, — грустно ответила ему Пчела.

Говорят, в лесном муравейнике и сейчас живет крылатый Муравей.

Ночью ему снится Пчела. Они летят рядом. И поют...

1974—1982, Омск — Красногорск.



ЛИСТИК

Перед домом простиралась степь.

Весной, когда стало тепло, человек посадил на балконе цветы. Слабые стебельки рассады с трудом приживались на новом месте, но постепенно они окрепли.

И вдруг из степи примчался злой ветер. Он принес тучи, холод и снег.

Человек успел привязать стебли к воткнутым в землю палочкам и загородить рассаду от ветра куском фанеры.

Напрасно: ветер кружил, вихрился — и губил зелень.

Только самый большой и сильный листик никак не сдавался.

Он остался на стебле один. Ветер выл, морозил и хлестал его мокрым снегом. Под этими порывами листик трепетал, края его стали увядать, но он все еще держался...

Ветер утомился — и затих. Растаяли тучи, и солнце одарило землю ласковым теплом. Человек заменил погибшую рассаду новой.

Лишь один стебелек он не решился тронуть: там еще боролся за жизнь израненный листик. Края его увяли, но он дышал — и жил стебель, и жили корни.

И новые листики, крохотные и нежные, появились около погибающего. Они торопились, они росли быстро...

Как-то летним вечером человек вышел на балкон полить свои прекрасные цветы. Он залюбовался ими.

Особенно радовал нежным запахом цветущий куст душистого табака. Посмотрел на другие балконы — и равно-го этому кусту не увидел.

И вдруг вспомнил, что именно здесь был когда-то мужественный листик.

Но не сразу, с трудом, нашел под пышной листвой и цветами шрам на могучем стебле.

1968, Омск.



*Из сборника
«Глаза любви»*

ГЛАЗА ЛЮБВИ

Она бежала к трамвайной остановке.
Она опаздывала на государственный экзамен.
Красивая, стройная. Казалось, вот-вот она взлетит, потому что невидимые крылья есть у нее.

И вдруг...

Крик отчаяния не успел вырваться из уст несчастной. Она запнулась — и руки ее, прекрасные руки ее, оказались отделенными от ее дивного, такого совершенного тела. Трамвай, который рванулся с места, по жестокой прихоти судьбы не смог остановиться вовремя.

Государственный экзамен комиссия принимала прямо у больничной койки. Девушка сдала его прекрасно — так же, как и все предыдущие экзамены за все годы: она была не только красива, но и талантлива, профессора пророчили ей большое будущее как врачу.

Но после случившегося все переменилось для бедняжки.

Он любил ее. Всей силой мужественного сердца, страстной и гордой природы. Один из тех, о ком говорят, что им страх неведом, что скорее реки потекут вспять и камень оживет, чем дрогнет герой.

Узнав о случившемся, офицер, ее жених, не мог даже слова вымолвить. Но, увидев подругу, сжал свое горе, спрятал — и стал утешать ее осипшим голосом.

Клялся в том, что всегда будет с ней. Всегда, до самой смерти.

Только выйдя из палаты, он смахнул с лица улыбку и прошел мимо других скорым шагом, а затем, покинув больницу, остановился под деревом и уже не мог сдерживаться.

Он рыдал — и страшными были его рыдания...

Недавно была их «золотая свадьба» — шумная, веселая, и самой веселой на празднике была жена.

Она вообще веселая женщина. Во всяком случае, такой ее знают все.

У них нет детей: так они решили полвека назад. Он заботливо и преданно обслуживает ее, безрукую, с момента ее пробуждения и до самой ночи.

Женщина уже давно не та: она стала толстой старухой, у которой растут черные усы. Голос ее огрубел, осип, утратил былой обаятельный тембр. Она передвигается медленно, с одышкой.

А он все так же влюблен и нежен. Он видит в ней все ту же девушку: прекрасную, гордую, стройную ... опаздывающую на последний государственный экзамен ... после бессонной бурной ночи ... ночи, проведенной с ним, с возлюбленным...

1990, Красногорск.



ЩЕНОК

Мальши строили что-то из песка во дворе. Командовала строительством девочка в сиреновом сарафане, повзрослому серьезная и озабоченная.

И вдруг все сразу заметили *его*. Он был толстый и пушистый, глазки-бусинки смотрели на мир доверчиво и радостно. Ковыляя по двору, щенок весело и приветливо помахивал хвостиком.

А потом откуда-то появился, пошатываясь, человек с мутными глазами. Заметив щенка, оживился, пошел к нему.

Песик обрадованно засеменял навстречу. Тяжелый сапог грубо перевернул его на спину. Щенок зарычал, потом взвизгнул от боли. Удовлетворенная улыбка появилась на лице мутноглазого.

Он дал жертве подняться — и резко бросил сапогом на стену дома. Оглушенный щенок пытался спастись, жалобно визжа, но новые жестокие удары настигали его. Дети оцепенели, кто-то из них всхлипнул — и все начали плакать.

Девочка в сиреновом сарафане вздрагивала каждый раз, будто били ее.

Вдруг она бросилась к пьяному с надрывным криком:
— Не смей! Не смей бить его!

Подхватила малыша, прижала к груди.

Взрослый сделал было шаг, намереваясь отнять свою забаву, но встретил смелый ненавидящий взгляд малень-

кой (чуть выше своего сапога) защитницы — и изумленно замер. Растерянно пожав плечами, двинулся к своему подъезду, ни разу не обернувшись, хотя дважды замедлял шаг...

Хлопнула дверь.

Дети осмелели, окружили свою подругу, гладившую доверчиво прижавшееся тельце.

Щенок долго еще скулил с горькой обидой, девочка все ласкала и баюкала его.

А брови малытки были по-прежнему нахмурены.

Омск, 1973



СОБАЧОНКА

Был зимний вечер, на улице стемнело рано. Дождь прошел, шоссе почти просохло.

Еще не включились уличные фонари, и фары автомобилей сильно слепили глаза.

Собачонка размером с обычную кошку, с гладкой шоколадной шерстью, очень уж хотела перебежать дорогу и вернуться в родной двор.

Движение транспорта было необычайно плотным, и бедняжка металась по противопотоку — ложному тротуару, храбрым тьяканьем не то угрожая водителям машин, не то призывая их опомниться и остановиться. Наконец, не выдержала: побежала через дорогу.

Первый автомобиль как-то объехал ее, второй же, визжа тормозами, накрыл ее и резко остановился. Водитель положил голову на руль.

К счастью, он не задавил собачку, продолжавшую призывно лаять, все еще требуя дать ей добежать до родного двора, который она так неосмотрительно покинула в час пик.

Водитель, подъехавший третьим, резко затормозил перед самой мордочкой виновницы растущей дорожной пробки.

Он вышел из машины, не обращая внимания на сигналы остановившихся за ним, поднял четвероногого пешехода на руки и перенес на противоположную сторону дороги.

Спасенная резво вбежала в калитку, не оглядываясь на водителя.

Вспыхнули фонари.

И все увидели, что человек, спасший собачонку, чуть заметно приулыбнулся. И стало видно, что лицо этого высокого, сильного еврея красиво, а черты его — благородны. Он сел в автомобиль, где ждала его, улыбаясь, такая же красивая юная жена.

Заулыбались люди, устало спешившие домой после напряженного трудового дня и сердито выскочившие было из автомобилей: они и умом поняли, и душою приняли высокий смысл неожиданной задержки.

Пробка рассасывалась. Остановившиеся на тротуаре прохожие продолжили свой путь.

Они тоже улыбались.

Рамат-ашарон, 27 ноября 2001 года.



*Из сборника
«Самый главный поклонник»*

Светлой памяти Р Л Т

СЛЕПАЯ

— До чего же красива дочка Сониных! — завидовали, восхищаясь, соседи.

— И какая умница! И послушная.

— Не сглазить бы, — добавляли при этом.

Знали, что дочка — поздняя, а Симе Давыдовне рожать уже нельзя.

* * *

К десяти годам Анечка уже успела закончить три класса детской музыкальной школы. Преподаватель фортепьяно, у которого она училась, пророчил ей большие успехи, руководитель шахматной секции районного Дома пионеров — тоже, родители души в ней не чаяли и выполняли любые ее просьбы.

Но девочка редко что-нибудь просила. Считала, что обеспечена: у нее было фортепьяно, был метроном, имелись необходимые ноты, тетради, учебники. И куклы.

Читала она много, запоем. Ее не просто было оторвать от чтения и вернуть к действительности из миров воображаемых.

Анечка уже пыталась сочинять музыку, написала первые стихи, посвященные Моцарту. Все это, как утверждали педагоги, было еще не совершенно, но обещало многое.

И вдруг дочь Сониных тяжело заболела. Долго бились врачи за ее жизнь, а когда девочка вернулась из больницы, то была совершенно слепа, передвигалась только с помощью костылей, которые через полгода заменила крепкая палка.

Горе несчастных родителей было безмерно. Единственное, что хоть как-то их утешало, — это руки Анечки: они по-прежнему могли играть на фортепьяно. Красивые пальчики слепой девочки постепенно осваивали невидимую клавиатуру. Ноты же ей приносили теперь специальные, их для нее запрашивали из Москвы, из Всесоюзного общества слепых. Отделение этого общества в их городе проявляло трогательную заботу о ребенке, родителям постоянно помогали, их навещали, им звонили.

Девочка окончила музыкальную школу и была в порядке исключения принята на фортепьянное отделение музыкального училища, куда ее ежедневно привозил один и тот же водитель такси.

Редко теперь на лицах ее родителей появлялась улыбка, хотя Анечка училась успешно. Им было тяжелее, чем другим людям, видеть слепые глаза ее, как бы глядящие мимо, куда-то в сторону и в даль. Глаза, часто моргавшие, когда она начинала о чем-то говорить.

Она стала полнеть, тяжелеть от малой подвижности. Лишь звонкий голос, красивые губы и ровные зубки оставались прежними. Ее тонкие брови утрачивали былую выразительность.

Преподаватели и большинство учащихся фортепьянного отделения помогали Ане Сониной. Она получила диплом с отличием.

Только отец и мать знали, какие трудные бывают минуты, когда девушка вдруг ясно осознает, что лишена по-

чти всех радостей жизни, доступных ее сверстницам. Минуты, которые требовали от них бдительности.

Страшные минуты, а иногда и целые дни самоубийственного горького уныния Анны.

* * *

Очередная трудность возникла было при распределении выпускников: начальник управления культуры наотрез отказался предоставить какую-либо работу слепой девушке, хотя только что жаловался на дефицит музыкантов-преподавателей.

— Ну не могу, не могу я беспомощную слепую в музыкальную школу направить, понимаете? Не могу, это бессмыслица. К ней еще надо приставить как минимум двух помощников: одного для бытового обслуживания, другого — для помощи в работе.

Но Анна Сониная стала преподавателем не в школе, а в самом музыкальном училище, превратившемся в ее второй дом: директор взял на себя всю полноту ответственности — и начальник управления культуры только плечами пожал.

Сониная начала преподавать музыкальную литературу на первом курсе и одновременно сама училась заочно в консерватории, куда была принята на факультет теории и истории музыки. Правда, о ее допуске к экзаменом не просто было договориться.

— Ну кого мы выпустим? — ныл ректор консерватории. — Слепой преподаватель в группе зрячих оболтусов — это же нонсенс. У нас есть слепые студенты, но они исполнители. Это же совсем другое.

Однако уговорили: он был добрый человек.

* * *

Горькие трудности начались не сразу: учащиеся в течение нескольких занятий примерялись, прицеливались. Затем начали использовать ее несчастье в своих корыстных целях.

Не выдержав соблазна, поддавшись искушению, они отвечали на ее вопросы, заглядывая, а затем и неотрывно глядя в открытый конспект. Позднее они додумались до нового способа обманывать слепую.

— Так, сейчас проверим, насколько вы помните темы этой оперы. Тузова, пройдите, пожалуйста, к инструменту, — сказала Анна Моисеевна.

Тузова, наделенная абсолютным слухом, тем не менее не отличалась подлинной музыкальностью, да и к занятию была не готова. Синхронными шагами вместе с ней прошла к роялю Танечка Деткова, талантливая девушка с голубыми глазами.

Она села на колени к Тузовой и играла музыкальные темы вместо нее. Сама же Тузова разговаривала с преподавателем, будто вспоминала, и проигрывала эти темы на инструменте.

Анна Моисеевна не заметила обмана и поставила Тузовой отличную оценку.

Так начался период злостного жульничества, неожиданно завершившийся скандалом. Деткова, которую и раньше мучила совесть, однажды пришла на занятия мрачная.

Заявила:

— Если эта мерзость не прекратится, я сама пойду к завучу и расскажу, а участвовать больше никогда не буду.

— Ты что, против всех? — разъярилась Тузова. — Скажите, какая чистенькая! Да я тебе ... Да я тебя по стене размажу.

Все замерли: девица была любовницей известного хулигана, и ее угроза испугала бы многих. Но не Танечку Деткову.

— Поставьте себя на ее место, — начала она, — на место слепого учителя, хотя бы на минуту. Я надеюсь, у вас хватит воображения. Кроме того, на экзамене у нас будут не только слепые ... А что мы скажем своим будущим детям, когда они спросят нас, правда ли, что мы совершали такое подлое...

— Нам нужен нормальный преподаватель, а не инвалид, — заколебалась Тузова. — Тогда не будет и обмана.

Из-за поднявшегося общего шума никто не услышал, как вошла в аудиторию Анна Моисеевна. Она была потрясена.

— Здравствуйте. Все, кроме Детковой, думают так же, как Тузова? — спросила бедняжка под аккомпанемент воцарившейся тишины. — Если все, то следует обратиться с заявлением о моем увольнении в дирекцию. По-моему, все ясно.

И она вышла, опираясь на свою палку слабеющей рукой.

Деткова прошла к учительскому столу, губы ее дрожали.

— Девочки! Ведь в ее жизни нет ничего, кроме нас! Что теперь будет с ней?! Что?!

Она упала на стул и беззвучно рыдала. Мертвая тишина по-прежнему царилла в аудитории. И вдруг Тузова выбежала в коридор с криком:

— Я, я верну ее! Или уйду из училища!

Вахтер сказал, что Сониная только что уехала домой. Девушка тут же узнала адрес, остановила какого-то мотоциклиста — и вскоре стояла у двери Сониных.

Услышала шум в квартире. Замерла, не стала нажимать на кнопку звонка. Прислушалась.

— Я не хочу жить! — кричала Анна Моисеевна. — Почему я не умерла, когда заболела?! Разве можно жить такой, как я?! Убейте меня! Убейте! Все, что могла, я делала, чтобы помочь своим ученикам — и вот ... Мне страшно, мне горько, я не хочу, я не хочу и не могу жить!

Тузова спускалась по лестнице тихо и тяжело.

* * *

Прошло восемь лет.

Учащиеся и педагоги любили Анну Моисеевну, ценили ее.

Она помогала им и в учебе, и в организации досуга, подчас даже забывалось, что Сониная слепа.

Она радовалась каждому успеху каждого из своих учащихся, она была сердцем теоретического отделения, которое возглавляла теперь.

Окончившая консерваторию Татьяна Деткова стала ее надежной помощницей.

Частенько Тузова, давно прощенная, присылала пространные письма из далекого дальне-восточного города.

Таксист, постоянно возивший Сонину на работу, привык к ней, проникся симпатией. Брошенный женой, этот добрый, чуткий человек робко попросил слепую статью его подругой.

Он почти не надеялся на согласие, потому что был на семнадцать лет старше и не имел даже среднего образования.

Но на семейном совете, продолжавшемся далеко за полночь, было решено взять славного шофера в дом.

* * *

Анна Сониная была уже на шестом месяце беременности. Муж радовался: первая жена не подарила ему ребенка.

Просил все время свою Анечку не волноваться: на здоровье сына скажется. Он был уверен в том, что у них будет именно сын.

Но в ноябре началась эпидемия гриппа. Анна Моисеевна заразилась, болела тяжело, началось осложнение.

Она родила в больнице, ребенок через день умер, а ей пришлось перенести послеродовую операцию, сделавшую ее навсегда бесплодной.

Отец Сониной болел гриппом легко, на ногах, но как-то на работе почувствовал тошноту, боль в груди — и отпросился у начальника. Сходя по лестнице, он страшно крикнул и упал.

Это был его третий и последний инфаркт.

О смерти отца слепая узнала только, вернувшись домой из больницы. Горе ее было столь велико, что она даже не сразу поняла то, что, плача, сказала мать:

— Анечка, твой муж уехал. Совсем. Бедная ты моя...

* * *

— Анна Моисеевна, как вам Горбачев? А его супруга? И вообще вся эта перестройка? И что вы думаете о тех, кто репатрируется в Израиль?

Один из ее молодых коллег, нервный и дотошный, уже известный как композитор, ждал ответа на этот залп вопросов.

Сонина стояла, покачиваясь, глядя бесцветно куда-то вверх. Подняла руку к груди, словно готовясь поклясться:

— Я не разбираюсь в политике. И я не видела лица Горбачева, но мне он не кажется хуже тех, кто был до него. А те, кто едет *туда* ... Не знаю ... Нет. Почему вы задаете эти вопросы мне, а не преподавателю истории?

— Не сердитесь, я ему не задам этих вопросов потому, что он сам такой же Горбачев, только менее удачливый. А вам, Анна Моисеевна, надо бы *туда*. Здесь скоро будет очень, очень плохо. Уезжайте. Мы вас очень уважаем и желаем добра.

Она рассказала матери об этом разговоре и услышала с удивлением грустное:

— Он прав, надо уезжать на историческую родину. Там нам помогут. Здесь цены растут, на такси скоро будет уходить вся твоя зарплата и моя жалкая пенсия. Мы умрем от голода, когда продадим все, что у нас есть.

— Мама, жизнь наладится. Я боюсь ехать в чужую страну, не зная языка ... без зрения. И ты, с твоим сердцем...

— Через три месяца я получу вызов, доченька, и мы уедем. Нам будет хорошо, я уверена, — возразила мать.

Вызов пришел, но письмо было опущено в щель почтового ящика небрежно и торчало из него. Кто-то недобрый вынул его, вскрыл, прочитал, порвал — и выбросил клочки в урну.

Жизнь и в самом деле становилась мучительной: деньги теряли силу, цены росли с непонятной скоростью, по вечерам страшно было на улицу выйти.

Каждый день открывала старая Сонина почтовый ящик в надежде увидеть долгожданный вызов.

Его все не было.

Но однажды там оказался тетрадный лист, и на этом листе женщина прочла угрозу: будет погром, евреи *заплатят за все, что натворили*, ждать — недолго. Она зарыдала, вернулась в квартиру и позвонила в милицию. Там посмеялись: какой погром может быть у нас? Объяснили, что это дети шалят.

Наконец, удалось связаться с посольством Израиля, и все решилось наилучшим образом. Радости Сониной матери не было предела. Она поделилась ею с соседкой, та сообщила другой — и скоро весь дом уже знал о долгожданном вызове.

Многие поздравляли, говорили добрые слова. Кое-кто скрежетал зубами от завистливой ярости.

И тут пришла новая беда: заболела Сима Давыдовна. Участковый врач не сумел поставить диагноз и направил женщину в больницу. Не решаясь оставить слепую дочь одну, та все откладывала, откладывала — и пришлось однажды ночью вызвать к ней скорую помощь.

По дороге больная скончалась.

* * *

Теперь жизнь, и ранее нелегкая, стала для Анны Моисеевны сущим адом. Ей приходилось ездить на работу в автобусе. И хотя в расписании ей ставили занятия так, чтобы они не приходились на часы пик, хотя поочередно ее сопровождали учащиеся, возникали ситуации, выбивавшие несчастную из колеи.

Ее мучила бессонница, преследовали кошмары, но она продолжала трудиться. В Израиль ехать без матери побоялась.

Она не видела, как постепенно ее ногти стали черными от не вычищенной из-под них грязи, не видела, сколько

жирных пятен на ее одежде, как неряшлива стала ее все еще длинная, слегка тронутая сединой, тяжелая черная коса.

Квартира Анны Моисеевны тоже меняла свой облик: пауки свивали паутину повсюду, слой пыли на мебели становился густым, и следы движений обнаруживали степень его толщины.

Она сама готовила себе, и это было наиболее трудно.

Приходила от службы социального обеспечения ворчливая женщина, которая покупала для нее продукты и наскоро мыла полы раз в неделю, не обращая внимания на остальное.

В училище совещались, думали, как помочь Сониной — и предложили взять на квартиру двух приезжих девушек. Это сразу же изменило все. Щебет юных голосов, смех, песни зазвучали в квартире на четвертом этаже.

Девушки заботились о ней с любовью. Не осталось и следа от пыли, от паутины. Теперь всегда были чистыми ногти Анны Моисеевны, исчезли пятна на одежде. Она стала лучше питаться: квартиранткам привозили продукты из деревни, не забывая при этом и хозяйку квартиры.

Вот только подниматься по лестнице становилось все труднее: в доме не было лифта, а малоподвижный образ жизни делал слепую все более полной и тяжелой.

* * *

Новый Год они встретили дружно, весело. Откупорили бутылку шампанского, произнесли хорошие тосты. Пели песни.

Молодые люди, пришедшие в гости к девушкам, проявляли внимание не только к своим подругам, но и к Анне Моисеевне, даже хотели потанцевать с ней, но она с благоразумной горечью отказалась.

Разрешила им остаться на ночь и слышала то, что происходило. И глотала слезы.

Через десять дней девушки, сдав зимнюю сессию, уехали домой на каникулы. Анна Моисеевна, провожая их, просила:

— Только не задерживайтесь, дорогие девочки, пожалуйста.

— Нет, нет, — синхронно ответили обе.

Кое-как, с трудом втянулась слепая в трудные дни каникул, готовя пищу, выезжая в училище на заседания цикловой комиссии и педагогического совета, прослушивая записи музыки на специально для нее приспособленном автомагнитофоне.

— Завтра приедут, — вслух облегченно произнесла она в последний вечер каникул, зажигая газовую плиту.

В этот поздний час ей захотелось выпить кофе, слушая музыку Бетховена. Исправно работал магнитофон, лилась из динамиков могучая симфония, запах настоящего браزيلского кофе заполнил комнату.

Но она почувствовала иной, чesночный оттенок: она не до упора завернула кран, из конфорки вытекал газ.

Сонина испугалась, поспешила к плите — и упала, больно ударилась головой об угол ее. Какое-то время потребовалось, чтобы она пришла в себя. Чувствуя сильную боль в голове, плохо соображая, слепая встала, но вместо того, чтобы завернуть кран, полностью открыла его. С трудом добралась до кресла и села, растирая виски. Тошнило. Голова кружилась.

Она подождала некоторое время, решила, что газ уже ушел через открытую форточку, но и здесь бедняжка ошиблась: она не открывала в этот день форточку из-за сильного мороза.

Зажгла спичку, хотела открыть кран...

Раздался громкий хлопок. Вспышка пламени захватила ее распущенные длинные волосы, ее халат, обожгла лицо. Горела женщина, горела ее квартира.

Несчастливая бросилась к телефону, чтобы вызвать пожарную службу, но снова упала — и от огня на ее одежде

загорелся ковер. Ее крики вплетались в громкую победоносную музыку бетховенской симфонии, а огонь овладевал квартирой с нарастающей силой...

* * *

Анечка летела, не чувствуя ни боли, ни веса своего, ни своего возраста. Тихая, ласковая и благородная музыка звучала вокруг, чудесно пела и в ней самой.

Девочка снова видела.

Видела дивный, серебристо-голубоватый, добрый и вечный свет далеко впереди. Она знала, что это — ее цель, что она пролетит сквозь темный туннель и соединится с этим сладостным светом, из которого когда-то пришла к людям — и в который возвращается.

Рамат-ашарон, 1997 г., январь—июнь.



*Из сборника
«Кошечка»*

ДВЕНАДЦАТЬ ДНЕЙ НАТАЛЬИ И АЛЕКСЕЯ

— Ты еще ни разу не целовалась?

Соседки по палате с удивлением и недоверием смотрели на Наталью, тоненькую семнадцатилетнюю девушку с тихими карими глазами и гладкой прической.

— Мама очень строгая, а я люблю ее и слушаюсь, — ответила юная скромница.

— Да-а, — протянула Лейла, затягиваясь с глубоким наслаждением дымом сигареты. — Это что-то! Я старше тебя на год, а уже успела и замужем побывать, и от второго мужа убежать.

— В ее годы я в такой компании была ... — потянулась сладко Вера, пухлогубая блондинка неопределенного возраста с бесстыжими водянистыми глазами. — Впрочем, я и сейчас не против хорошего любовника. Но — не надолго. Так надоедают эти мужики!

— Я бы хотела полюбить сильно-сильно!

Наталья улыбнулась светло и стыдливо. Она не влюблялась еще, но пережила вместе с героинями сериалов не

одну историю любви, ревности и победы чувств над обстоятельствами.

Ей еще не пришлось выслушать настоящего признания в любви от сверстников. А то, что некоторые грубо и прямо предлагали, вызывало в ней отвращение.

Один Фимка Кочегаров, деревенский дебошир, сорви-голова, не обижал даже словом.

Перед ней он становился как бы слабым даже, краснел, бледнел, не знал, куда руки девать.

Но не говорил ей Фимка тех слов, что нужны ей. Да и не нравилось Наталье его хулиганство.

Эльмар Фрицберг был немец-вдовец, потерявший жену-еврейку и двоих детей в годы Второй мировой войны. Он служил в разведке Советской армии, семья же его не успела эвакуироваться из Одессы.

Долго Фрицберг не женился и лишь на закате лет сошелся с бабушкой Алексея, Ривой Вениаминовной Левенберг, тоже вдовой со времен войны.

Путевку в дом отдыха Фрицберг приобрел на двоих, но жена настояла, чтобы вместо нее взял с собой приемного внука:

— Сдал экзамены в университет, вымотался, надо подкрепить его здоровье. А я и так отдохну: мне не надо будет готовить на вас.

После того, как его родители, Григорьевы, развелись, Леша жил у бабушки. Не хотел ни с отцом, ни с матерью остаться: осуждал обоих. Даже фамилию хотел сменить, бабушкину взять.

— Мать вкалывала, как проклятая, чтоб тебе дать детство без отца, а ты бросил ее, одну оставил ... — продолжил Эльмар Генрихович.

— Она тоже виновата, я-то знаю...

— Отец твой еще не собирается приехать посмотреть на тебя?

— Некогда ему: его молодая жена с маленьким устает, да еще снова беременна.

— Он и ее бросит, увидишь.

Наступила тишина: мужчины думали.

— Ладно, дед Эльмар Генрихович, я пойду погуляю, — сказал юноша, устав от размышлений.

— Иди, дорогой. И не потеряйся.

Когда Алексей проходил мимо окон палаты, в которой отдыхала Наталья, то увидел ее: девушка декламировала, соседки слушали ее, лежа на койках. Он невольно замедлил шаги и услышал:

— ... *А душу можно ль рассказать?*

— «Мцыри», — сказал вслух. — Красиво читает! Как настоящая артистка.

Наталья заметила его — вспыхнула, оборвала поэму на полуслове и спряталась. Алексей улыбнулся: хорошая и скромная девчонка, видно.

Он прогуливался один, но то и дело звучал в его ушах голос Натальи.

Вечером на танцах он подошел к ней, пригласил на танго. Она сразу же согласилась. Танцевалось ему с ней легко, она улавливала малейший намек его руки. И тоже думала о том, как чутко ведет ее кавалер.

Как тебя зовут? — спросил он.

Наталья. А тебя?

Алексей. Алексей Григорьев. Учусь в политехническом. Вернее, только поступил. А ты?

Девушка смутилась. Но ответила честно:

Я всего только восемь классов кончила. Работаю санитаркой в больнице.

Она была некрасива, но он почувствовал и оценил ее удивительную нежность, ее чистоту. Это было и в глазах ее, и в голосе. И даже в руке как бы тихо пульсировала святость.

Ты живешь в деревне?

Наш райцентр считается городом.

Большая больница?

Да. Она межрайонная. У нас даже две хирургии. И есть психиатрия. А ты кем будешь, когда выучишься?

Они беседовали будто бы спокойно, но уже встретились светлые прожекторы их очей, уже зазвучали обертоны растущей симпатии в голосе каждого. И каждый подумал, замирая в дыхании своем:

Не это ли судьба моя?

Алексей спросил тревожно:

Извини мою нескромность, но почему ты не окончила школу и работаешь санитаркой?

Она приостановилась даже от его вопроса, но продолжила танец, помолчала, поджав губы. Наконец, ответила:

— Это все из-за отца ... Пьянь — отец мой, алкаш. Нас семеро детей. Я старшая. Мать — больная. Вот я и стала всем нянькой. Теперь и работаю такой же нянькой. Хочу учиться на врача. Но где там?! Ждать еще долго...

— Ты классно декламируешь «Мцыри». Кто тебя научил?

Он сменил тему, потому что ему стало до боли жаль ее, в то же время эгоизм требовал не связываться всерьез с дочерью алкоголика, который ... который ... Но нет, она вызывала в нем ломающее эгоизм желание защитить, опекать, быть покровителем и спасителем...

— Меня никто не учил. Я читаю, как чувствую. Наша литераторша меня всегда на уроках хвалила, — как бы удивленно ответила Наталья. — И в самодеятельности тоже хвалили.

— Ты талант, большой талант, — восхищенно сказал юноша. — Я думаю, что все идет от светлой души твоей.

— Ну уж и талант, — покраснела девушка. — Есть и по-лучше. Но я чувствую ... как бы сказать понятнее ... Я не знаю даже, но я не только те слова слышу, что в стихе. Еще что-то.

Между тем, на площадке возникали все новые пары, становилось тесно, это заставляло плотнее прижиматься

друг к другу. Алексей почувствовал тугую грудь партнерши, их бедра касались, глаза сливались взглядами.

Он не мог сдерживаться, он еще плотнее к ней прижался, желание охватывало его, а она покорно и доверительно опустила головку на плечо ему, поражаясь своему сладкому доверию. Дыхание обоих стало тяжелым и неравномерным. Они понимали, в чем дело, но...

— У меня голова закружилась, — шептала Наталья растерянно. — Пойдем лучше погуляем.

— Да, да, конечно, — ответил он сдавленно.

Они вышли с танцевальной площадки и пошли рядом вдоль аллеи. Сели на скамейку. И тогда он взял ее голову в руки и горячо, но неумело поцеловал девушку. Наталья не сопротивлялась, но и не ответила на его поцелуй. А его наглая рука скользнула к ее груди и наполнила свою ладонь. И снова девушка не сопротивлялась, а замерла, но и не проявляла никаких ответных эмоций.

Ему вдруг стало стыдно: она ведь по сути дитя. Она все позволяет ему, но почему? Как бы отвечая на его вопрос, Наталья промолвила:

— Я никогда еще ни с кем не обнималась, всех отшивала. А ты ... с тобой почему-то ... мне так хорошо ... я тебе верю. Ты ведь хороший, правда? Ты не такой, как другие?...

Он стал самозабвенно целовать ее руки, на глазах его выступили слезы.

— Это ты, ты не такая, как все! Это ты...

Молодой человек почувствовал, что только став на колени, сможет продолжать разговор. И он опустился на колени. И сказал:

— Прости меня. Я такой же, как все. Но я, кажется, полюблю тебя ... Или уже полюбил? Знаешь, что? Я не стану ждать! Давай поженимся!

— Я ... я бы пошла за тебя, но малыши ... Я за них в ответе. Не сдавать же их в детдом при живой матери! Хотя и трудно, но надо их поднять. Мне ведь иной раз в боль-

нице дают для них пару обедов, если больной выписался или ... Ну, в общем, помогают. Вот мои детишки и едят.

Огород у нас рядом, большой, надо и его обрабатывать. Есть у нас и картошка, и капуста, и свекла, и моркошка. Да еще грядки под окном, там лучок зеленый, редиска, укроп. У нас и помидоры есть, с корня зрелые снимаем, потому что ростки в горшочках зимой готовим, в избе держим, в тепле. Все это ведь на мне. Нет, нельзя мне замуж.

Она заплакала.

Он гладил ее по голове, сам едва не плакал. Встал с колен, поднял и ее. Замерли в тихом, грустном объятии.

Эльмар Генрихович был искренне растроган рассказом Алексея.

— Покажи мне эту девушку, я хотел бы иметь понимание о ней.

Это произошло на следующий день. Наталья понравилась старику. Он задумался.

— Мэдхен — прекрасное дитя. Все бы было хорошо, но имеются тяжелые препятствия. Это много детей, это больная мать и пьяный отец. Я растерян. Кроме того, ей не имеется восемнадцать лет. Надо ждать. Жизнь решит, как говорится.

Вечером молодые люди снова встретились на танцевальной площадке. Танцевали невесело. Потом он пошел ее провожать. Зашел в ее палату. Там никого не было.

— Где твои соседки?

— Укатали с хахалями в город. В ресторан, а потом еще куда-то. В какой-то отель. На всю ночь.

— Почитай мне стихи. Пожалуйста.

— Знаешь, я тебе прочитаю стих из рассказа Пушкина «Египетские ночи». Слушай!

Она начала медленно и как бы равнодушно:

— *Сиял чертог. Гремели хором
Певцы при звуках флейт и лир.*

И вот она уже как бы видела, и его заставила видеть то, о чем говорит:

— *Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла пир...*

По мере того, как девушка декламировала, восторг нарастал в душе ее слушателя. С ним творилось нечто непонятное, но удивительно прекрасное. То была власть таланта поэта, помноженная на власть таланта чтицы.

Наталья завершила декламацию:

— *Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом...
И с умилением на нем
Царица взор остановила.*

— Все? — спросил он.

— Да. Все. Спокойной ночи, Алексей. Иди.

— Нет, я не хочу. Я ... останусь.

— Иди, Лешенька. Нельзя тебе остаться.

— Наташа, я ничего плохого...

Голос его прервался. Но он продолжал:

— Давай просто полежим вместе. Рядышком. Хоть недолго.

Она легла на койку, подвинулась. Он лег рядом с ней. Оба дрожали. Юноша обнял девушку, просунув правую руку под нее, поцеловал в шейку, замер. Так продолжалось какое-то время. Он прижал ее сильнее, рука скользнула вниз по ее спине.

— Нет, не надо, милый, не надо, — шептала Наталья, теряя силы. — Пожалуйста, не надо.

Он понял, что она перед ним беззащитна. Что на нем, только на нем лежит ответственность за ее судьбу.

— Ты в самом деле не хочешь? — спросил.

— Я ... хочу ... я хочу, но я ... боюсь...

Да, она отдавала себя в его руки. И он решил, что не имеет права ответить зову плоти.

— Ладно, я пойду, прости...

— Нет, возьми меня, Лешенька! Возьми! А то я никогда себе не прощу ... *Такого* никогда, никогда больше не будет у меня! Не бойся, милый!

Они разделись, накрылись простыней и после нескольких совместных попыток сумели соединиться. Они оба были нежны и страстны.

Ночь пролетела, как одно мгновение, и вот уже рассвет прогнал Алексея.

Эльмар Генрихович выслушал восторженный рассказ юноши без энтузиазма.

— Ты как порядочный человек обязан теперь жениться на этой девушке.

— Конечно! Конечно! Я женюсь на ней!

Вторая их ночь прошла в лесу, потому что палата Натальи заполнилась.

Им мешали комары, рядом трещали сухие ветки, шуршали листья под чьими-то шагами. Внезапно луч фонарика скользнул по ним и ушел вместе с тем, кто держал источник света. Они встали с земли, не насладившиеся по-настоящему, даже подавленные и как бы замаранные.

Наташа вдруг заплакала. Друг начал утешать ее, взяв за руку, но она вырвалась и убежала. Он долго не мог заснуть, пытался представить себе их будущее, Эльмар Генрихович кряхтел, тоже, видно, переживал, но вопросов внуку не задавал.

Девушки в палате не спали, когда вошла тихонько и легла, не включая света, Наталья.

— Пролетела, милая? — спросила Лейла, прикуривая. — И как тебе? Понравилось?

— Плакала? — поинтересовалась Вера, тоже прикуривая в темноте. — Или нет? Парень-то *работник* или тепловатый кисель в брюках? Расскажи ветеранам, милая. Интересно же.

— Он хороший. Он любит меня. И я его тоже люблю. Можете не верить, вы же в любовь не верите вообще. Оши-

бочка, милая! — возразила Вера. — Верим, и очень даже. И тебе завидуем. Да-да, завидуем. Но только сегодня. А потом ты нам будешь завидовать. Потому что мы прошли через все это самое ... Через что? Ну, скажем, через аборт. Через скоблечку. Не понимаешь? Ты хоть предохранялась? Спорю на сотню, что нет. Давай проверим. Когда у тебя месячные?

— Отстань! Я не буду делать никаких абортотворений! Рожайте — и все тут! Будет у меня сыночек от любимого. Или дочка. Это неважно.

Но тут она почувствовала ком в горле, всхлипнула раз другой и зарыдала.

Соседки соскочили с коек, бросились к Наталье, стали утешать ее, ласкать, и обе плакали вместе с ней.

Потом Лейла вынула из шкафа заветную бутылку, для sprыскивания отъезда заготовленную, включила фонарик электрический (уж не тот ли, что освещал юных любовников некоторое время назад?) и разлила водку в стаканы для питья воды, стоявшие на тумбочках. Выпьем за твое счастье, Наташенька! Выпьем за то, чтоб свадьбой сердечко успокоилось.

— За тебя, девочка! — сказала Вера тихо.

— За вас, подружки! — ответила Наталья.

Ни соседки по палате, ни Алексей не ожидали того, что произошло на следующий день: никому ни о чем не сказав, Наталья уехала из дома отдыха на попутной машине. Официантка за обедом вручила Эльмару Генриховичу письмо для внука.

Тот отдал листок бумаги, не читая.

Алексей прочел написанное вслух срывающимся голосом: «*Прощай, миленький!*

Не смогу я стать тебе поперек дороги с моей оравой. Спасибо тебе за любовь твою и за ласку. Никогда не забуду. И не казись, потому как я сама этого хотела. Жизнь свою я устрою, не беспокойся. Прощай, Лешенька!

Твоя навек Наталья Еремينا.

— Ну и что же мне делать, бабушка? — растерянно спросил Алексей. Судьба имеет все решить за тебя. Ты должен ждать хотя бы два месяца. Потом поедешь туда, к ней. Если бедная девушка родит, то двух мнений не имеется: надо платить алименты. Я тоже чувствую себя виноватым перед ней. И — перед тобой. Я недоучел что-то. Но у меня имеется совесть. Все еще пока.

Через два месяца Алексей, осунувшийся, бледный от бессонных ночей, вышел из автобуса в Степановке. В ушах его звучали благословения бабушки и Эльмара Генриховича, прерываемые незабываемым шепотом Натальи.

Юноша был в добротных сапогах, и потому сравнительно благополучно прошел по грязи до дома номер шесть по единственной в деревне улице Ленина, где, как он узнал, жили Еремины.

Ставни оказались закрыты и заколочены. Во дворе и в огороде тоже были признаки запустения. Чего смотришь? — строго спросила подошедшая древняя старушка. Да вот Еремины нужны мне, бабуля. Там нет никого. Угорели Еремины. Боле месяца уж прошло. Закрыли в печке задвижку допрежь времени — и каюк! И детки ихние, ангелочки невинные, тоже преставились. И Наташа — тоже? — пролепетал теряющий ощущение реальности происходящего Алексей. С чего бы? Она ведь как раз о ту пору замуж вышла. С той свадьбы и вернулись пьяные ейные родители, спьяну и печку закрыли.

Ох и не хотели они отдавать ее замуж, ох и не хотели же! А ты им кто будешь? Знакомый. А ... за кого вышла Наташа?

— Да за Фимку Кочегарова, за кого ж еще! Геройский парень, а с ней — теленок, будто не он вовсе. И то: она хозяйственная, самостоятельная. Не собиралась вроде замуж, а как приехала из дому отдыхов — и заторопилась. Да...

— Где дом Кочегаровых? Пойду к ним! Хватился! После свадьбы да тех похорон уехали молодые. А куда — никому не сказывали. Родители-то его знают, я полагаю. Так

ведь и те уехали. А дом продали. Ну ладно, милый, заболталась я с тобой, а меня моя козочка ждет, время доить ее. Слышишь, зовет?

Старушка заковыляла прочь, а ее собеседник все стоял перед опустелым домом, шепча: Что же ты натворила, Наташа? Что-о?! А я.... Я ... Что мне-то делать? Мне?!

16 марта 2003 года, Рамат-ашарон.

Правка 25 мая 2006 года.



*Из сборника
«Три сказки для взрослых»*

*Великому русскому народу —
и не только ему.*

СЧАСТЬЕ

Сказка

Жил да был в большом селе, на самой окраине, паренек — сирота по имени Иван.

Родители не успели сына на ноги поставить: в один день оба от злой хвори скончались. Рос он, стало быть, сам по себе. Однако же с пути не сбился, с хозяйством своим нехитрым управлялся, да с каждым годом все лучше.

Руки у него стали сильными, ловкими, всякая работа в тех руках спорилась.

И на балалаечке отцовской поигрывать не хуже других научился, а дадут гармонь в руки — он и на ней подберет лады, сыграет. Читать самоучкой стал, хоть и книг-то в селе том почти и не было.

Вот такой был славный паренек. Однако люди его звали Иванушкой-дурачком, а кто и просто дураком. За что? А за то, что приставал ко всем с дурацким вопросом: где, мол, можно счастье найти. Да еще, вишь ты, растолкуй ему, дураку, какое оно есть, счастье это!

Страх как надоел он всем дурацкими своими расспросами. Оно ведь как получается? Про себя вроде бы каж-

дый знает, какое оно, счастье-то, а вот растолковать никто не может. Потому как сбивал с толку Иван-дурак. Ты ему ответил, а он тебе — еще вопрос.

Совсем запутает.

Вот и решили: дурак, стало быть, он. Гнать стали, как начнет приставать с вопросами.

Закручинился Иван, гложет его та дума о счастье. Спит плохо, работа из рук валится.

Вдруг повстречал он бабушку Василису — ту, что на другом краю села жила, в третьем доме от рощи.

Ту самую, которую когда-то звали Премудрой и Прекрасной. Было ей уже за девяносто, а не скажешь: и в поле работала, и всегда весела была, и в баньке париться могла полдня, да и в пиру пела и плясала наравне с молодыми.

Имела и детей, и внуков, и правнуков, а жила одна. Держала коровенку для молочка да кота рыжего от мышей.

— Здравствуй, бабушка Василиса, ты счастливая или нет? — спросил парень. — Может, в молодости была счастлива?

— Любили мы друг друга с Иваном-царевичем, тезкой твоим. Может, и были счастливы. Да ведь ушел он вскоре воевать, оставил меня вдовушкой с малыми детушками. Тут и сослали меня в ваше село. Живу...

Стало быть, в любви счастье? — обрадовался Иван.

— Оно вроде и так, а не пошлет Господь детушек — и нет счастья.

— Любовь, согласие и дети — это счастье?

— Если дети хорошие. А если плохие — какое счастье?

— Чем дальше в лес, тем больше дров. Любовь, согласие и хорошие дети — это счастье! Так, бабуля?

— Бывает, Ванюша, что согласие только с одной стороны идет все время...

— И ты, как все: запутала, накрутила, — рассердился парень, ушел, не простясь...

Василиса смотрела вслед ему и улыбалась. Вскинула руку, прошептала что-то...

Прошел Иван трижды все село туда и обратно — и оказался на опушке рощи. Присел отдохнуть, привалился спиной к березке. А в роще так славно: пташки распевают весело, листва ласково что-то знакомое нашептывает, ветерок лицо гладит.

Закрыв глаза сиротина и задремал было.

Тут послышался шум дальний. Открыл Иван глаза — и видит, что потемнело вокруг. Пошел в глубь рощи: узнать, в чем дело.

А роща — все гуще, откуда-то в ней появились липы, сосны, дубы. Лес все гуще, шум все сильнее — и вдруг вышел детина к поляне.

А там — сход великий: птицы и звери — и виданные, и невиданные, чудища-страшилища и зверушки-игрушки. И все шумят по-своему. Посреди поляны — трон резной, на том троне — старик древний, с длинной белой бородицей, в кору деревянную одетый. На его голове — веночек из цветов огненных, диковинных. Подал он знак — и все умолкло, инда звон в ушах.

— Не собирал я вас триста лет и тридцать три года, — говорил лесной владыка. — Да вот сама Василиса не смогла Ивану помочь. Кто парня выручит? Кто счастьем научит?

Только сказал — расступились звери, и вышла на середину поляны Лиса. Да какая! Шерсть золотистая радугой переливается, мордочка лукавая светится в улыбке сладкой, хвостом сама себя ласкает. Потягивается на ходу Лиса, напевает что-то. Стала диковинная напротив Ивана, заглянула прямо в глаза ему — ахнул, бедный: глаза те — бездонные, черные.

И ласковые, и жуткие...

Опрокинулась Лиса, обернулась девицей красоты невиданной: золотые косы до пят спускаются, лицо — светло, а щеки — румяны, словно заря утренняя. Брови — крылом ворона, грудь высокая волнуется, губы алые в улыбке подрагивают, приоткрылись жемчуга зубов ровные.

А до чего же красив стройный, гордый стан!

— Не со мною ли любиться — счастье верное? — спросила дева.

От голоса того глубокого, нежностью зовущего, дрогнуло сердце Иванушки. Потянулся он к девице — и она ему руку протянула. Пальчики на той руке — тоненькие, гибкие, ласковые...

Да тут еще раз заглянул молодец в глаза ее нечеловечьи.

— Нет! — закричал не своим голосом. — Не хочу тебя, Лиса! Не верю тебе! Мне надо настоящую девушку!

— А я и есть настоящая, — засмеялась красавица. — Я ведь только прикидывалась Лисой.

— Кто тебя разберет, где ты настоящая?! Не хочу лисьего счастья!

— Государь, — повернулась златокудрая к Царю зверей. — И впрямь, ни к чему дураку счастье — избавь меня от Ивана.

— Будь по-твоему, — гаркнул старик, как громом ударил.

Не стало Лисы-Девицы, будто никогда и не было. И еще многих зверей не стало: видать, их счастье не больно от лисьего отличалось.

— В силе — счастье, добрый молодец: булат его добывает! — неведомо как Волк перед Иваном оказался, пасть огромную разинул.

И весь-то огромен тот Волчище, с корову ростом! Глазищи — огненные, зло в них — великое: никаким ковшом не вычерпать. Когти у зверя железные, шерсть — проволокой! Одно слово — страшилище.

Однако не дрогнул Ванюша, не из робких он был. Спросил твердо, с насмешкой даже:

— Растолкуй ты мне попроще, какое такое счастье в булате?

— А вот какое, — зарычал Волк, кинулся за сосну старую, преогромную — и выволок оттуда Лису-Девицу.

Та — лицом блее стены, золотые волосы расплелись от страха сами собой, в глазах — тоска безысходная...

— Моя, скрежещет стальными зубами Волк, — никто ее отнять не сумеет. Потому как нет силы против булата.

И увидел тут парень, что не Волк Девуцу держит, а Витязь грозный. Шелом на голове его — черный, кольчуга — еще чернее. Меч булатный, пудов на семь весом, блестит с такою силою, что глазам больно.

— Да, это счастье — сильнее всех быть! — подумал Иван.

Едва не сказал так, да увидел в глазах Девуцы тоску смертную и ненависть лютую к похитителю своему.

— Что проку в таком счастье?! — сказал, как отрубил. — Все будут бояться, ненавидеть — и ни от кого не ждать мне тепла душевного, человеческого. Это — звериное счастье, не хочу его!

— У-у-у, болван, — взвыл Витязь-Волк. Прогремел гром — и не стало его. И еще многих зверей и птиц не стало на поляне: видать, такое же, волчье счастье посулили бы.

— Карр, карр, — противным голосом прокричала Ворона и села на сук перед самым лицом молодца. — Пррав, пррав ты, паррень! Не веррь никому, кррроме Ворроны! Золото черрвонное, серребро, камень ддрагоценный — вот счастье и ррадость!

Захотала, замахала крыльями, поднялась с сучка, ветром холодным обдувая Ивана, села на землю птица нелепая.

Да полно, птица ли?

Старушонка корявая, сушеная, суетится около сундука окованного. Открыла сундук — и озарился лес: жаром полыхают золотые монеты, радугой переливаются камни бесценные! Кольца, перстни, браслеты, ожерелья — чего только нет в том сундуке...

— Видишь, — скрипит Старуха-Ворона, — все купить могу!

Только сказала, а уж несут четыре чудища-страшилища Волка-Витязя, в сетях стальных запутавшегося, цепя-

ми железными обмотанного. Два других — ведут Лису-Девуцу с веревкой на шее. Отсыпала Старуха чудищам из сундука, а там и не убавилось! Поклонились ей страшилища, руку поцеловали — и сгнули.

— Тебе, Иванушка, сундук отдаю — даром, хе-хе, — задохнулась карга от смеха. — Бери и будь счастлив, ххе, кххх...

— Что ж ты, такой сундук имея, молодость свою не вернула? — как бы удивился парень.

— Берешь сундук или нет? — страшным голосом зарычала Старуха и позеленела от ярости.

— А душу безгрешную можешь купить? — тоже крикнул сирота и рванул ворот рубахи, задохнувшись от омерзения.

— Тьфу, дуррак! Дуррак! Карр! — послышалось в ответ.

Оборотилась Старуха Вороной да и пропала. И все исчезло: и сундук, и Волк, и Лиса. И никого не стало на поляне.

Только крик вороний прогремел страшно:

— Все пррах перред врременем, дуррак!

— Нет над временем власти — нет, стало быть, счастья, — сказал Иван горько и пошел в обратный путь.

Дошел до опушки и прилег на траву отдохнуть.

И тут новое чудо явилось: стоят перед ним трое. Рослые, плечистые, кудрявые. Обличьем схожие, только очи у молодцов разные: у старшего — черные, медленные, вдумчивые; у среднего — то синие, то серые, и радостные, и горькие; у младшего — карие, цепкие, с прицелом.

И держат они в руках разное: старший, черноглазый, — книгу толстенную; средний, с переменчивыми глазами, — гусли звончатые; младший, кареглазый, — молот.

Глядят они в глаза Ивану — и будто сквозь него смотрят, и — в душу его, и — сами в себя.

От того взгляда дивного ни сна не стало, ни усталости.

— К зверям за счастьем ходил, Ваня? — спросили. — Дали они тебе его?

Обиделся парень:

— Никого не просил я дать мне счастье! Я путь к нему спрашивал. Какое оно — спрашивал, да никто того не знает. И вы не знаете.

Улыбнулись молодцы. Да так светло, ласково, что забыл сиротинушка обиду первых слов, потянулся всем сердцем к тем троим.

Сказал черноглазый:

— Счастье, Ванюша, перед тобой. Мы — три брата, три пути к счастью.

Сперва расскажу тебе о своем пути. С малых лет хотел я понять всему причину. Читал книги, беседовал с мудрецами — и так много узнал, что и сам сумел немало открытий сделать. Но чем больше я узнавал, тем больше непонятного для меня возникало.

— Несчастный ты, — пожалел Ученого Иван.

Тот засмеялся. Потом раскрыл свою книгу и стал показывать, какие на земле звери и птицы живут, какие деревья и травы растут, как день сменяется ночью. И рассказывал, да так просто и понятно! Удивился Иван — и обрадовался.

— Много ли я знаю теперь из того, что знаешь ты? — спросил ученого.

— Ничего еще ты не узнал, только к самому краю знания подошел, — ответил Ученый.

— А словно бы другим я стал, — снова удивился Иван.

— Таково счастье познания, — согласился черноглазый. А самое великое счастье — понять то, чего до тебя никто не понимал, и отдать свое открытие народу для общего блага.

Огонь пылал в глазах Ученого — и был он прекрасен.

— Как же ты, такой молодой, столько успел? — удивился крестьянский сын.

Нахмурился Ученый:

— Я прожил долгую жизнь. И только в глубокой старости понял, в чем суть зла. Написал о том книгу. Темные

люди сожгли ее — и меня сожгли, чтоб другую не написал. И прах мой по ветру развеяли.

Я доказал: суть зла — духовная тьма. А люди не хотели из тьмы выйти, не верили в добрый свет Знания. Но наука жила и живет, мои ученики несли свет этот во тьме. И все ярче светил он — и отступала тьма невежества. Потому я жив и молод, хоть давно забыли имя мое.

Опустил голову сиротина, задумался. Но тут средний брат заиграл на гусях.

Что за чудо?! Сквозь облака и землю увидел Иван и услышал бездонные хороводы

звезд — и дошла до сердца его эта красота, и слилась песня звезд с напевами села родного: с колыбельной, что от матери покойной слышал, со сказами былинными и песнями сегодняшними, веселыми и грустными.

И сам он словно врос в красоту эту, бескрайней стала душа его, добру и миру открытая...

— Счастье, счастье-то какое! — прошептал. Тут же умолкли гусли. А Гуслиар сказал:

— И я был счастлив, Ванюша. Славил в песнях своих Русь-матушку, народ наш великий, героев его. Будил гнев ко злым людям, ярость поднимал к лютному врагу.

Вот и схватил меня лютый враг, пыткой и посулами хотел заставить служить ему.

Не заставил — и казнил злой смертью. Только не вышло по его умыслу: и до сей поры народ мои песни поет. И пока поют их люди, жив я и счастлив, хоть давно забыто имя мое...

— Славен твой путь, — блеснул глазами сын крестьянский Иван, — победил ты смерть, как и старший брат твой, и счастливы вы оба. Неужто есть еще какое-то счастье на свете белом?

— Есть. И не меньшее, — твердо сказал третий брат. — Был я Мастер — Золотые руки...

— Был? — спросил парень уныло. — Так, стало быть, нет тебя? И всех вас нет по-настоящему...

— Вот стукнет он молотом по башке, так сразу поймешь, что и был, и есть! — весело вымолвил Гусяр.

Засмеялись братья — и самому Ивану смешно стало.

— С юных лет пошел я к старым мастерам на выучку, — продолжал Мастер. — И всеми ремеслами овладел. Да что рассказывать — сам погляди!

Трижды взмахнул молотом — и вырос перед ними дворец княжеский. Взмахнул в сторону дворца — и вот уже идут они все четверо по хоромам, любят отелкой, искусно сработанной обстановкой, утварью. Все прекрасно и удобно.

— Не один я работал, верные подмастерья-ученики трудились вместе со мной, — говорил Мастер. — Счастлив был я и горд трудом своим радостным.

— Да, твое счастье — самое славное, — согласился Иван.

— Долго бы еще я строил и мастерил, — грустно вспоминал кареглазый. — Да вызвал меня князь и повелел по тайной ход к его покоям сделать. А когда готов был ход, отрубили мне головушку.

— Неужто плохо сделал, не угодил? — изумился парень.

— В том-то и беда, что очень уж хорошо справился. А князь боялся, как бы я его тайну не выдал. Только убили его не те, кого боялся, а родные дети: надоел он им...

Дела же рук моих жили века и долго еще жить будут. И сам я буду жив, пока жива на Руси красота мастерства. Хоть и забыто имя мое. Но придет время — и откроются все имена!

— Счастливые вы, все трое, — позавидовал Иван. — И время над вами не властно. Бессмертны вы.

— Бессмертные, Ванюша, после смерти приходит, — пояснил Ученый. — Потому счастлив тот, кто знает при жизни о своем бессмертии.

— И ты знал? — задрожал голос у парня.

— Знал. И братья мои знали. Знает любой, кто для блага народного ни сил, ни самой жизни своей не жалеет.

— И если я так буду жить, то буду счастлив?

— Да. Ты уже отказался от всякого звериного счастья, а это и есть первый шаг к счастью человеческому.

— Как же второй сделать? — спросил детинушка. — Все пути ваши — славны, все — зовут.

— Так и быть, поможем тебе, — сжалились братья. — Зажмурься посильнее!

Зажмурил сиротина глаза — и вспыхнул свет яркий. Осторожненько поднял веки — что такое? Лежит он на опушке леса, никого рядом нет. Солнце светит ярко.

— Снилось все это мне, — промолвил. Вздыхнул глубоко и побрел домой.

Вошел в свой двор — и очень уж пить захотелось ему! Стал опускать ведро в колодец — и остолбенел: глядит на него из воды лицо младшего брата из троих, лицо Мастера!

Не сразу смекнул, что свое отражение в воде колодезной видит. А как понял, закричал от радости:

— Эй, люди! Не сон был это! Мастером стану я!

Во двор Василиса вошла.

Обрадовался, сказал Иван так ласково:

— Здравствуй, бабуленька!

— Здравствуй, милый! Слышу, мастером стать решил.

Долгонько учиться надо на мастера настоящего: не меньше, чем на ученого или гусяра. Да и нет в нашем селе таких учителей: все мастера — средней руки.

Иван в ответ:

— Бабуля, я не пень лесной: весь свет обойду, а найду учителей по себе.

— Ох, Ванюша, трудна учеба: батрачить придется от зари до зари, а то и ночь прихватишь. К тому ж прячут мастера свои тайны заботливо.

Не испугался сиротина:

— Все трудности, все муки вынесу, но выучусь!

— Что ж, раз так, собирайся в путь, — одобрила Василиса. Только молот не забудь!

— Какой еще молот? — удивился Иван.

И увидел рядом с собой молот — такой же, какой был у младшего из братьев, у Мастера.

То ли всегда здесь валялся, не замеченный, то ли ночью появился, то ли — после слов Василисы.

Не стал молодец гадать, откуда молот, а вскинул его на плечо. Забежал в дом, взял снеди на начало пути, не забыл и балалаечку отцовскую.

Сказал Василисе:

— Переехала бы ты, бабуля, в мою избу: твоя-то совсем обветшала.

— Спасибо, Иванушка, добрая душа. Молот береги!

Поклонился парень дому своему, поклонился Василисе — и пошел по пыльной дороге босиком счастье людям строить, стало быть, — и себе.

Спрашиваешь, выучился ли? Выучился, все трудности преодолел.

А когда, бывало, неумоготу ему станет, брал в руки молот — и видел лицо того Мастера, и разговаривал с ним, и шла в его руки от молота сила новая, а разговор с Мастером — душе давал силу.

И стал сам Иван великим Мастером. И слава о нем по всей земле пошла.

И звали его к себе короли заморские, но некогда было ему: торопился для своего народа побольше сделать.

А ежели и выдавалась минута свободная, то либо на балалайке играет и поет, либо книгу умную читает.

И было у него учеников множество, и всем им он тайны мастерства раскрывал. А друзей у него было — не счесть.

Детей у Мастера было семеро, внуков — пятьдесят два, а правнуков — триста шестьдесят пять, и не было среди них ни одного лодыря.

Кто жена была, спрашиваешь? Про ту любовь великую — другой сказ.

И будет он в другой раз.

Омск, 1970.

Из сборника
«Без любви»

НИНА

Она приходила в ульпан¹ молча, сдержанно отвечала на шумное и веселое приветствие, характерное в среде новейших репатриантов.

Ефим в глазах ее угадал одинокую и все еще страдающую душу.

Им было по пути, более молодые убежали вперед. Нина шла рядом с ним.

Оба молчали.

Он вспомнил безвременно ушедшую год назад жену, с которой не дотянул до серебряной свадьбы, но воспитал двоих сыновей. Теперь они живут с семьями на *схар-дирах*², в то время как он, их родной отец, *метапелит*³ старика, почти ровесника, за койку и харчи: пособия не хватает.

Нина слушала молча и, казалось даже, внимательно, как он рассказывал о том, каков старик Эйтан, квартирохозяин, как он уже беспокоится, наверно.

¹ Ульпан (*студия, иврит*) — курсы по изучению иврита.

² Схар-дира — квартплата (*иврит*). Употреблено неточно.

³ Летпель — нянчить (*иврит*). Метпель — нянчащий.

— Он славный, но очень уж беспокойный. Зато как радуется моему приходу из ульпана! Как любит слушать рассказы о жизни в Союзе! Его родители приехали сюда в тридцать девятом году из Польши, он немного понимает по-русски.

Нина все слушала. И Ефим рассказал и о разводе с первой женой, и о потере второй, любимой, и о ссоре с детьми, не нашедшими для отца места в своих жилищах.

— А вы здесь с кем? — спросил ее.

Оказалось, что Нина одна в Израиле. Но не в пример ему, попутчица явно не желала говорить о своем прошлом. Только о том, что она переводчица, и узнал он.

Нескладная, плечисто-сутулая, одетая просто и даже строго, Нина ни разу за эти полчаса неторопливой ходьбы не улыбнулась. Сказала, что тоже живет у хозяев как *метапелет* их девяностодвухлетней матери, плохо соображающей.

— Старуха всю ночь орет и этим будит меня, — пожаловалась Нина на следующий вечер, когда они снова шли из ульпана вместе.

— Надо дать снотворное, — откликнулся он сочувственно.

— В том-то и дело, что не разрешают: боятся, что это ей повредит. А я ведь сплю тут же, в одной комнате с ней. Представляете?

— Так бросьте их, уйдите куда-нибудь в другое место. Вы же переводчица, вам найдется работа.

— Я не знаю иврита! Я переводила с немецкого, французского и английского. Но не с иврита. И не на иврит. Он не идет мне в голову никак. И не люблю я его. Хоть я чистокровная еврейка. Даже внучка раввина.

— Да вам, Ниночка, ничто не пойдет в голову после бессонной ночи и тревожного дня. Знаете что, давайте вместе снимем квартиру. Платить легче будет.

Я метапелю бесплатно да еще за угол плачу ему сто долларов, а так мы могли бы себе домик снять за двести или двести пятьдесят...

— Вы серьезно? Нет ... Хорошо вам: вы пенсионер, пособие имеете, а мне без работы никак. На нормальную должность в мои пятьдесят не возьмут, да и иврита не знаю.

— Как же вы так влипли, Нина?

— Я сразу к подруге приехала, в Хайфу. Такие письма она мне писала! А тут сразу же засунула в этот город, в эту семью.

Даже переночевать у себя в первый день не оставила. Куда я теперь?

— Да нет же, надо искать другое жилье! Другую работу!

— Хозяева сами мне ищут. Давно уже.

— Не верьте им! Хотели бы — нашли бы. Вам дурят голову, извините.

На следующий вечер занятия окончились рано, и он предложил Нине немного погулять. Встретилась скамеечка около бейт-авота¹. Сели. Ефим стал рассказывать анекдоты. После шестого или седьмого Нина, наконец, рассмеялась.

Он удивился: это был звонкий детский смех, залихватый и щедрый. Сверкали ровные зубы Нины — свои, не вставные. Другими, живыми, юными стали ее карие глаза, освещенные уличным фонарем. Он залюбовался ее лицом — и улыбнулся смущенно.

Она не заметила происходящего с ним, и это слегка его расстроило даже.

Еще несколько раз сидели они на той же скамеечке. Он веселил ее смешными рассказами о своей жизни в стране исхода.

Она же очень скупно впускала его в свое прошлое: было много друзей, родители умерли не так давно; отец был председателем еврейского колхоза на Украине, одного из первых. Потом — ликвидация колхоза, потом — арест отца, лагерь, после лагеря — ссылка...

— В Казахстане мы с мамой оказались. Там же и остались, потому что корни пустили. Здесь мне не прижиться.

¹ Бейт-авот — буквально «дом отцов», дом для престарелых.

Мечта моя: накопить денег и уехать обратно. С хозяевами-то я объясняюсь по-французски: они из Туниса. Когда они иврит используют, не понимаю почти ничего. А улыпан? Улыпан — пустая трата времени.

— Подумайте о моем предложении, — прервал он ее. — Домик. Вместе. А? Найдем вам другую работу. Нормальную. И ваша мечта вас покинет, вы овладеете ивритом, уверяю. А нет — уехать всегда успеете.

Она все больше ему нравилась: такая, какая есть. Со всей ее угловатостью, с трагической мрачностью. Он теперь знал, что она может быть иной, надо только создать стимул. Он был уверен, что им будет хорошо вместе. Пусть даже просто как добрым друзьям, помогающим друг другу, поддерживающим один другого.

— Она ведь по сути — очень хорошая, — размышлял Ефим. — У нее дивная улыбка. Если захочет, то можно стать и больше, чем просто друзьями. Не захочет? Боится, что я старый импотент? Так нет же, ошибается! Надо прямо сказать об этом! Потом, конечно. Странно, она с каждым сидением на этой скамеечке становится все ближе ... и все желаннее ... Сказать ей?

И он однажды сказал об этом! Прямо — и грубовато, кажется!

— Вы и в самом деле *хотите* меня? — спросила она так, как будто речь шла не о них, даже вообще не о людях, а о каких-то машинах.

И добавила — иначе, тихо и стыдливо:

— Мне никто еще никогда не говорил, что хочет меня.

Опустила голову. И — вдруг — сердито:

— Я не верю вам!

Не раз еще пожалеет он о том, что тогда взвинтился, обиделся на неверие, не взял ее руку в свою и не сказал иных слов, теплых, искренних, более необходимых для нее — и для него самого.

— Вот как? Вы не верите? Тогда прощайте, я опаздываю домой, — разочарованно вымолвил Ефим и крупно зашагал, оставил Нину одну.

Он нашел работу в Нетании, ездил туда *метанелить* старика (тоже моложе себя), это давало пятьсот шекелей; вскоре приятель предложил убирать *мадрегот* в подъезде, что давало еще двести пятьдесят шекелей, не регистрируемых официально.

И тогда он снял домик-крошку за двести семьдесят долларов в месяц. На жилье уходил весь «левый» заработок, но зато в домике этом, с холодильником, телевизором, газовой плитой и телефоном, было удобно и спокойно. Официального пособия хватало и на еду, и на прочие расходы.

Занятия в улыпане завершились торжественным вечером с вином и отличными закусками, с приподнятыми речами и вручением удостоверений. Даже со стихами на иврите, которые зачитали сочинившие их (не без помощи преподавателей все же) отличники. Нины на вечере не было: она перестала ходить в улыпан вскоре после того, как он оставил ее одну на скамейке.

Встретились через месяц после выпускного вечера в улыпане. Нина закупила продукты в супермаркете. Он обрадовался и подошел к ней.

— Как старуха? Орет? — спросил Ефим.

— Нет. Умерла она. А я сейчас у другой старушки. Я, можно сказать, в раю. Огромная квартира. Женщина эта — интеллигентная, умная. Разговариваем по-русски: она приехала из Польши в сорок восьмом году. У меня отдельная большая комната с телевизором и музыкальным центром. Ночью сплю спокойно.

— Рад за вас.

— Все равно я уеду! Не хочу! Не хочу здесь! — закричала Нина.

— Да почему же?!

— Я разочарована! Здесь не то, о чем я мечтала! Нет ни единого еврейского народа, ни мира с арабскими соседями-

ми, ни элементарной человечности у чиновников! А русскоязычных вообще за людей не считают! И кто?! Лавочники безграмотные. Да и *олим*¹, которые устроились, — обманщики и взяточники! А кнессет?! Смотреть не могу на самодовольные физиономии, телевизор выключаю!

— Нина, мы же в своей стране, на исторической родине, а то, о чем вы говорите, и там было в достатке, и везде есть. Надо видеть и хорошее. Его тоже в стране много. Просто вас кто-то настраивает. Вернее, расстраивает. Кто-то нарочно указывает лишь на плохое.

— А *радио рэку*² послушаешь, так жить не хочется, — стонала она, не слушая его.

Он взял ее ладонь в свои, и женщина смолкла, как ребенок, взятый матерью на руки.

— Нина, простите меня, я тогда поступил дурно, я был не прав. Сейчас я снял домик, предлагаю перейти ко мне. Нам будет хорошо, поверьте. На этот раз я не убегу, я надеюсь.

— Я верю, Ефим. Вы, наверно, хороший. Но вы ...опоздали. Прощайте.

Она порывисто обняла его, прижалась на секунду — и ушла быстро, не оглядываясь.

Он был ошеломлен. Стоял молча.

— Хаймэлэ, что-то ты не такой какой-то! — раздался веселый бас. — Женщина тебя так обняла! Наверно, что-то пообещала, а? Почему же такое кислое лицо?

Моше, всегда веселый и нередко слегка подвыпивший, фронтовик и с девяносто первого года полковник в отставке, недавно расставшийся с простатой, хлопал Ефима по плечу.

— Да вот, Нина расстроила.

— Эта? Ушедшая так быстро? Чем расстроила? Неужели отказала все-таки? Я ее не понял издали?

— Настроение у нее ... непонятное.

¹ Оле — репатриант (иврит), олим — мн. число.

² Радио РЭКА — русский отдел радио «Голос Израиля».

— И только-то? Зайдем ко мне, у меня чудесная финская водка, Дебора сделала гефилтэ фиш — пальчики оближешь!

Действительно, водка оказалась отличной, а уж гефилтэ фиш¹ — и того лучше. Беседа тоже приподняла настроение: полковник был оптимист и сионист. Иврит у него, как он сам говорил, *никак не шел*, но его это не беспокоило, потому что вырос в местечке, идиш был для него *мамэ лошн*, и это в Израиле везде, ну прямо везде, помогало.

В последовавшие дни Ефим был занят мелкими финансовыми проблемами, требовавшими большой работы со словарем. Кроме того, он, конструктор фрезерных станков-автоматов, наел работу почти по специальности: фрезеровщик-ком. Уточнялись детали договора с хозяином, тоже требовавшие напряжения в иврите.

О Нине вспомнил лишь, встретив одну знакомую, спросившую, не знает ли он ее адрес.

— Она взяла у меня книгу и обещала отдать через неделю, а уже прошли три недели.

— Нина — человек обязательный, — встревожился Ефим. — Не случилось ли чего? Она была в плохом настроении, когда я ее встретил. Это было ... Да, это было ... около двух недель назад. А вот нового адреса ее я и сам не знаю.

И случилось так, что уже на следующий день эта знакомая снова встретила ему.

— Вы понимаете, она в самом деле не могла отдать мне книгу. Она в больнице Тель-ашомер. Ее прооперировали, а теперь — химиотерапия.

— Онкология?

— Да. Я звонила. Сказали: *мацав кашэ*.

Он приехал в больницу на автобусе номер шестьсот восемнадцать, которого дождался сорок минут. Шел по длинному коридору, показавшемуся каким-то фантастическим, из далекого будущего. Наконец, увидел надпись:

¹ Гефилте фиш — фаршированная рыба (*еврейская кухня*).

«Онкология». Вошел. В регистратуре обратился к молодой беременной работнице на иврите. Та быстро позвонила куда-то, выслушала ответ и сказала, ласково посмотрев на него:

— Умерла. Я сочувствую вам, господин. Он не сразу понял.

Переспросил.

Женщина повторила, медленно, по слогам. И вдруг эта красивая, молодая, превратилась в Нину, улыбнулась жемчужно и сказала по-русски: — Ах, Ефим, не сняли мы домик вместе.

Это длилось какой-то миг, и Ефим понял, что ему просто показалось, что никто и не появлялся, что он сам вызвал образ Нины в своем сознании. Но чувство невосполнимой потери и неоплатной вины тяжело сдавило и голову, и грудь. И снова вместо юной *пкиды*¹ как бы она, ушедшая навсегда, грустно улыбалась ему. — Прости, Нина, прости, пожалуйста, — пробормотал он, слабея. — Я должен был...

— Что вы сказали? — спросила на иврите Нина, но нет, не она, не она, а эта красивая, юная. — Я сказал, что благодарю вас. Да, я вас благодарю, — сказал он по-русски. Спыхватился — и перевел, задыхаясь от подступившего к горлу неожиданного комка: — Ани модэ лах, ани модэ лах, гвирти.

Пошел к другому, ближнему выходу из длинного коридора.

Солнце палило во всю свою средиземноморскую мощь. Автобусной остановки здесь не было. Кто-то сидел в такси. Ефим подошел, спросил, куда едут. Севший рядом с водителем что-то зло произнес. Водитель перевел на русский: — Едем на кладбище, потому он и злится. — Да-да, и она тоже уже на кладбище, — откликнулся Ефим. — Я вернусь, надо узнать, где ее похоронили. Надо проследить,

¹ Пкида — служащая, чиновница (*иврит*).

чтобы все было, как положено. Чтобы все было, как положено. Да.

И показалось ему, что солнце померкло, а все звуки вдруг стихли, уйдя в поглотившую их тишину таинственной вечности.

Это продолжалось лишь мгновение. Такси плавно отъехало, а он медленно, тяжело зашагал обратно: узнать *последний* адрес Нины.

27 апреля 2003 года. Рамат-ашарон.



*Из сборника
«Кот в сапогах»*

СПАСАТЕЛИ

— Наконец-то! — вскричал Доберман-Жутин, вскакивая и потягиваясь сладко. — Наконец-то получилось! Теперь я спасу планету, я сделаю всех людей добрыми и счастливыми! Всех до одного!

Действительно, сомнений больше не оставалось: *энцефаломир* действовал.

Пятьдесят три года своей жизни отдал ученый изобретению этого прибора. Пятьдесят три года из шестидесяти прожитых!

Идея подавления злобных мыслей и желаний в мозгу человека пришла еще в первом классе: мальчик был странный, слабый, это вызывало насмешки тупых соучеников и злобной учительницы. Ревмир Доберман-Жутин страдал, размышлял. Конструировал.

В десятом классе он изобрел действующий прибор. Результат еще был ничтожен.

Но он совершенствовал *энцефаломир* в вузе и в научно-исследовательском институте, оставаясь до пенсии младшим научным сотрудником.

А завершил тайный подвиг в унаследованной квартире, за десятилетия превращенной в мощную лабораторию. Находки и неудачи чередовались, вдовец-ученый медленно, но верно продвигался к цели.

И вот первый удачный эксперимент: Ревмир Марленович подверг воздействию *энцефаломира* грузчика из гас-

ронома, недавно открытого напротив. Злобного дебелого мужика.

После облучения Степан перестал задираться без повода, начал с философским спокойствием относиться к неприятностям.

Второе облучение, как и ожидалось, привело к появлению доброжелательности и участливости по отношению ко всем людям.

— Что это стало со Степкой? — с радостным удивлением спрашивали и работники гастронома, и соседи нового, *обаятельного детины*.

Доберман-Жутину казалось, что он способен взлететь и парить в воздухе над миром. Он верил в светлое будущее человечества.

Оставалось только создать более мощный *энцефаломир*, в тысячи раз сильнее этого, лабораторного, и облучить все страны и континенты. Он знал, как сделать это.

В воскресенье, тщательно побрившись, приодевшись и положив в карман прибор, конструктор поспешил на кладбище: рассказать другу, столетнему дереву, о том, как он спасет мир. И этим, возможно, загладит свою вину перед родителями и женой, которых уморил своими экспериментами.

— Сбудется многовековая мечта людей: мир и любовь друг к другу соединят народы, семьи, расы! — громко и торжественно завершил свое сообщение дереву Доберман-Жутин.

— Повторите то, что вы сказали, Ревмир Марленович! Кого это вы спасете?

Изобретатель оглянулся на голос.

Из-за старого надтреснутого памятника появился старик, ровесник конструктора.

Вид его внушал отвращение: всклокоченные грязные волосы, гримасничающее лицо, клочковатая борода, рваная одежда. Все же удалось узнать Потеряйло-Разумовского, бывшего соперника в науке, академика. Несколько лет назад он, по слухам, сбежал из психиатрической клиники.

— Противно, Ревмир Марленович? — захихикал он — Да, я неряшлив. Но почему?! Потому что я не тратил времени попусту, жалкий вы недоучка! Я сделал несколько открытий, о которых никто и не догадывается! Я следил за вами — и жалел вас! Но вы стали опасны! Вас следует обезвредить! Смотрите — и трепещите!

Академик снова засмеялся. Теперь смех его был подобен грому. На глазах у устрешенного Доберман-Жутина сумасшедший вырос едва ли не втрое.

— Ну, как? А вот это?

Раздалось негромкое, но страшное жужжание — и миролюбец почувствовал непреодолимое желание разбежаться и удариться головой о ближайший мраморный памятник. Он понимал, что этого не нужно делать, но его сознание было подмято могучей властью включенного соперником прибора.

Внезапно все прекратилось. Сумасшедший академик принял первоначальный вид. Он хихикал и потирал руки.

— Дрожишь, жалкий? Прибор имеет три программы: страшные галлюцинации, манию са-моубийства, — гордо продолжал Потеряйло-Разумовский, — и жажду убийства. Сила *нейро-натуратора* достаточна, чтобы сгубить большой город. А размер мал — посмотри, несчастный.

Ревмир Марленович заметил металлическую коробочку в руке безумца.

Ты видел меня огромным — и испугался, но то была галлюцинация. Потом ты захотел расширить голову, но я успел выключить вторую программу. Теперь же мы с тобой включим третью и пойдем по городам и селам планеты ... Зачем?

... и ты увидишь, как люди бросаются друг на друга, охваченные внезапной взаимной ненавистью, сын убивает отца, а мать — ребенка. Как жених, целующий невесту, вдруг с рычанием задушит ее, а солдат застрелит командира.

Доберман-Жутин завопил:

— Но зачем, зачем все это? Если вы хотите как истинный ученый добра людям, то ваши действия неверны, неверны! Так ты не понял?! Люди слабы и не способны противостоят Злу. Торжествуют мафиозные структуры! Правительства и профсоюзные боссы думают не о благе народов, а о своих доходах! Жалким массам остается лишь голосовать за того, кто пообещает больше...

— Но вы же хотите *всех* уничтожить...

— Ложь! Я хочу сделать людей сильными и беспощадными, чтобы человечество стало подобно прекрасному миру природы! Сильные выживут, а слабые погибнут. И Зло исчезнет. И — никаких идей! Никакого политического обмана! Гармония природы воцарится на планете. Эй! Что у тебя в кармане? Не смей! Я тебя сейчас...

Он спешно нажал кнопку второй программы. Но и Ревмир Марленович успел нажать кнопку энцефаломира в кармане куртки.

Результат их действий тут же проявился.

— Друг мой, — воззвал академик, плача радостно. — Друг мой, я был не прав. Только мы, ученые, спасем планету. Пусть все станут такими же добрыми, как ты и я. Вот моя рука.

Доберман-Жутин вывернул протянутую руку — и задушил соперника с яростью.

Завыл, разбежался и, повинувшись второй программе, разможил свою голову о надтреснутый памятник.

Из-за дерева вышел молодой, симпатичный на вид, человек в темных очках.

— Я опоздал! Оба уважаемых профессора успели нажать на кнопки, — весело сказал он.

Вложив чужие приборы в спортивную сумку, человек поклонился лежащим на земле.

— Я был вашим студентом, профессор Потеряйло-Разумовский, я усвоил и развил ваши идеи. Помогли мне и ваши чертежи, господин Доберман-Жутин. Их я просто украл.

Жан-Джон-Хуан-Иоганн-Цзедун-Кривояма-Маньяччи-младший ослепительно улыбнулся.

— Жаль, старички, не увидите, как мой *коммунатор* сделает меня добрым повелителем этой планеты, а прочих двуногих — покорными рабами. Но в то же время счастливыми!

Да! Так как счастье человека — в полном повиновении! Беспрекословном и радостном! Мощность моего прибора-малютки беспредельна!

С этими словами молодой изобретатель нежно прикоснулся губами к перстню на правом мизинце — сверхмощному излучателю.

Поднял руки над головой. Нажал крошечную кнопку «Пуск».

Мощный, но не слышимый ухом, гул коммунатора начал распространяться над Землей с околосветовой скоростью, пронизывая сознание людей, и погнал их к повелителю, а заодно — ко всеобщему *счастью полного повиновения*.

В этот же миг за тринадцать тысяч кило-метров от старого кладбища семилетний ультра-вундеркинд Балл-Бес, сладострастно хихикая, завершил двухлетнюю работу.

Он создал, наконец, программу, содержащую команду армиям Земли выпустить боевые ракеты и взорвать все термоядерные, химические, биологические и прочие бомбы и супербомбы, расположенные на прекрасной голубой планете.

Остался пустяк — разослать эту мощную программу-вирус по имеющимся в компьютере Балл-Беса соответствующим адресам Интернета.

*Рамат-ашарон,
14 февраля 1998 года —
21 июня 2000 года —
30 июля 2002 года —
26 августа 2004 года.*

ШУМ, ТОЛЬКО ШУМ...

— Снова только шум, — горестно скрипнул Граб Мзг, воздев клешни над панцирем. — Тридцатый год слушаю Космос: жду каких-нибудь разумных сигналов, но все сигналы — лишь шум небесных тел. Ни на один импульс нет ответа: ни на дурр-излучение, ни на рруг-излучение, ни на карк-волну, ни на чирк-луч, ни даже на сверхмощный поток хохм-частиц!

— Да успокойся же, наконец, — в сотый раз проскрежетала Брзга Крга, его супруга. — Завтра тебя проводят на пенсию, твоего внимания, наконец, дождутся наши дети и внуки. Честно говорю: я рада этому.

— Но они должны быть, они должны откликнуться, наши братья по разуму! Граб Мзг ударил себя мощным хвостом по всем четырем правым членистым конечностям. — Почему же они молчат?! Почему не хотят вступать в контакт?..

... На расстоянии в двести тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть и тридцать четыре сотых парсека от Граба Мзга устало смотрел на экран Мнил Мэвин.

Тридцать лет безуспешно ждал он ответа на сверхсветовые сигналы, посылаемые в Космос.

Его зеленые щупальцы обвисли и побледнели, огромные выпуклые глаза прикрыла розовая пленка, когда он протелепатировал своему верному ученику Взвылу Дылду:

— Шум, только шум, никаких сигналов разума. Но они есть, есть, иные мыслящие существа!

Взвыл закрыл выход своей телепатической антенны: он знал, что завтра любимый учитель уйдет на пенсию и опустится на дно океана, поэтому не захотел огорчать его своим решением прекратить поиски Разума и ограничиться изучением естественных сигналов небесных тел...

... Джонатан Свифт расстроился и вышел из пространственно-временного Континуума Единого Поля.

Он видел, слышал и понимал обоих ученых, но не мог помочь им ничем.

Да и остальным землянам он не мог рассказать о том, что знал и умел: его бы не поняли, даже высмеяли бы...

1995, *Рамат-ашарон*



КОТ В САПОГАХ

Сидельниковы торопились домой: до Нового года оставалось не более двух часов. Вдруг супруги заметили его.

Серый, дымчато-искристый, необыкновенно плотный мех слегка светился в полумраке. Но не это удивляло: кот восседал на скамье у подъезда гордо и торжественно, на ногах у него были серебристо-белые не то сапоги, не то перчатки, пояс был тоже белый и к тому же толстый, к нему крепилась как бы шпага...

— Какой красавец! — ахнул Федор Александрович. — И какой странный ... Видишь, Варя, он в сапогах, у него — шпага! Варенька ... А что, если ...?

— Никаких «если»! Ни крыс, ни собак, ни котов я в квартиру не пущу! Не для этого я тараканов извела, не для этого! Ничего живого мне в дом не нужно! Хватит и тебя с твоей научной фантастикой!

В это время какая-то собака заметила Кота, подбежала, залаяла — и тут же, поджав хвост, умолкла под его пристальным взглядом.

— Варя, это необыкновенный кот! Варенька, я должен пригласить его к нам в гости!

Сидельников подошел к Коту и уважительно произнес:

— Добрый вечер!

Кот приветливо поклонился в ответ.

— Дрессированный! — догадалась Варвара Семеновна. — Из цирка. И одет, как в цирке.

Кот отрицательно покачал головой.

— Ты видела? — воскликнул Федор Александрович и вновь обратился к Коту.

— Вы действительно понимаете то, что мы говорим?

Тот снова кивнул. Указал лапой на свой пояс.

— Варя! — голос Сидельникова дрожал и срывался. — Он понимает ... Это — брат по разуму! У него на поясе автотеплоперевода ... Варвара Семеновна с сожалением и укором посмотрела на мужа.

— Дочитался, фантаст! Обыкновенный кот из цирка, умеет мотать головой: видно, долго дрессировали.

— Скажите ей что-нибудь. Подтвердите, что я прав, — взмолился Сидельников.

Брат по разуму гордо помотал головой: отказался.

— Хоть имя свое назовите, — попросил землянин.

— Миав, — представился Кот.

Напрягшаяся было Варвара Семеновна облегченно расхохоталась:

— Обыкновенный кот. И мяукает по-кошачьи.

— Ты не поняла. Пригласим его к нам, — настаивал муж. — Дома, в спокойной обстановке, мы пойдем друг друга.

Жена сурово оборвала его.

— Чтоб он нагадил посреди комнаты?! Чтоб паркет ободрал или еду со стола стащил?!

Кот поежился, опустил голову.

— Ага, признался! Брысь, пакостник!

— Варенька, опомнись! — взмолился Сидельников.

Но было поздно: повернув рычаг на поясе, Миав взмыл в воздух и опустился за забором, возле строящегося жилого дома.

Подойдя к серому искристому цилиндру в углу стройплощадки, он направил на него то, что Федор Александрович считал шпагой, и очутился внутри цилиндра.

— Что телепатирует брат Миав? — беззвучно спросил командир межгалактического корабля.

— Контакт опять не состоялся, — так же, телепатически, доложил психолог.

— Снова помешала женщина? — догадалась красавица Мурлау, врач звездной экспедиции с планеты Мниаувау.

Миав печально кивнул.

— Приготовиться к старту!

... Трехметровый цилиндр растаял, не оставив следов: корабль возвращался в родную Котогалактику...

1975 год, Омск.



Содержание

| | |
|--|------------|
| Судьба. Повесть | 3 |
| Первый тайм. Повесть | 106 |
| <i>Глава первая. Пробуждение</i> | 109 |
| Результат восхищения | 109 |
| Тяжкое воспоминание | 111 |
| Трудные дни | 112 |
| Сон и явь | 114 |
| Противное — не забавно | 117 |
| Люди в вагоне | 118 |
| «Папа за печкой» | 120 |
| Обиды | 121 |
| Телячьи нежности | 122 |
| Подслушанное | 123 |
| <i>Глава вторая. Бессарабка</i> | 126 |
| Смешной мудрец | 126 |
| Вор-генерал | 129 |
| «Мир фа дир» | 131 |
| Священнодействие | 133 |
| Трагедия дяди Симхи | 135 |
| Тяжелое обвинение | 136 |
| Человек с усами | 137 |
| Летающие часы | 138 |
| Молчание Гинды | 140 |
| Дважды вдова | 141 |
| Загадочная Фира | 143 |

| | |
|---|------------|
| <i>Глава третья. Пути просвещения</i> | 144 |
| <i>Часть первая. Радости и муки первокурсника</i> . | 144 |
| Левша | 144 |
| Суровые меры | 145 |
| Сокровища | 148 |
| Нераспознанное призвание | 149 |
| Жалкие попытки | 150 |
| Сумасшедшая | 151 |
| Храбрый Люсик | 152 |
| Новое сокровище | 153 |
| Непонятное пение | 154 |
| Смерть Русалки | 155 |
| Машины песни | 156 |
| «Язык твой...» | 159 |
| <i>Глава третья. Пути просвещения</i> | 160 |
| <i>Часть вторая. Открытия</i> | 160 |
| Опасные начинания | 160 |
| Прерванный полет | 161 |
| Жид пархатый | 163 |
| Самоубийца | 167 |
| Сын проститутки | 168 |
| Украденные часы | 169 |
| Любимый Чарли | 170 |
| Первый тайм | 172 |
| Прогулки по мостовой | 173 |
| Мучительная болезнь | 174 |
| <i>Глава четвертая. Алушка</i> | 176 |
| Свидание со сказкой | 176 |
| Снова язык... .. | 178 |
| Внук миллионера | 178 |
| Море | 182 |

| | |
|---|------------|
| Неизбежные поединки | 183 |
| Стахановец, он же Лентяй | 185 |
| Волшебство искусства | 186 |
| Грязь на хрустале | 190 |
| Пионерский лагерь | 191 |
| Глава пятая. Усложнение жизни | 193 |
| Пятый класс | 193 |
| Елена и Эвгена | 195 |
| Пипин Короткий | 198 |
| Не наука, а искусство | 199 |
| Зов сцены | 200 |
| Песни звездного неба | 201 |
| Дворец | 202 |
| Вожак | 203 |
| Неудавшийся солист | 205 |
| Глава шестая. Удивительные соседи | 207 |
| Тайна того сна | 207 |
| Пустые щи | 208 |
| Желанная Дэзи | 209 |
| Чудесное спасение | 210 |
| Веселые люди | 212 |
| Гости | 214 |
| Глава седьмая. События трагические | 215 |
| Финская кампания | 215 |
| В гостях у деда | 216 |
| Выдернутый стул | 218 |
| Спасение утопающего | 220 |
| Муки совести | 221 |
| Стрельба | 222 |
| Неудавшееся самоубийство | 224 |
| Убийство | 225 |

| | |
|---|------------|
| Выродок и паразит | 230 |
| Рыдания | 234 |
| Бар-мицва | 236 |
| Глава восьмая. Враги народа | 237 |
| Сталинская забота | 237 |
| Враги | 239 |
| «Сосо и Кеке» | 241 |
| Брат Павлика Морозова | 242 |
| Враги евреев | 243 |
| Грозная карта Европы | 247 |
| Глава девятая. Самовыражение | 250 |
| Семиклассники | 250 |
| Не врач, а кузнец | 252 |
| Преодоление | 253 |
| Испытание электротоком | 255 |
| Оттенки смеха | 256 |
| Волшебные зеркала | 258 |
| Кино | 260 |
| Из глубин Вселенной | 262 |
| Репетитор-самозванец | 263 |
| Одинокий волк | 265 |
| Рукотворные чудеса | 268 |
| Глава десятая. Изгнание | 270 |
| Ошибка Евы | 270 |
| Вредные привычки | 272 |
| Опозорившийся партнер | 273 |
| Хихикающая отличница | 275 |
| Любвеобильная Алина | 276 |
| Падение Танечки | 277 |
| Любимая Тамара | 278 |
| Исключение из школы | 282 |

| | |
|--|------------|
| Прощание навсегда | 284 |
| Пуща-Водица | 286 |
| Война | 287 |
| Суламифь в бункере | 289 |
| Бегство | 290 |
| Справка | 293 |
| Рассказы | 295 |
| Ведьма. <i>Новелла-детектив</i> | 296 |
| Из сборника «Черный лебедь» | 328 |
| Черный лебедь | 328 |
| Подслушанная история | 328 |
| Портрет неизвестной | 332 |
| Анна Егоровна | 341 |
| Из сборника «Астра и Дружок» | 345 |
| Песня | 345 |
| На крутом спуске | 347 |
| Полет | 348 |
| Листик | 350 |
| Из сборника «Глаза любви» | 352 |
| Глаза любви | 352 |
| Щенок | 354 |
| Собачонка | 356 |
| Из сборника «Самый главный поклонник» | 358 |
| Слепая | 358 |
| Из сборника «Кошечка» | 369 |
| Двенадцать дней Натальи и Алексея | 369 |
| Из сборника «Три сказки для взрослых» | 380 |
| Счастье | 380 |
| Сказка | 380 |

| | |
|--|------------|
| Из сборника «Без любви» | 391 |
| Нина | 391 |
| Из сборника «Кот в сапогах» | 400 |
| Спасатели | 400 |
| Шум, только шум... .. | 405 |
| Кот в сапогах | 407 |



Александр Герзон
КОНТРАСТЫ
Проза

Редактор: М. Штереншис
Тех. редактор: В. Микизиль

Сдано в набор 10.10.2006. Подписано в печать **.**.2006.
Бумага офсетная. Формат 84×108/32. Гарнитура Петербург.
Печать офсетная. Тираж ***** экз. Заказ №

Отпечатано с готовых диапозитивов в АПП «Джангар»
358000, г. Элиста, ул. Ленина, 245